



НИКОЛАЙ ГЕЙНЦЕ

АРАКЧЕЕВ

I



Николай Гейнце «Аракчеев. I» //Комсомольская правда, Директ-Медиа,
Москва, 2014
ISBN: 978-5-87107-746-7
FB2: Starkosta, 24 May 2019, version 1.0
UUID: 7CB80608-F9F3-494E-BCB3-E647B476BC86
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Николай Эдуардович Гейнце

Аракчеев I

В издание вошли первая — третья части исторического романа Николая Гейнце «Аракчеев», посвященного жизни и деятельности видного государственного деятеля эпох Павла I и Александра I.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Неравный брак	0008
I Детство	0008
II В Петербурге	0016
III На Литейной	0024
IV Гвардеец	0033
V Прием	0037
VI Одинаковые думы	0043
VII На Васильевском острове	0047
VIII Талечка	0056
IX Николай Павлович Зарудин	0063
X Отец и мать	0070
XI Признание	0075
XII Без подруги	0084
XIII Не у дел	0094
XIV Кавказский капитан	0106
XV Быстрое повышение	0113
XVI Фон Зееман	0118
XVII Среди молодежи	0125
XVIII Записка	0130
XIX Не в те руки	0138
XX Разрушенный идеал	0144
XXI Свидание	0155
XXII Клятва	0165
XXIII Масон	0177
XXIV Болезнь Талечки	0183

XXV Крестовский остров	0191
XXVI Ritter Spiel	0197
XXVII Встреча с Аракчеевым	0202
XXVIII Слабость сильного	0209
XXIX Грузино	0216
XXX Настасья Минкина	0223
XXXI Роковое открытие	0232
XXXII Разбитые мечты	0240
XXXIII Мечты Талечки	0249
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Две графини	0259
I На волосок от смерти	0259
II У постели друга	0269
III Европейские осложнения	0279
IV Аустерлиц	0288
V В столице Аракчеева	0297
VI Между страхом и надеждою	0306
VII Во флигеле Минкиной	0316
VIII Таинственный незнакомец	0323
IX Приказ	0329
X Питерские новости	0335
XI Мечты разбиваются	0343
XII Болезнь Минкиной	0352
XIII Власть страсти	0360
XIV Первая житейская грязь	0367
XV Прозревшая идеалистка	0380
XVI Фаворит графини	0386
XVII Томительные дни	0395
XVIII Нежданная гостья	0403

XIX Новая соперница Минкиной	0412
XX Роковая весть	0426
XXI Письмо	0436
XXII В церкви святого Лазаря	0442
XXIII Возвращение войск	0451
XXIV Поражение Пруссии	0456
XXV Тайна любви	0461
XXVI Кто виноват?	0468
XXVII В служебном ослеплении	0475
XXVIII У постели умирающей	0479
XXIX Без матери	0490
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Своим судом	0497
I Адский замысел	0497
II Измена Глаши	0502
III Обнаруженная тайна	0507
IV Расправа	0514
V В пещере масонов	0520
VI Посвящение	0524
VII Без повязки	0527
VIII Перемирие	0533
IX Тильзитское свидание	0538
X Аракчеев-министр	0542
XI Последняя капля	0544
XII Попытки к примирению	0549
XIII После войны	0553
XIV Среди знакомых лиц	0558
XV Сенатор	0563
XVI Турчанка	0570

XVII Герой0577
XVIII Новые мечты0585
XIX В зимнем дворце0593
XX Мечты венценосца0599
XXI В сумерках0606
XXII Через десять лет0617
XXIII Брат и сестра0623
XXIV Кровавое возмездие0629
XXV Утешитель0636

Николай Эдуардович Гейнце
АРАКЧЕЕВ I

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Неравный брак

I

Детство

Аракчевы ведут свой дворянский род от новгородца Ивана Степанова Аракчеева, которому за службу предков, отца и самого его в 1684 году были пожалованы вотчины в тогдашнем Новгородском уезде, в Бежецкой пятине, в Никольском погосте.

Прадед графа Аракчеева, Степан, умер капитаном, служа в армейских полках; дед, Андрей, был убит в турецком походе Миниха, армейским поручиком, а отец его, тоже Андрей, служил в гвардии, в Преображенском полку, и воспользовавшись милостивым манифестом 18 февраля 1762 года, по которому на волю дворян представлялось служить или не служить, вышел в отставку в чине поручика и удалился в свое небольшое поместье в 20 душ крестьян, которые при разделах пришлись в его долю из жалованного предку на-

следия, в тогдашнем Вышневолоцком уезде Тверской губернии.

Алексей Андреевич Аракчеев родился 23 сентября 1769 года, следовательно, в момент нашего рассказа ему шел сорок шестой год.

Отставной поручик Андрей Андреевич Аракчеев отдыхал в деревне если не на лаврах, то на пуховиках, в хозяйство не вмешивался, любил глядеть из окна на те мало разнообразные сцены, которые может представлять двор бедной помещичьей усадьбы. У него было три сына: Алексей, Петр и Андрей. Алексея, как первенца, любил он с особенною нежностью, пытался даже заняться его образованием, то есть выучить его грамоте, но этот труд показался ему обременительным, и он возложил его на деревенского дьячка.

Если личность Андрея Андреевича так ложится под тип необъятного числа русских дворян старого времени, постепенно исчезающий на наших глазах, то личность жены его, Елизаветы Андреевны, была более замечательна.

В жизни графа Аракчеева много найдем мы следов первых впечатлений, первого

взгляда на жизнь, которое получают дети в родительском доме. В нашем старом русском помещичьем быту можно было много встретить барынь богомольных и заботливых хозяек, но Елизавета Андреевна отличалась, особенно в то время, необыкновенною аккуратностью и педантичной чистотою, в которых она содержала свое хозяйство, так что один проезжий, побывав у неё в доме, назвал её голландкою.

При маленьких средствах в доме нужда не стучалась в двери. Денег было мало; но тогда мелкопоместные наши дворяне не много о них и заботились: домашнее хозяйство давало почти все средства к жизни. Копили копейку разве только для посылки служащим сыновьям в армию и для пополнения и освежения из рода в род переходившего приданого для дочек. При маленьких детях и не имея дочерей Елизавета Андреевна и этой заботы не имела. Сердца милосердного, она, однако, в строгом повиновении держала домочадцев; опрятность, с которою она содержала детей, прислугу, дом, — бросалась всем в глаза. С неутомимою деятельностью следила она за

всеми отраслями сельского хозяйства, и когда в день Андрея съезжались соседи, то у Андрея Андреевича пир и угощение были как у помещика, который имел за полсотню душ крестьян, и в доме все было прилично — слово, любимое Елизаветою Андреевною, которое перешло и к её сыну.

Мать учила сына молитвам, всегда водила его с собою в церковь, не пропускала ни обедни, ни вечерни и постоянно внушала ему бережливость одежды и обуви. Только отец, глава семейства, не подчинялся общему настроению всего домашнего быта — обращаться в постоянной деятельности, выражаясь словами самого графа Аракчеева.

При этих условиях мальчик, быть может, по природе несколько серьезный, был чужд резвости и из домашнего воспитания вынес: набожность, привычку к постоянному труду, сноровку требовать его от людей, ему подчиненных, и неутомимое стремление к порядку. Дальнейшая обстановка его жизненного поприща не давала заглухнуть этим первым началам: развились они корпусным воспитанием и первоначальною службою.

За годовой платеж трех четвертей ржи и столько же овса дьячок учил его читать, писать и четырем правилам арифметики.

Аракчевы имели родственника в Москве, который вызвался определить Алексея в гражданскую службу, поместить, когда он кончит учение, в какую-то канцелярию.

— Из меня хотели сделать подьячего, то есть доставить мне средства снискивать пропитание пером и крючками, — говаривал впоследствии граф Аракчев, — не имел я понятия ни о какой службе, а потому отцу и не прекословил.

Граф вообще любил вспоминать годы своего детства. Малые успехи Алексея в каллиграфии смущали отца.

— Какой же он будет канцелярский чиновник, когда пишет, точно бредут мухи, — говорил он учителю-дьячку.

Тот молчал, так как писал сам не лучше своего ученика.

Отец придумал новое средство: отобрал из связки сохраняемых им служебных бумаг те, которые отличались почерком, и заставлял сына их переписывать. Этим он добился неко-

торых успехов.

Арифметика была коньком Алексея: учитель не мог уже следить за учеником. Он сам себе задавал такие большие числа для умножения, которых дьячок и выговорить не умел. Не умел их выговорить и ученик, но это не мешало ему все же их множить и тешиться, когда проверкою деления искомые были получены верно. Это было его любимое препровождение времени.

Между тем, мальчику минуло десять лет. Отец чаще стал поговаривать об отсылке сына в Москву, но в это время случайное событие переменяло все предположения.

В соседстве с Аракчеевым жил помещик 30-ти душ, отставной прапорщик Гаврило Иванович Корсаков, к которому, около 1780 года, приехали два его сына: Никифор и Андрей, бывшие кадетами в артиллерийском и инженерном шляхетском корпусе. Андрей Андреевич поехал к ним в гости и взял сына с собою.

Знакомство с кадетами поразило мальчика, особенно понравились ему их красные мундиры. В них они показались ему какими-

ми-то особыми, высшими существами — он не отходил от них ни на шаг.

Возвратясь домой, он все вспоминал о кадетях. Они чудились ему день и ночь. Мальчик был как в лихорадке.

Прошло несколько дней.

Однажды, после обеда, Алеша не выдержал и бросился отцу в ноги.

— Отдай меня в кадеты, или я умру с горя, — заговорил он, между тем как рыдания душили его.

Добрряк отец поднял его.

— Чего плачешь, дурашка, я не прочь исполнить твое желание, но как добратсья до Петербурга без денег и как определить тебя там, не имея покровителей — вот в чем дело.

Мальчик продолжал рыдать и стоял на своем. Вошла мать.

— Вот, плачет, ревом ревет, в кадеты проситсья, — указал ей отец на плачущего сына.

— С Богом! — отвечала Елизавета Андреевна. — Коли на то Божья воля, ступай в кадеты...

— Перестань, перестань, уже я похлопочу, вместе с тобой поеду, — продолжал утешать

сына отец.

— Когда? — сквозь слезы промолвил он.

— Когда? — вступилась мать. — Обещанного три года ждут, ишь какой прыткий, годок, другой обождешь, а то так я тебя, малыша, в Петербург к чужим людям и отдам.

Может быть, Елизавета Андреевна так быстро и согласилась, чтобы воспользоваться этим случаем и отдалить время разлуки с сыном. В Москву он должен был ехать к родным и прекословить его отправке она не имела оснований.

Два года ещё Алексей пробыл дома.

В мальчике, впрочем, за это время не изгладилось впечатление, произведенное на него Корсаковыми: он крепко стоял на своем и все мечтал о кадетах.

II

В Петербурге

Наконец, в январе 1783 года начались реальные сборы, повезли из амбара хлеб на базар, продали две коровы. Запаслись деньгами и на проезд, и чтобы, в случае необходимости, внести в корпус положенные для своекоштных около ста рублей.

С нетерпеливым весельем смотрел Алексей на все приготовления, на печения пирогов, не понимая, отчего мать его проливает слезы; взгрустнулось ему лишь тогда, когда подвезли кибитку и стали укладываться.

Пришел священник, отслужил молебен, потом молча посидели и стали прощаться с матерью.

Она, рыдая, благословила сына образком, который надела ему на шею.

— Молись, надейся на Бога — вот мой завет тебе, — сказала она, обливая слезами склоненную перед ней голову Алеши.

Глубоко в душу мальчика запали эти слова.

Со слугою, отправились они в столицу, остановились на Ямской, на постоялом дворе, наняли угол за перегородкой, отыскиали писца, солдата архангелогородского, пехотного полка Мохова, который на гербовом двухкопеечном листе написал просьбу, и, отслужив молебен, отправились в корпус, на Петербургскую сторону.

Молчалив и задумчив был Андрей Андреевич во весь длинный путь, коротко, против обыкновения, отвечая на вопросы сына о проезжаемых зданиях. Было ещё рано, довольно пусто на улицах, но город поразил Алексея своим многолюдством — все его занимало, веселило, его детская голова не понимала отцовских мыслей.

Наконец, они доехали до корпуса и отыскали канцелярию.

Их встретил какой-то писарь довольно приветливо, рекомендовал писца, но, узнав, что просьба уже написана, нахмурился и сказал, что уже поздно и чтобы они пришли на другой день пораньше.

Аракчеевы приехали в самое неблагоприятное время. Командир корпуса генерал

Мордвинов умер 5 октября 1782 года; временно заведовал корпусом генерал Мелиссино, который был утвержден директором только 22 февраля 1783 года. Императрица поручила ему, ознакомясь с корпусом, сделать предложение к совершенному преобразованию этого заведения, согласно общих предположений для воспитания юношества целой империи.

Горькие дни испытал Аракчеев при первых своих столкновениях со служебным миром. Десять дней кряду ходил он с отцом в корпус, пока они добились, что 28 января просьба была принята, но до назначения нового начальника не могла быть положена резолюция. Наконец, вышло это желаемое назначение, но оно не много их подвинуло. Почти каждый день являлись они на лестнице Петра Ивановича Мелиссино, чтобы безмолвно ему поклониться и не дать забыть о себе.

Прошло более полугодия пребывания их в Петербурге и в это время другая настоятельная беда собиралась над ними. Деньги таяли, для уменьшения расходов ели только раз в день; наконец, были издержаны и последние копейки, а настойчивое их появление в пе-

редней Мелиссино оставалось безуспешным.

Они принялись продавать зимнее платье.

В это время услышали они, что митрополит Гавриил раздает помощь бедным. Крайность принудила обратиться к милостыне. Они отправились в Лавру, где было много бедных. Доложили преосвященному, что дворянин желает его видеть; он, выслушав о несчастном их положении, отправил к казначею, где им был выдан рубль серебром.

Когда они вышли на улицу, Андрей Андреевич поднес этот рубль к глазам, сжал его и горько заплакал.

Сын также плакал, глядя на отца.

На этот рубль втроем со служителем они прожили ещё десять дней.

Наконец, 19 июля 1983 года они, по обыкновению, стояли на директорской лестнице и ждали выхода Мелиссино. В этот день отчаяние придало бодрости мальчику.

Со слезами на глазах подошел он к вышедшему вельможе и упал на колени.

— Ваше превосходительство, — сказал он, — примите меня в кадеты... Нам придется умереть с голоду... Мы ждать более не мо-

жем... Вечно буду вам благодарен и буду за вас Богу молиться...

Рыдания мальчика, слезы на глазах отца остановили на этот раз директора.

— Как фамилия?

— Аракчеев.

Мелиссино вернулся в свои покои и вынес записку для отдачи в канцелярию, объявив им, что просьба исполнена.

Алексей Аракчеев кинулся было целовать его руки, но вельможа сел в карету и уехал.

По выходе из корпуса они завернули в первую попавшуюся церковь. Не на что было поставить свечу. Они благодарили Бога земными поклонами.

На другой день, 20 июля, Алексей Аракчеев поступил в корпус, а отец его, встретившись с одним московским родственником, давшим ему денег на дорогу, «поручив сына под покровительство Казанской Богородицы», уехал в деревню.

В корпусе Аракчеев заслужил репутацию отличного кадета. Умный и способный по природе, он смотрел на Мелиссино как на избавителя и изо всех сил бился угодить ему.

Мальчик без родных и знакомых в Петербурге, без покровителей и без денег испытывал безотрадную долю одинокого новичка. Учиться и беспрекословно исполнять волю начальников было ему утешением, и это же дало средство выйти из кадетского мира в люди.

По окончании курса он был сперва учителем математики в том же шляхетском корпусе, но вскоре по вызову великого князя Павла Петровича, в числе лучших офицеров, был отправлен на службу в гатчинскую артиллерию, где Алексеем Андреевичем и сделан был первый шаг к быстрому возвышению. Вот как рассказывают об этом, и, надо сказать, не без злорадства, современники будущего графа, либералы конца восемнадцатого века — водились они и тогда.

Один раз великий князь Павел Петрович назначил смотр гатчинским войскам в первом часу дня. Войска собрались в назначенное время, но великий князь, занятый другими делами, совершенно забыл про смотр. Войска, прождав часа два, разошлись; на площади остался один Аракчеев со своей батареей. Великий князь, проходя к обеду, увидел в ок-

но на площади артиллерию и позвал к себе офицера. Явился Аракчеев, отрапортовал великому князю о своем усердии, и с тех пор стал пользоваться полною доверенностью Павла Петровича во всю его жизнь.

Как бы то ни было, но служебная карьера Алексея Андреевича при императоре Павле шла поразительно быстро. Сперва он был комендантом дворца. Для этого он, казалось, был создан — спал не раздеваясь, всегда готовый явиться по первому зову императора. В день коронации 5 апреля 1797 года, совпавшим с первым днем Пасхи, он был возведен в баронское достоинство и сделан александровским кавалером. К поднесенному на Высочайшее утверждение баронскому гербу Павел собственноручно прибавил девиз: «Без лести предан?» Через две недели Аракчеев был назначен генерал-квартирмейстером всей армии; но, не увлекаясь своим положением, он ни с кем не сближался, пренебрегая связями среди двора и свиты императора, держал себя крайне самостоятельно. Это более, чем что-либо, возбуждало зависть не только сверстников, но и старших, видевших в двадцативось-

милетнем генерале себе соперника. Вскоре затем он был возведен в графское достоинство.

В начале царствования Александра I, Аракчеев не занимал никакого особенно важного поста и, оставаясь начальником всей артиллерии, не имел ещё тогда видимого влияния на политические и внутренние дела государства, но вскоре новый император также приблизил его к себе, назначил на пост военного министра, который Аракчеев занимал, однако, недолго и, отказавшись сам, был назначен генерал-инспектором всей пехоты. Начиная же с 1815 года, то есть именно с того времени, которое мы избираем за исходный пункт нашего правдивого повествования, он стоял на высоте своего могущества — быв правою рукою императора и рассматривал вместе с ним все важнейшие дела государственного управления, не исключая и дел духовных.

— Меня отличили, вызвали из ничтожества! — говаривал граф Аракчеев и был совершенно прав, как видим мы из вышеприведенного краткого очерка детства и юности этого замечательного русского государственного деятеля, за который читатель, надеюсь, не по-

сетует на автора.

Часто без знания мелочей детства и воспитания являются загадочными великие характеры.

III

На Литейной

Серый, одноэтажный дом, на углу Литейной и Кировской, стоящий в его прежнем виде и доныне, во время царствования императора Александра Павловича служил резиденцией «железного графа», как называли современники Алексея Андреевича Аракчеева.

Дом этот был в то время так же известен в Петербурге, как и Зимний дворец.

На исходе первого часа 11 января 1815 года в открытые настежь ворота этого дома быстро вкатили широкие сани и остановились у подъезда.

Грузно вышел из них граф Алексей Андреевич Аракчеев, вернувшийся из дворца, куда ездил с обычным утренним докладом.

Парадные двери распахнулись перед ним как бы по волшебству. Он быстро вошел в пе-

реднюю, сбросил на руки нескольких встретивших его лакеев шинель и, сунув одному из них шляпу, так же быстро миновал ряд комнат и вошел в свой кабинет.

Это была обширная комната, казавшаяся мрачной и неприветной. У окон и кое-где вдоль стен стояла плетеная неуклюжая мебель; большой письменный стол был завален грудой бумаг. Недостаточность меблировки делала то, что комната казалась пустою и имела нежилой вид.

Впрочем, граф и на самом деле бывал в своем доме лишь наездом, живя за последнее время постоянно в Грузине, имении, лежавшем на берегу Волхова, в Новгородской губернии, подаренном ему вместе с 2500 душ крестьян императором Павлом и принадлежавшем прежде князю Меншикову. Даже в свои приезды в Петербург он иногда останавливался не в своем доме, а в Зимнем дворце, где ему было всегда готово помещение.

Граф не любил своего дома на Литейной, он навевал на него тяжелые воспоминания. В настоящий приезд его в Петербург картины прошлого проносились перед его духовным

взором с особенною рельефностью.

Причиною этому была досужая светская сплетня петербургских кумушек, сопоставлявшая имя жены царского фаворита графини Наталии Федоровны Аракчеевой с полковником гвардии Николаем Павловичем Зарудиным, доведенная услужливыми клеветами до сведения всемогущего графа.

Сплетня уже несколько месяцев циркулировала в петербургских великосветских гостиных того времени, раздуваемая врагами и завистниками графа, которых было немало.

Ревниво охранявший честь своего имени, гордый доблестью своих предков и им самим признаваемыми своими заслугами, граф не остался равнодушным к дошедшим до него слухам и враги его торжествовали, найдя ахиллесову пяту у этого неуязвимого, железного человека.

Войдя в кабинет, граф приблизился к письменному столу, около которого стоял простой деревянный стул. Он, однако, не сел на него, а стал рядом, облокотившись обеими руками на стол. Его сгорбленная, мрачная, в наглухо застегнутом мундире, с большими мясисты-

ми ушами, торчавшими над коротко остриженной головой, высокая и сутуловатая фигура — всецело гармонировала с окружающей суровой обстановкой. Его обритое лицо с некрасивыми, вульгарными чертами сначала поражало отсутствием какого-либо оживления, но за этим беспристрастно-холодным выражением сказывались железная воля и несокрушимая энергия. Мясистый, неуклюжий, слегка вздернутый нос «дулей», по меткому народному выражению, портил все его лицо, но зато глаза, с их тусклым цветом, производили странное впечатление. Всегда наполовину опущенные веки, скрывающие зрачки, придавали всему лицу какое-то загадочное выражение, указывали на желание их обладателя всеми силами и мерами скрывать свои думы и ощущения, на постоянную боязнь, как бы кто не прочел их ненароком в глазах и лице.

Вслед за вошедшим в кабинет графом в почтительном отдалении следовал главный дворецкий его петербургского дома Степан Васильевич.

Это был человек лет сорока шести — одно-

леток графа, с гладко выбритым открытым, чисто-русским лицом, в котором преобладало выражение серьезной грусти, оскорбленного достоинства, непоправимого недовольства судьбой.

Да и действительно, судьба этого человека была далеко не из завидных.

Он был сын любимого слуги покойного отца графа Алексея Андреевича — мать графа была ещё жива — Василия. Оставшись после смерти отца, горько оплаканного барином, круглым сиротою, так как его мать умерла вскоре после родов, он был взят в барский дом за товарища к молодому барчонку-первенцу, которому, как и ему, шел тогда второй год.

Андрей Андреевич поручил жене заботиться о нем, как о сыне, так что Елизавета Андреевна мыла зачастую обоих ребят в одном корыте, хотя подчас это свое слепое повиновение мужу вымещала на дворовом мальчишке и ему весьма часто приходилось переносить довольно чувствительные щипки барыни, которая, по воле мужа, должна была разделять для чужого ребенка материнские

заботы.

Маленький Степа орал благим матом, а Андрей Андреевич, понимая причину криков ребенка своего покойного фаворита, лишь укоризненно говорил:

— Лизонька!

Мальчики подрастали и отношения между ними с каждым годом все резче и резче изменялись.

Происходило ли это под влиянием Елизаветы Андреевны, внушавшей сыну, как следует относиться к холопу, или же самолюбивый, мальчик сам не мог простить Василию украденных у него последним, хотя и вынужденных со стороны матери, забот — неизвестно, но только даже когда Алексей Андреевич был выпущен из корпуса в офицеры и Василий был приставлен к нему в камердинеры, отношения какой-то затаенной враждебности со стороны молодого барина к ровеснику слуге нимало не изменились. Не изменились они и с быстрым возвышением графа по государственной лестнице.

Много терпел Василий от Алексея Андреевича во время службы его в Гатчине и, в кон-

це концов, был осужден в почетную ссылку — сделан дворецким петербургского дома, которого граф не любил и в котором, как мы уже сказали, бывал редко.

Граф обращался с Василием хуже, чем с другими своими дворовыми, пинки и зуботычины сыпались на него градом с каким-то особенным остервенением.

Спешим оговориться, что обращение графа с остальными его дворовыми, а также и его подчиненными, ни чем не разнилось вообще от обращения помещиков и офицеров того времени, и если рассказы о его жестокостях приобрели почти легендарную окраску, то этим он обязан исключительно тому, что в течение двух царствований стоял одиноко и беспартийно вблизи трона со своими строгими требованиями исполнения служебного долга и безусловной честности и бескорыстной преданности государю. Быть может, он увлекался и часто в ничтожных мелочах видел отступление от этих принципов, но и в этом случае он мог найти оправдание в народной мудрости, выразившейся в пословице: «от копеечной свечи Москва сторела».

Другого упрека этому выдающемуся, беспримерному государственному деятелю сделать нельзя, что бы ни писали о нем его современники и неблагодарные, падкие на преувеличения, потомки.

Рассказы первых сшиты почти все белыми нитками злобной зависти, вторым же, по крайней мере, служит извинением, что они судят о поступках деятеля начала века с точки зрения его конца.

Отношения графа к Степану, повторяем, были исключительны даже для того времени.

Весьма понятно, что последний, воспитанный в детстве в сравнительной холе и от того более чуткий к несправедливостям и побоям, считал себя обиженным и платил враждебно относившемуся к нему барину тою же монетою.

Выдались, впрочем, около двух лет во все время его службы при Алексее Андреевиче, о которых он любил вспоминать и вместе с этими воспоминаниями в его уме возникал нежный образ ангела-барыни — эти годы были 1806 и 1807-й, а эта ангел-барыня была жена графа Наталья Федоровна Аракчеева.

При этих воспоминаниях угрюмое лицо Степана освещалось почти детской радостной улыбкой, но вслед затем становилось ещё угрюмее, он старался забыть невозвратное и даже топил свои до боли отрадные воспоминания в традиционной рюмочке.

— Адъютант! — совсем в нос, что служило признаком особого раздражения, произнес Алексей Андреевич.

— Петр Андреевич ещё не прибывали-с, — угрюмо отвечал Степан.

Граф посмотрел на часы, стоявшие на письменном столе. Они показывали две минуты первого.

Аракчеев мрачно сдвинул брови, и на лице его появились ещё более мрачные тени.

— Народу много? — кивнул он в сторону закрытой двери, ведущей в приемную.

— Много-с! — не глядя на графа, произнес дворецкий.

— Вестового за адъютантом! — буркнул граф. — Мигом!.. — и сел на стул.

Степан вышел.

IV

Гвардеец

В приемной, действительно, по обыкновению, было множество лиц, дожидавшихся приема графа. Это были все сплошь генералы, сановники и между ними два министра, были, впрочем, и мелкие чиновники с какими-то испуганными, забитыми лицами.

Среди всей этой раболепной толпы, с душевным трепетом ожидавшей момента предстать пред очи человека случая и власти, выделялся сидевший в небрежной позе молодой, красивый гвардейский офицер.

На его выразительном лице не заметно было ни робости, ни волнения и, по-видимому, ему только было не по себе от нетерпения вследствие долгого ожидания.

Он то и дело сам бросал взгляды своих темно-синих глаз то на дверь, ведущую в кабинет графа, то на другую, ведущую в переднюю.

Офицер этот был Антон Антонович фон Зе-ман. Он приходился дальним родственником адъютанту графа Аракчеева — Петру Ан-

дреевичу Клейнмихелю.

Впрочем, между этими родственниками отношения были более чем холодны: Антон Антонович, несмотря на то, что был лет на десять моложе Петра Андреевича, ещё в ранней юности разошелся с ним.

Петр Андреевич, со своей стороны, при редких встречах относился, к нему более по-родственному, но в этих отношениях молодой офицер-идеалист чувствовал снисходительное потворство его бредням со стороны человека до мозга костей практика, каким был Клейнмихель, что ещё более раздражало фон Зеемана и делало разделяющую пропасть между ними все глубже и глубже.

Его присутствие в приемной графа Алексея Андреевича было, видимо, не только не обычным, но даже совершенно неожиданным для бессменного в то время адъютанта графа — Петра Андреевича Клейнмихеля, только что вошедшего в приемную и привычным взглядом окинувшего толпу ожидавших приема.

Клейнмихель был ещё молодой, щеголеватый, перетянутый в рюмочку, полковник с то-

ненькими, белокуроыми, от ушей ко рту, в виде ленточек, бакенбардами.

Мягко ступая, с особым военным перевальцем и распространяя вокруг себя запах модных духов, Петр Андреевич остановился у входа и вперил удивленно-недоумевающий взгляд своих серых глаз на продолжавшего сидеть в прежней небрежной позе фон Зеена.

Сохраняя то же недоумевающее выражение на лице, он двинулся по направлению сидящего, отвечая кивком головы на почтительные поклоны присутствующих.

— Антон?

В секунду произошло то, что все заметили, как Клейнмихель вспыхнул и быстро отдернул протянутую было для рукопожатия руку.

Окликнутый офицер официально встал перед старшим его чином, ни одна черта на его лице не дрогнула, он только слегка приподнял голову и, глянув на адъютанта, упорно и презрительно смерил его с головы до пят.

Судя по его лицу, казалось, что ему даже обиден был этот фамильярный оклик, эта протянутая рука. Свои он упорно держал по

швам.

— К его сиятельству по личному, не служебному делу! — бесстрастно и официально произнес он.

Клейнмихель поспешно повернулся и двинулся в противоположные двери.

Фон Зеeman снова опустился на стул в прежней небрежной позе, не замечая устремленных на него испуганных взглядов окружавшей его раболепной толпы, бывшей свидетельницей его беспримерной дерзости в отношении к адъютанту и любимцу графа Алексея Андреевича — всемогущего любимца царя.

— Не сносить молодцу головы... Петр Андреевич-то весь побагровел... Укатит отсюда с фельдъегерем «куда Макар телят не гонял...» Видно, есть рука, коли так озорничает... Вольтерьянец... Масон... — слышались шепотом передаваемые замечания и соображения.

Прием

Граф Алексей Андреевич продолжал сидеть за письменным столом, угрюмо устремив взгляд на двигавшуюся стрелку стоявших на письменном столе часов.

Стрелка показывала уже восемь минут второго, когда Петр Андреевич Клейнмихель, осторожно отворив дверь кабинета, поспешно, но бережно ступая по полу, подошел к письменному столу и, выпрямившись, встал, как на часах.

Граф Аракчеев, по-прежнему, не спуская взгляда с циферблата часов и не поворачивая головы к вошедшему, слегка приподнял руку и ткнул молча пальцем в этот циферблат.

— Виноват, опоздал! — пробормотал Клейнмихель. — Простите...

— Надолго! — протянул Алексей Андреевич, как бы равнодушно и лениво, и как бы про себя. — Всякий день от зари до зари всех кругом прощай. Никто своего малейшего долга не чувствует и не исполняет. Зараза фран-

цузская, вольнодумство всех пожирает, как ржавчина какая. Ну, иди, докладывай и принимай!

Клейнмихель двинулся.

— Да смотри в оба! Ты прапора какого-нибудь прежде генерала вступишь. От тебя все станется. Кто там налез?

Петр Андреевич, хотя и быстро прошедший приемную, мог тотчас же перечислить поименно всех ожидавших приема.

— А кроме того-с... — добавил Петр Андреевич и запнулся.

— Кто там ещё кроме? — вскинул на него глаза граф.

— Капитан фон Зеeman...

— Кто таков? Не слыхивал...

— Изволили запомнить, ваше сиятельство, мой троюродный брат, ещё юнкером когда он был — оказывали ему расположение, по моему предстательству...

— А... синеглазый... Нарышкинский фаворит...

— Так точно...

— Зачем он пожаловал?.. Соглядатайствовать...

— Не могу знать... Я к нему было подошел, по-родственному с ним обошелся, а он мне руки не подал, вытянулся в струнку и отрапортовал: «К его сиятельству по личному, не служебному делу!?»

— Так и сказал?

— Так!

— Гм!..

— Он, осмелюсь доложить, дружит с полковником Заруд...

Петр Андреевич взглянул в лицо графа и не договорил начатой фамилии.

Лицо его исказилось такою болезненною злобою, что адъютант даже невольно сделал шаг назад.

— А мне какое дело, с каким светским блазнем твой блазень дружит... — прохрипел Алексей Андреевич и, откинувшись на спинку стула, начал поспешно вытирать пот, выступивший на его побагровевшем лице.

— Я осмеливаюсь думать... — начал было Клейнмихель.

— Этого, брат, ты никогда не осмеливайся... — снова оборвал его граф, видимо, пришедший в себя. — Так ты говоришь, что он по

личному, не служебному делу...

— Точно так...

— Так после приема... когда скажу... пусть подождет... мальчишка... Ступай...

Все это проговорил Аракчеев тихо, медленно, вяло, глядя как бы сонными глазами на пустую стену.

Хотел ли он под этой маской кажущегося равнодушия скрыть охватившее его и далеко не улегшееся душевное волнение или же после этой бурной вспышки наступила так стремительно реакция — как знать?

Прием начался.

Клейнмихель, постоянно входя и выходя из одной комнаты в другую, докладывал графу с порога имена тех лиц, которые не были лично известны Алексею Андреевичу.

К некоторым из входивших граф Аракчеев поднимался и, обойдя стол, стоял и тихо разговаривал с ними.

Некоторых отводил к стоявшим вдоль стены стульям, просил сесть, присаживался сам и разговаривал менее сухо.

Но большинство он выслушивал сидя за столом, изредка прибавляя порой резко и от-

рывисто, а порой таким сердечным тоном, который далеко не гармонировал с его угрюмой фигурой:

— Слушаю-с! Постараюсь! Готов служить! Доложу государю!..

По временам слышались, впрочем, иные, более грозные окрики.

— Солдат в генералы не попадает в мгновение ока, а генерал в солдаты может попасть, — достигал до приемной зычный, гнусавый голос графа, и даже сдержанный шепот ожидавших очереди мгновенно замолкал, и наступала та роковая тишина, во время которой, как говорят, слышен полет мухи.

Антон Антонович фон Зеeman пробуждался от своей задумчивости, взглядывал на дверь и на губах его появлялась полуироническая, полупрезрительная улыбка.

Прием, продолжавшийся уже около двух часов, кончался: проходили уже согнутые, трепещущие фигуры мелких чиновников, а фамилия капитана фон Зеемана не произносилась Петром Андреевичем Клейнмихелем.

Наконец, последний «мелкий чинуша» вышел из кабинета. Клейнмихель тоже появил-

ся на его пороге. Фон Зеeman, очутившись один в пустынной зале, встал, чтобы обратиться на себя внимание адъютанта.

Тот, как бы не замечая его, подошел к окну и затем, круто повернув, прошел мимо него.

— Желал бы быть принятым его сиятельством, — вытянулся в струнку Антон Антонович.

— Вас позовут! — бросил ему на ходу Клейнмихель с небрежной усмешкой и прошел в дверь, ведущую в переднюю.

На самом деле, приняв последнего посетителя, граф Алексей Андреевич отрывисто заметил Петру Андреевичу:

— Теперь ступай! За блазнем вышлю Степана, успеем узнать, что ему так приспичило со мной разговаривать.

Клейнмихель вышел.

Граф Алексей Андреевич снова погрузился в свои невеселые думы.

VI

Одинаковые думы

На красивое лицо Антона Антоновича после слов Клейнмихеля набежала тень смущения — он не ожидал такого оборота дела; он понял, что всезнающий граф проник в цель его посещения и хочет утомить врага, который нравственно был ему не по силам. Значит, он его не застанет врасплох, значит, предстоит борьба и кто ещё выйдет из неё победителем; у «железного графа» было, это сознавал фон Зеeman, много шансов, хотя и удар, ему приготовленный, был рассчитан и обдуман, но приготовлявшие его главным образом надеялись на неожиданность, на неподготовленность противника. Теперь эти шансы, видимо, ускользали от них.

«Уехать, отложить, рассказать...» — мелькнуло в голове молодого офицера.

Он даже посмотрел на закрытую наглухо за вышедшим Клейнмихелем дверь, ведущую в переднюю, и откинул эту мысль.

«Это будет бегством... трусостью... — стал

стыдить он самого себя. — Будь что будет! Стану дожидаться хоть до утра, а увижу сегодня же этого дуболома...» — мысленно рассуждал он и снова уселся на стул.

После этого решения Антон Антонович вдруг совершенно успокоился и даже думы его далеко отошли от предстоящего свидания с графом.

Он стал от нечего делать оглядывать приемную, уже по углам заволакивавшуюся ранними зимними сумерками. Это была комната, служившая в былые времена танцевальной залой.

Убранство её было довольно простое: стулья и скамьи, обитые штофом, по стенам и на окнах гардины да люстра посередине. В простенках были высокие зеркала, и на одной из стен огромное зеркало, аршина в три ширины и аршин пять в вышину.

У противоположной стены стояли знамена. Так как граф был шефом полка его имени, то и знамена находились в его доме, а у дома, вследствие этого, стоял всегда почетный караул.

Вся эта обстановка напоминала фон Зеема-

ну годы его юности, и он мысленно стал переживать эти минувшие безвозвратные годы, все испытанное им, все им перечувствованное, доведшее его до смелой решимости выдаться прибыть сегодня к графу и бросить ему в лицо жестокое, но, по убеждению Антона Антоновича, вполне заслуженное им слово, бросить, хотя не от себя, а по поручению других, но эти другие были для него дороже и ближе самых ближайших родственников, а не только этой «седьмой воды на киселе», каким приходился ему ненавистный Клейнмихель.

При воспоминании о только что вышедшем адъютанте фон Зеeman сделал даже брезгливый жест.

Граф Алексей Андреевич продолжал, между тем, задумчиво сидеть у письменного стола в своем мрачном кабинете. Тени сумерек ложились в нем гуще, нежели в зале, но граф, по-видимому, не замечал этого, или же ему нравился начинавший окружать его мрак, так гармонизировавший с настроением его духа.

Степан Васильев неслышными шагами во-

шел в кабинет, но чуткий Алексей Андреевич тотчас оглянулся.

— Чего тебе?

— Огня, я думал.

— И этот думает. Пошел вон, позову.

Степан удалился, что-то ворча себе под нос.

Граф не слышал этой воркотни, иначе бы недобровать камердинеру.

Алексей Андреевич не оборвал нить своих тяжелых воспоминаний и снова погрузился в них.

Степан Васильев, все продолжая ворчать, добрал до своей комнатки, опустился на стул у столика, покрытого цветною скатертью и, исчерпав по адресу графа весь свой лексикон заочных ругательств, тоже задумался, склонив свою голову на руки.

По странной случайности, все эти три лица: граф в своем кабинете, Антон Антонович фон Зеeman в опустевшей приемной и Степан Васильев в своей каморке думали в общих чертах об одном и том же.

Из этих воспоминаний в сложности можно было создать яркую картину последних

минувших десяти лет, главными центральными фигурами которой являлись граф Алексей Андреевич Аракчеев, его жена графиня Наталья Федоровна и домоправительница графа — Настасья Федоровна Минкина, тоже прозванная «графинею».

Воссозданием этой картины мы и займемся, но для этого нам придется с тобой, дорогой читатель, перенестись на десять лет назад.

VII

На Васильевском острове

На 6-й линии Васильевского острова, далеко в то время не оживленного, а, напротив, заселенного весьма мало сравнительно с остальными частями Петербурга, стоял одноэтажный, выкрашенный в темно-коричневую краску, деревянный домик, который до сих пор помнят старожилы, так как он не особенно давно был заменен четырехэтажным каменным домом новейшего типа, разобранным вследствие его ветхости по приказанию полицейской власти.

Несколько лет, как уверяют, он стоял зако-

лоченным, так как не находилось покупателя на место, а самый дом был предназначен к слому.

По рассказам тех же стариков, этот полуразвалившийся дом служил для ночлега бродяг и темных людей, от которых не были безопасны пешеходы в этой пустынной, сравнительно, в то время местности.

Ещё пустыннее она была в описываемое нами время.

Известно, что Васильевский остров — это излюбленное место великого основателя Петербурга, из которого он хотел сделать торговую часть города, прорезанную каналом, вроде Амстердама.

С кончиною Петра I многое начатое им осталось неоконченным. Его преемники, Екатерина I и Петр II, ничего не сделали для Петербурга. Петр II думал даже столицу перевести снова в Москву, как размышлял это и сын Петра I — Алексей, так трагически окончивший свои дни. В непродолжительное царствование Петра II Петербург особенно запустел, и на Васильевском острове, который тогда называли Преображенским, многие каменные

дома были брошены неоконченными и стояли без крыш и потолков.

Заметим кстати, что название Васильевского острова произошло не от имени командира батареи острова Василия Корягина, как полагают многие, но ещё гораздо ранее, а именно в 1640 году в писцовых новгородских книгах этот остров носил название Васильевского.

Несмотря на принятые затем строгие принудительные меры к заселению острова, дело это подвигалось туго, так как этот остров наиболее всех частей столицы страдал от наводнений.

Чтобы предотвратить эти наводнения, ещё в первых годах, при основании Петербурга, архитекторы Петра Великого, Леблонд и Трезин, думали весь Васильевский остров поднять на $1\frac{1}{2}$ сажени. Сам Петр предполагал застраховать Васильевский остров от наводнений, перерыв его большими каналами, как в Венеции.

Затем, в описываемую уже нами эпоху при Александре I, архитектор Модьи представил свои предположения об устройстве города на

Васильевском острове и Петербургской стороне; на этот проект государь сказал: «Проект ваш был проектом Петра Великого, он хотел сделать из Васильевского острова вторую Венецию, но, к несчастью, должен был прекратить работы, ибо те, коим поручено было исполнение его мысли, не поняли его: вместо каналов они сделали рвы, кои до сих пор существуют».

Такова печальная судьба этого острова.

В настоящее время, когда каждая пядь столичной земли ценится чуть ли не на вес золота и город растет не по дням, а по часам, опасность наводнений не останавливает обывателей и они воздвигают и на Васильевском острове многоэтажные громады.

Но мы слишком уклонились историческими справками от описываемого нами деревянного одноэтажного домика.

Возвратимся к нему.

Домик этот в 1805 году принадлежал отставному генерал-майору Федору Николаевичу Хомутову. Федор Николаевич был человек лет около семидесяти, хотя по виду казался старше своих лет. Не даром, видимо, ему до-

сталась служебная ляжка, тянув которую из сдаточного рекрута он сумел дослужиться до высокого военного чина. Этот чин составлял его радость и гордость, и он требовал неукоснительно от всех величания себя «вашим превосходительством», бранясь и негодуя по целым дням и часам за неисполнение кем-нибудь этого акта чинопочитания.

Вторую его гордостью и радостью была его дочь Наталья Федоровна, которой шел семнадцатый год.

Два его старших сына уже служили офицерами в расположенных вдали от столицы полках.

Содержание их в гвардии было не по средствам не особенно богатой семье Хомутовых.

Семья эта, то есть члены её, жившие в Петербурге, состояла из старика отца, упомянутого Федора Николаевича, его жены, женщины лет за пятьдесят, Дарьи Алексеевны, и дочери «Талечки», как сокращенно звали её отец и мать.

В доме царило относительное довольство. Федор Николаевич, кроме довольно значительного для того времени пенсiona и скоп-

ленного во время долговременного командования полком изрядного капитальца, владел ещё небольшим именьем, с пятьюдесятью душами крестьян, в средней полосе России, полученным им в приданое за женой.

Не балуя служащих вдали сыновей большими субсидиями, он мог окружать себя относительным комфортом, и безумно, даже сверх меры, как замечали ему его старые друзья, баловать и лелеять свою, боготворимую им, Талечку.

— И какому заморскому принцу вы её в жены готовите? — не без ядовитости спрашивали собравшиеся нередко у гостеприимных Хомутовых их знакомые, все больше такие же, как Дарья Алексеевна, отставные полковые дамы с мужьями, сослуживцами Федора Николаевича.

— И какому там принцу, что вы не скажете! Талечка у меня совсем ещё ребенок и ей о замужестве помышлять рано, — отпарировала всегда Дарья Алексеевна.

— Какой там рано, девушка в самой что ни на есть поре, — не унимались дамы.

— Вы при ней-то этого не сморозьте, я-то

ко всем вашим плоскостям привыкла, — раздражалась уже резко Дарья Алексеевна, не стеснявшаяся вообще ни в выражениях, ни в манерах, что было принято тогда в кругу полковых дам, которых она в этом отношении всех затыкала за пояс, за что от кавалеров заслужила прозвище «бой-барыни».

Кроме означенных трех лиц, в доме находилась девочка лет девяти — Лидочка, считавшаяся дальней родственницей Дарье Алексеевне Хомутовой, ею же самою выдаваемая сиротою-приемышем.

Эта странная неопределенность её положения объяснялась романическою таинственностью, окружавшею появление на свет этой в полном смысле красавицы-девочки.

Черные как смоль локоны окружали матовой белизны личико с правильными тонкими чертами, красиво разрезанные глубокие темно-коричневые глаза, полузакрытые длинными ресницами и украшенные правильными дугами соболиных бровей, довершали неотразимое очарование этой смуглянки.

Стройненькая, высокая, смышленная дале-

ко не по летам, она явно носила на себе печать рано развивающихся детей Востока.

Этот-то восточный тип ребенка давал большую вероятность рассказам Дарьи Алексеевны, что он для неё совершенно чужой, но что любит она его как родного и никакой разницы между Талечкой и им не делает.

Многочисленные дворовые, находившиеся, по обычаю того времени, в людской, девичьей и передней, а также некоторые из близко и давно знавших семью Хомутовых утверждали иное.

Первые втихомолку, а вторые заочно и под секретом рассказывали, что Лидочка приходилась двоюродной внучкой Дарье Алексеевне, так как была незаконной дочерью её племянницы Анны Павловны Суцевской, дочери старшей сестры Хомутовой, урожденной Хмыровой, Лидии.

Анна Павловна, оставшись после смерти её отца и матери, совершенно разорившихся при жизни, круглой сиротою, была взята Дарьей Алексеевной, у которой прожила с тринадцати до двадцати лет, влюбилась в какого-то грузинского князя, который увез её из

дома тетки, обманул и вскоре бросил.

Больная, в последнем месяце беременности, она явилась к резкой и строгой на вид, но в душе доброй и всепрощающей Дарье Алексеевне и упала к её ногам.

Последняя скрыла её, по возможности, от взора посторонних, но несчастная девушка умерла в родах, и на руках Хомутовой осталась смуглянка-девочка, которую Дарья Алексеевна и объявила подкидышем.

Она сама была её крестной матерью и сама, не досыпая ночей, выходила хилого и болезненного ребенка.

Такова была история «турчанки», как заочно звали Лидочку дворовые люди в доме Хомутовых.

Эти четверо лиц, не считая прислуги обоего полу, и были обитателями одноэтажного деревянного домика, окрашенного желто-коричневою краскою, на 6-й линии Васильевского острова.

VIII

Талечка

Наталья Федоровна Хомутова была не только кумиром своего отца, но прямо центром, к которому, как радиусы, сходились симпатии всех домашних, начиная с главы дома и кончая последним дворовым мальчишкой, носившим громкое прозвище «казачка» или «грума».

Она была далеко не красавица, но её симпатичное, свежестью молодости и здоровья блиставшее личико, окруженное густыми темно-каштановыми волосами, невольно останавливало на себе внимание своим чарующим выражением доброты и непорочности, и лишь маленькая складочка на лбу над немного вздернутым носиком, появлявшаяся в редкие минуты раздражения, указывала на сильный характер, на твердость духа в этом хрупком, миниатюрном тельце.

Талечка — таково, как мы знаем, было её домашнее прозвище — была ростом ниже среднего, но грациозная и пропорционально

сложенная, она казалась рано развившимся прелестным ребенком, чему ещё более способствовал удивленно-наивный взгляд её серых глаз.

Никто не дал бы ей восемнадцатого года, который шел ей в момент нашего рассказа.

С детства окружавшее её непомерное баловство, исполнение, даже предупреждение всех её малейших желаний, не развили в ней, что бывает лишь в единичных случаях, своеволия и каприза, не сделали из неё тиранки-барышни, типа балованной помещичьей дочки, в то время заурядного.

Напротив, окружающее её довольство порождало в ней желание доставить его в большей или меньшей степени всем, не только зависимым от ней по своему положению людям, но и посторонним, так или иначе с ней сталкивавшимся. Она была защитницей за всех провинившихся перед строгим и взыскательным Федором Николаевичем, вынесшим из пройденной им суровой солдатской школы склонность к крутым мерам и жестоким наказаниям виноватого, что служило, по его мнению, лучшим средством сохранения до-

машней дисциплины. Она же была первая в ходатайстве перед матерью о помощи как своим, так и чужим людям, впавшим в ту или другую беду, в то или другое несчастье.

За это-то не только дворовые люди и крестьяне, но и все окольные бедняки звали её не иначе, как «ненаглядной кралечкой», «ангелом-барышней» и в глаза и за глаза желали ей всех благ мира сего, да жениха — заморского принца и куль червонцев.

Дарья Алексеевна, впрочем, была права, парируя намеки своих приятельниц о замужестве дочери, говоря, что последняя ещё совсем ребенок.

Талечка, на самом деле, и по наружности, и по внутреннему своему мировоззрению была им. Радостно смотрела она на мир Божий, с любовью относилась к окружающим её людям, боготворила отца и мать, нежно была привязана к Лидочке, но вне этих трех последних лиц, среди знакомых молодых людей, посещавших, хотя и не в большом количестве, их дом, не находилось ещё никого, кто бы заставил не так ровно забиться её полное общей любви ко всему человечеству сердце.

Выросшая среди походной жизни родителей, почти без подруг, она и этим обыкновенным для других способом не могла узнать многое из того, что делает в наше время, даже часто преждевременно, из ребенка женщину.

В ней не было поэтому даже намека на малейшее кокетство, но это его полное отсутствие делало её ещё более очаровательной.

Воспитание Наталья Федоровна получила чисто домашнее: русской грамоте и закону Божьему, состоявшему в чтении Евангелии и изучении молитв, обучала её мать, а прочим наукам и французскому языку, которого не знала Дарья Алексеевна, нанятая богобоязненная старушка-француженка Леонтина Робертовна Дюран, которую все в доме в лицо звали мамзель, а заочно Левонтьевной.

Леонтина Робертовна, сама не особенно сведущая в разных науках, добросовестно, однако, передавала своей ученице, к которой она привязалась всем своим пылким стародевственным сердцем, скудный запас своих знаний, научила её практике французского языка и давала для чтения книги из своей маленькой библиотеки.

Из этих книг молодая девушка не могла почерпнуть ни малейшего знания жизни, не могла она почерпнуть их и из бесед со своей воспитательницей, идеалисткой чистейшей воды, а лишь вынесла несомненную склонность к мистицизму, идею о сладости героических самопожертвований, так как любимыми героинями m-lle Дюран были, с одной стороны, Иоанна Д'Арк, а с другой — героиня современных событий во Франции, «святая мученица» — как называла её Леонтина Робертовна — Шарлотта Корде.

Девять лет прожила старушка в семье Хомутовых и умерла, когда её воспитаннице минуло семнадцать лет, подарив ей перед смертью свою библиотеку, кольцо из волос Шарлотты Корде, присланное покойной из Парижа её двоюродным внуком, также погибшим или пропавшим без вести во время первой революции, что служило неистощимой темой для разговоров между ученицей и воспитательницей, причем последняя описывала своего «brave petit fils» яркими красками безграничной любви.

Смерть Леонтины Робертовны была пер-

вым жизненным горем Талечки, она любила её почти наравне с родною матерью, и эта утрата горьким диссонансом отозвалась в её доселе безмятежной душе.

С кольцом из волос Шарлотты Корде — в подлинности последних она, как и покойная, ни на минуту не сомневалась — Талечка дала клятву не расставаться всю свою жизнь.

Своею смертью старушка укрепила и освятила переданные ею своей ученице идеи и воззрения — в память m-lle Leontine Наталья Федоровна читала и перечитывала завещанную ей библиотеку; в память её же она в своих мечтах о будущем видела себя то благотворительницей, то монашенкой, то мученицей.

Такова была Талечка в момент, когда застает её наш правдивый рассказ.

Жизнь её протекала в родительском доме с поражающим однообразием: сегодня было совершенно похоже на завтра, и ни один день не вносил ничего нового в сумму пережитых впечатлений.

Круг знакомых хотя и был довольно большой, но состоял преимущественно из подружек её матери — старушек и из сослуживцев её

отца — отставных военных. У тех и других были свои специальные интересы, свои специальные разговоры, которыми не интересовалась и которых даже не понимала молодая девушка.

Два лица, вносящие относительную жизнь в это отжившее царство, были — Екатерина Петровна Бахметьева, сверстница Талочки по годам, дочь покойного друга её отца и приятельницы матери — бодрой старушки, почти молившейся на свою единственную дочурку, на свою Катиш, как называла её Мавра Сергеевна Бахметьева, и знакомый нам, хотя только по имени, молодой гвардеец — Николай Павлович Зарудин, с отцом которого, бывшим губернатором одной из ближайших к Петербургской губернии местностей, Федор Николаевич Хомутов был в приятельских отношениях.

Старик Павел Кириллович Зарудин любил в Хомутове прямизну и правдивость, и редко выезжая из дому, вследствие болезни и сильно отразившихся на нем первых служебных неприятностей, неукоснительно раз в неделю присылал сына на Васильевский остров, что-

бы потом подробно расспросить его о здоровье, о житье-бытье его друга.

IX

Николай Павлович Зарудин

Только первое время Николай Павлович отбывал свой визит к Хомутовым единственно по воле своего родителя, впоследствии же к этому присоединилось и собственное влечение — он стал засиживаться в коричневом домике Васильевского острова долее необходимого времени, чтобы изготовить своему отцу словесный рапорт о благоденствии его обитателей, и подолгу стал засматриваться на симпатичное личико Натальи Федоровны, этого полуробенка-полудевушки.

Сначала дичившаяся его, Талечка с течением времени привыкла к нему, стала разговорчивее и откровеннее, но в её детских глазках он никогда не мог прочесть ни малейшего смущения даже в ответ на бросаемые им порой страстные, красноречивые взгляды — ясно было, что ему ни на мгновение не удалось нарушить сердечный покой молодой де-

вушки, не удалось произвести ни малейшей зыби на зеркальной поверхности её души.

Это обстоятельство привлекало его к ней с ещё большею силою, но вместе с тем сделало его крайне сдержанным и осторожным: он как бы стал бояться не только словами, но даже взглядом святотатственно проникнуть в святая святых этой непорочной чистой девушки, казавшейся ему не от мира сего.

Он стал, казалось, скорее молиться на неё, нежели любить её.

Такое платоническое поклонение горячо любимому существу было далеко не в нравах военной молодежи того времени.

В блестящее царствование Екатерины II, лично переписывавшейся с Вольтером, влияние французских энциклопедистов быстро отразилось на интеллигентной части русского общества и разрасталось под животворным покровительством с высоты трона; непродолжительное царствование Павла I, несмотря на строгие, почти жестокие меры, не могло вырвать с корнем «вольного духа», как выражались современники; с воцарением же Александра I — этого достойного внука

своей великой бабки, — этот корень дал новые и многочисленные ростки.

Пример Франции, доведенной этим учением её энциклопедистов до кровавой революции, был грозным кошмаром и для русского общества, и хотя государь Александр Павлович, мягкий по натуре, не мог, конечно, продолжать внутренней железной политики своего отца, но все-таки и в его царствовании были приняты некоторые меры, едва ли, впрочем, лично в нем нашедшие свою инициативу, для отвлечения молодых умов, по крайней мере, среди военных, от опасных учений и идей, названных даже великою Екатериной в конце её царствования «энциклопедическою заразою».

Военное начальство стало искоренять всякое вольнодумство, представляя одновременно широкий простор правам молодости, чуть не поощряя всякие буйства, разнузданности, соблазны и скандалы.

— Пускай молодежь тешится всякой чертовщиной, лишь бы бросила «вольтеровщину», — таковы были слова, приписываемые одному крупному начальствующему лицу то-

го времени.

Поблажка всяким шалостям произвела моду на эти шалости. И скоро это поветрие дошло до того, что самый скромный, добродушный корнет или прапорщик, ещё только свежеиспеченный офицер, как бы обязывался новой модой — отличиться, принять крещение или «пройти экватор», как выражались старшие товарищи.

«Пройти экватор» — значило совершить скандал по мере сил и умения, как Бог на душу положит. Вскоре, разумеется, явились и виртуозы по этой части, имена которых гремели на всю столицу, стоустая молва переносила их в захолустья, и слава о подвигах героев расходилась по весям[1] и городам российским.

От военных старались не отставать и статские, и эта буйная «золотая молодежь» того времени, эти тогдашние «шуты» и «саврасы без узды» носили название «питерских блазней».

К числу последних с немногими из своих товарищей не принадлежал Николай Павлович Зарудин.

Выйдя из Пажеского корпуса 18 лет, он сделался модным гвардейским офицером, каких было много. Он отлично говорил по-французски, ловко танцевал, знал некоторые сочинения Вольтера и Руссо, но кутежи были у него на заднем плане, а на первом стояли «права человека», великие столпы мира — «свобода, равенство и братство», «божественность природы» и, наконец, целые тирады из пресловутого «Эмиля» Руссо, забытого во Франции, но вошедшего в моду на берегах Невы.

Начальство косилось на примерного по службе, на «размышляющего» офицера, но поделать ничего не могло — Николай Павлович был принят в дом и даже считался фаворитом Марьи Антоновны Нарышкиной.

Как ни были страшны начальству республиканские идеи молодого офицера, они были настолько наивны и невинны, что вполне сходились с идеями Талочки, ученицы старушки Дюран, роялистки чистейшей пробы.

Это ещё более сблизило молодых людей.

За последнее время Николай Павлович стал кататься на Васильевский остров гораздо чаще — раза два, три каждую неделю.

Целые вечера проводил он в беседах с Натальей Федоровной, и предметами этих бесед были большею частью интересующие их обоих отвлеченные темы.

Федор Николаевич, по обыкновению, дремал в кресле под их «переливание из пустого в порожнее», как называл он разговоры молодого офицера с его дочерью. Лидочка в одном из уголков довольно обширной гостиной, полуосвещенной четырьмя восковыми свечами, сосредоточенно играла в куклы, находясь обыкновенно к вечеру в таком состоянии, о котором домашние говорили «на нашу вертушку тихий стих нашел», и лишь одна Катя Бахметьева, за последнее время чуть не ежедневно посещавшая Талечку, глядела на разговаривающих во все свои прекрасные темно-синие глаза.

Все её прелестное, нежное личико, обрамленное, как бы сиянием, светло-золотистыми волосами, красноречиво говорило, что её интересует собственно не содержание, а самый процесс разговора, да и в последнем случае только со стороны красивого гвардейца. Она наивно не спускала глаз с его стройной фигу-

ры, с его выразительного матово-бледного лица, оттененного небольшими, но красивыми и выхоленными черными усиками и слегка вьющимися блестящими волосами на голове, с его, как бы выточенного из слоновой кости, лба и сверкающих из-под как будто вырисованных густых бровей больших, умных карих глаз.

Если бы все внимание Николая Павловича не было сосредоточено исключительно на его собеседнице, то он несомненно обратил бы внимание на восторженное, оживленное, казалось, беспричинной радостью лицо молодой девушки и, быть может, сразу бы разгадал тайну её чересчур откровенного сердца.

Но Зарудину было не до того — он молился одному кумиру, и этот кумир была Наталья Федоровна Хомутова.

Х

Отец и мать

Исключительное внимание молодого гвардейца к их дочери не ускользнуло от стариков Хомутовых, или, вернее сказать, от зоркого глаза Дарьи Алексеевны, как не ускользнуло от неё и поведение относительно Зарудина молодой Бахметьевой.

— Влюбилась девка, как кошка, так на него свои глазища и пялит, а он на неё, сердечную, нуль внимания, нашу так и ест глазами, — общала она свои соображения Федору Николаевичу.

— И я заприметил, — счел долгом поддержать в жене мнение и о своей прозорливости старик. — А Талечка, как и что? — после некоторой паузы с тревогой в голосе спросил он, не соображая, что этим вопросом разрушал в уме жены впечатление того, что и он что-нибудь заприметил.

— Наша-то? Да разве наша в этих делах что-нибудь смыслит? Ребенок ведь сущий, хотя и восемнадцатый год, пора, когда наши ма-

тери по трое детей имели, глядит ему в рот, что он скажет, и сама сейчас словами засыплет, а чтобы на нежные взгляды его внимание обратить или улыбочкой ответить... с неё это и не спрашивай... — с оттенком горечи заметила Дарья Алексеевна.

— Что это, мать, ты как будто недовольна, что дочь на шею мужчине не вешается? Ей и не след, не чета она у нас Бахметьевской... — строго заметил Федор Николаевич.

— Уж и ты, отец, скажешь, ровно топором отрубишь: «на шею мужчине не вешается». Иное дело вешаться, а иное дело некоторое сочувствие молодому мужчине выказать, ежели он нравится. Чай и я тебя взяла глазами и пронзительной улыбкой.

— Ишь, старуха, старину вспомнила, — улыбнулся Федор Николаевич.

— Да к тому и вспомнила, что не нами это началось, не нами и кончится... Молодежь-то, что мы, что они — все та же.

— Ну, это тоже надвое написано: та же ли? — задумчиво вставил Хомутов.

— Это ты насчет чтений ихних, так это оставь, чтения чтениями, а по любовным де-

лам, как это от века велось, так с концом века и кончится, — авторитетно заметила Дарья Алексеевна.

Хомутов снова улыбнулся.

— А может, он ей и не нравится?

— Вот то-то и оно... Этого-то мне допытаться и хочется, а как приступиться, ума не приложу. С Талечкой говорить без толку не приходится, а, между тем, лучшей для ней партии и желать нечего — человек он хороший, к старшим почтительный, не то что все остальные петербургские блазни, кажись бы в старых девках дочь свою сгноила, чем их на ружейный выстрел к ней подпустила бы. К тому же и рода он хорошего, а со стариком вы приятели.

— Приятели, — перебил он жену, — а действуюем-то мы с тобой относительно его не по-приятельски...

Дарья Алексеевна вскинула на него удивленный взгляд.

— Как так?

— Да так, сына его на нашей дочери женить собираемся, а о том, чтобы спросить его согласия и не додумались, а может, сынок-то

и без родительского ведома к нам зачастил, может, у Павла Кирилловича ему невеста на примете есть.

— И что ты! — испугалась Дарья Алексеевна. — Он сам мне не раз говорил, что о каждом визите к нам отцу докладывает, да и Талечке всегда от отца поклон приносит...

— Это, мать, может языкочесание, знаю я тоже молодежь, сам молод был, — задумчиво произнес Хомутов.

— Что же ты надумал?

— Что же тут и надумывать, съездить надо к его превосходительству, да все напрямик и отрапортовать, так и так, дескать, сына вашего моя дочка, видимо, за сердце схватила, так какие будут по этому поводу со стороны вашего превосходительства распоряжения, в атаку ли ему идти дозволите, или отступление прикажете протрубить, али же какую другую ему диверсию назначите... — шутливо произнес Хомутов.

Дарья Алексеевна поняла, несмотря на шутливый тон мужа, что он высказал свое бесповоротное решение, поняла также, что перспектива свадьбы её дочери с молодым За-

рудиным была далеко не благоприятна Федору Николаевичу.

— А как же насчет Бахметьевской, отвадить как-нибудь по-деликатному или матери сказать? — после некоторого молчания, с расстановкой, как бы робея, спросила она.

— И вечно ты, мать, с экивоками и разными придворными штуками, — с раздражением в голосе отвечал он. — Знаешь ведь, что не люблю я этого, не первый год живем. «Отвадить по-деликатному или матери сказать», — передразнил он жену. — Ни то, ни другое, потому что все это будет иметь вид, что мы боимся, как бы дочернего жениха из рук не выпустить, ловлей его пахнет, а это куда не хорошо... Так-то, мать, ты это и сообрази... Катя-то у нас?

— У нас, — недовольным голосом сказала Дарья Алексеевна.

— Ну и пусть ходит, Талечка её любит, и ей с ней все веселее, чем одной-то с книгами... ещё ум за разум зайдет, не в час будет сказано... А теперь, старуха, пойдем чай пить!.. — уже более ласково сказал он.

Разговор происходил вечером, в кабинете

Федора Николаевича. Зарудин был накануне, а потому его не ожидали.

XI

Признание

В то самое время, когда между стариками Хомутовыми шла выше описанная беседа, другие сцены, отчасти, впрочем, имеющие связь с разговором в кабинете, происходили в спальне Талечки.

Спальня эта была довольно большой комнатой, помещавшейся в глубине дома, недалеко от спальни отца и матери, с двумя окнами, выходившими в сад, завешанными белыми шторами. Сальная свеча, стоявшая на комодке, полуосвещала её, оставляя темными углы. Обставлена она была массивною мебелью в белоснежных чехлах, такая же белоснежная кровать стояла у одной из стен, небольшой письменный стол и этажерка с книгами и разными безделушками — подарками баловника-отца, довершали её убранство.

Талечка и Катя Бахметьева находились в одном из неосвещенных углов этой комнаты

в странно необычной позе: Талечка сидела на стуле, склонившись над своей подругой, стоявшей на коленях, прятавшей свое лицо в коленях Талечки, и горько, беззвучно рыдавшей.

— Катя, Катечка... что с тобой? — недоумевающе удивленным тоном, тоже со слезами в голосе, говорила последняя.

Та продолжала неудержимое всхлипывать.

«И с чего это с ней так вдруг? — пронеслось в голове Натальи Федоровны. — Ходили мы с ней обнявшись по комнате, о том, о сем разговаривали, заговорили о Николае Павловиче, сказала я, что он, по-моему, умный человек, и вдруг... схватила она меня что есть силы за плечи, усадила на стул, упала предо мною на колени и ни с того, ни с сего зарыдала...»

— Катя, Катечка, что ты, что с тобой? — повторяла она, ещё ниже наклоняясь к рыдавшей подруге. — Да скажи же хоть слово...

— Ты... тоже... любишь его... — всхлипывая прошептала Катя.

— Любишь... тоже... кого? — удивилась Талечка.

— Любишь... Я вижу, что любишь... и он тебя... а я, я несчастная... конечно, ты лучше меня, но за что же мне-то... погибать?

Наталья Федоровна не понимала ничего из этого бессвязного бреда плачущей подруги.

— Кого я люблю?.. Кто он? Да скажи толком... Ничего не понимаю! — с отчаянием в голосе почти крикнула Талечка.

— Не понимаешь... притворщица... не ожидала я от тебя этого...

В голосе Кати прозвучала неподдельная нотка сердечной горечи.

— Клянусь тебе, что я нимало не притворялась, говоря тебе, что ничего не понимаю и о ком ты речь ведешь, не могу догадаться.

— Да о ком же... как не о нем... о Николае... Павловиче... — с видимым усилием проговорила Екатерина Петровна.

— О Николае... Павловиче... — с расстановкой проговорила Талечка.

— Да, о нем, — вдруг подняла голову Катя и ещё полными слез глазами в упор посмотрела на неё. — Ведь... ты... тоже... любишь его... — добавила она глухим голосом.

Наталья Федоровна продолжала удивлен-

но смотреть на неё.

— Я... я... не знаю...

— Чего же тут не знать, любишь или не любишь...

— Я не знаю, я не понимаю, как любишь ты... Садись и расскажи мне.

Наталья Федоровна подняла свою подругу и усадила её на стул возле себя.

Та послушно повиновалась, но молчала.

— Так расскажи же... — повторила Талечка.

— А ты... ты не притворяешься? — снова спросила молодая девушка, и слезы вновь градом посыпались из её глаз.

— Да говорят же тебе нет... Поклялась ведь я тебе... Какая ты... нехорошая.

Катя потупилась и начала, вытерев глазки:

— Так слушай же, — Екатерина Петровна склонила свою голову на плечо Талечки, — полюбила я его с первого раза, как увидела, точно сердце оборвалось тогда у меня, и с тех пор вот уже три месяца покоя ни днем, ни ночью не имею, без него с тоски умираю, увижу его, глаза отвести не могу, а взглянет он — рада сквозь землю провалиться, да не часто он

на меня и взглядывает...

На её лице появилось выражение безысходного горя.

Талечка слушала её с прежним удивленно-вопросительным взглядом своих чудных, детских глаз. Действительно, Катя заметно за последнее время осунулась и побледнела, чего Наталья Федоровна, видя свою подругу чуть ли не каждый день, прежде и не заметила.

— Бедная, бедная... вот она любовь... — мелькнуло в её голове.

— Сама знаю я, что выдаю себя, неотступно глядя на него, и совестно мне, а не могу пересилить себя... совсем не знаю, что и делать мне с собою?..

Она остановилась и вопросительно посмотрела на Талечку. Та растерянно смотрела на неё.

— Я уж и сама не знаю, как тут быть... — убитым голосом пролепетала она.

— Не знаешь... вот и ты не знаешь... а может, ты и не хочешь знать, ведь он... он любит... тебя, — с трудом, низко опустив на грудь Талечки свою голову, пролепетала Катя.

— Он?.. Меня?.. — даже отстранилась от неё Наталья Федоровна.

— Точно сама ты до сих пор не знала этого... — подозрительно взглянула на неё Екатерина Петровна.

— Конечно, не знала... А ты? Ты с чего это выдумала?..

— Какой там выдумала, только слепой не заметит, как он глядит на тебя.

— Я тоже не заметила...

— Будто?

— Ей-Богу!

— Так успокойся и поверь мне: любит он тебя, любит! — с горечью почти вскрикнула Катя.

— Чего же мне-то успокаиваться?.. Мне все равно, — произнесла Талечка.

— Как все равно? Все равно, любит ли он? — с недоумением уставилась на неё Бахметьева.

— Ну да, все равно...

Тон голоса Натальи Федоровны был настолько спокоен и искренен, что Екатерина Петровна вдруг замолчала и пристально стала смотреть на неё.

— Ты и впрямь не любишь его? — робко заметила она после довольно продолжительной паузы.

— Впрямь, — улыбнулась Талечка. — Так как ты его любишь, я не люблю его. И если то, что ты чувствуешь к нему — любовь...

Она остановилась.

— Конечно же любовь! — вставила Катя.

— Тогда я не чувствую к нему... любви... Клянусь тебе!.. Мне приятно видеть его, говорить с ним, я привыкла к нему, не дичусь его, но вот... и все...

— Милая, хорошая моя... как я рада! — порывисто бросилась Бахметьева обнимать подругу.

— Чему же ты... рада?

— Как же! Ведь я было сердиться на тебя стала... минутами почти ненавидела тебя... Думала, ты тоже любишь его, думала — ты моя... соперница... Прости меня, прости...

Катя снова ударилась в слезы.

— Полно, не плачь... какая ты смешная... и глупенькая... — с нежностью обняла в свою очередь подругу Талечка.

Та продолжала тихо плакать.

— Лучше подумаем, как бы твоему горю помочь, — после некоторого раздумья произнесла Наталья Федоровна.

— Как ему помочь? Помочь нельзя... он меня не любит...

— А может, и полюбит, как узнает, что ты его любишь так...

— От кого же ему узнать это? — с испугом спросила Катя.

— От меня...

— От тебя? Что ты, что ты... Ты хочешь сказать ему...

— Конечно, уж положись на меня, я сумею поговорить с ним... Не быть же мне безучастной к твоему горю... ведь я, чай, друг тебе...

— Друг, друг, — бросилась снова Катя обнимать Талечку.

— А если друг... то должна...

— Нет, нет... не делай этого... мне страшно...

Наталья Федоровна хотела что-то ответить, но в её комнату вошла Дарья Алексеевна и позвала молодых девушек пить чай.

Катя за столом сидела положительно как на иголках, она с нетерпением ожидала окон-

чания чаепития, чтобы снова удалиться с Талечкой в её комнату, но это, по-видимому, не входило совершенно в планы последней и она, к величайшему огорчению Кати, отказавшейся после второй выпитой ею чашки, пила их несколько, и пила, что называется, с прохладцем, не замечая, нечаянно или умышленно, бросаемых на неё подругой красноречивых взглядов.

Вошедший казачок доложил, что прислали за барышней Екатериной Петровной, и та, бросив последний умоляющий взгляд на Наталью Федоровну, стала прощаться.

— Завтра не приходи, а послезавтра я буду у тебя, — успела шепнуть ей последняя, провожая в переднюю.

Катя бросила на неё полунедоумевающий, полуподозрительный взгляд.

— Ради Бога, не делай... — начала было она, но Талечка остановила её, нежно сказав:

— Так надо!

Подруги расстались.

XII

Без подруги

Не дешево досталось Наталье Федоровне её наружное спокойствие во время чая.

По уходе подруги она поспешила проститься с отцом и матерью и ушла в свою комнату.

На её уход не было со стороны родителей обращено особенного внимания, так как был уже десятый час вечера, в доме же ложились рано.

Скоро и остальные обитатели коричневого домика отошли на покой и заснули сном праведных.

Не спала эту ночь одна Талечка.

Разговор с Бахметьевой не на шутку взволновал её, хотя она постаралась не показать ей этого, что ей, как мы видели, и удалось совершенно.

Талечка боялась, чтобы её волнение не было истолковано подругой в смысле, могущем усилить её сердечную боль.

Наталья Федоровна сама не понимала при-

чину охватившего её волнения, которое, когда она осталась одна, разделась и бросилась в постель, стараясь уснуть, не только не уменьшалось, но все более и более росло, угрожая принять прямо болезненные размеры. Голова её горела, кровь прилиwała к сердцу, и мысли одна несуразнее другой проносились в её, казалось ей, клокочущем мозгу.

Она была близка к бреду.

«Что такое? Что со мной делается?» — мысленно задавала она себе вопросы, но вопросы эти оставались открытыми.

Казалось, совершенно незнакомые ей доселе ощущения грозной волной окружали её, она старалась отогнать их, но они вновь бросались на неё нравственным шквалом.

«Катя любит его... худеет, страдает, так вот что значит эта любовь... грешная, земная!.. Небесная любовь к человечеству, любовь, ведущая к самоотречению, не имеет своим следствием страдания, она, напротив, ведет к блаженству, она сама — блаженство! А он? Он, она говорит, не любит её... он любит меня... она уверяет, что это правда... А я?»

Довольно уклончиво ответив на этот во-

прос Бахметьевой, Талечка сама себе ответить решительно не могла.

Это доставляло ей необычайное страдание.

«Я солгала, я солгала Кате, сказав, что не люблю его, — в ужасе вскакивала она с постели. — Я... я... тоже люблю... Теперь я понимаю это! Она, она сама растолковала мне... Но он? Он — Катя преувеличивает — он не думает любить меня...»

Она начинала припоминать во всех мельчайших подробностях его слова, его взгляды, и все, что до сих пор оставалось ею незамеченным, непонятым, становилось для неё совершенно ясным, било в глаза своею рельефностью. Она перешла к анализу своего собственного отношения к Николаю Павловичу: она с некоторых пор с особенным удовольствием стала встречать его, дни, когда он не приходил, казались ей как-то длиннее, скучнее, однообразнее, ей нравился его мягкий, звучный голос, она с особым вниманием прислушивалась к чтению им ею уже несколько раз прочитанных книг, к рассказам из его жизни, из его службы, — все, что касалось его, живо интересовало её.

С ужасом она мысленно говорила себе: «Да, я люблю его и он... он тоже любит меня!?»

Последняя уверенность в особенности казалась ей роковой: отказаться от любви неразделенной она ещё чувствовала в себе силы, но если эта любовь пламенно разделяется... Что тогда? Искус становился громадным, почти неодолимым. Но, быть может, Катя и я ошибаемся? Дай Бог, чтобы мы ошибались!

Она мысленно снова шаг за шагом во всех деталях стала припоминать его взгляды, слова, даже жесты, и порой ей казалось, что все это весьма обыкновенно, ничего не доказывает, порой же во всем этом она видела ясно и непреложно его любовь к ней.

— Это пустяки, ничего не значит! — восклицала она, и тотчас это восклицание сменялось другим: — Нет, он любит, это несомненно, Катя права, тысячу раз права!

Ей было больно, невыносимо больно от этой уверенности, но вместе с тем эту боль она не променяла бы на исцеление, если бы последним было ясное доказательство равнодушия к ней Зарудина.

Она не хотела, она боялась самой себе сознаться в этом, но это было так.

Поняв, так внезапно поняв то чувство любви к одному человеку, к постороннему мужчине, то греховное чувство, то главное звено цепи, приковывающей к дьяволу, как называла это чувство старушка Дюран, Талечка — странное дело — первый раз в жизни не согласилась с покойной.

В эту нервную бессонную ночь в беседе со своим собственным сердцем она додумалась до совершенно иного.

«Конечно, — думала она, — любить как Катя, до самозабвения, до отчаяния — грех, это значит „творить себе кумира“. Это значит, своему личному, себялюбивому чувству приносить в жертву любовь к человечеству, это значит забыть обо всех, кроме своего собственного „я“ и его — этого другого „я“. Я была права, сказав ей, что так как она я не люблю его! Но любить человека, не забывая о своих обязанностях к ближним, идти с ним рука об руку по тернистому пути, принося пользу окружающим, пожертвовать собою и даже им для общего дела — что может быть чище этой

любви? Что может быть выше этой жертвы? Такая любовь не преступление, такая любовь и освящается христианским таинством брака. „Тайна сия велика есть, я же глаголю во Христа и во церковь“, — припомнились ей слова апостола. — Значит, такая любовь не противоречит идеи церкви, то есть обществу верующих, готовых положить жизнь свою друг за друга».

Талечка почувствовала, что так она может любить, что именно так она любит Николая Павловича.

А между тем, ей предстоит отказаться от этой любви. Она не смеет, она не должна любить его. Его любит другая, и эта другая — её подруга, которой она же обещала помочь. Она обязана говорить с ним и говорить не за себя, а за другую, за Катю...

Наталья Федоровна вспомнила тот недоверчивый, подозрительный взгляд, который бросила на неё последняя при прощании.

«Она не поверила мне, несмотря на то, что я поклялась ей, она чутьем ранее меня догадалась о чувстве, которого я сама ещё не знавала, на сознание о котором она же на-

толкнула меня... Хорошо ещё, что это пришло позднее, иначе я не дала бы клятвы и ещё больше укрепила бы в ней подозрение, которое ещё сильнее заставило бы её страдать. Бедная, бедная Катя, она доверилась мне, как другу, инстинктивно подозревая и боясь встретить соперницу, да ещё соперницу счастливую, как уверяет она, и на самом деле встретила... Я не стану на её дороге, я не буду её соперницей, хотя бы мне пришлось принести в жертву свою и даже его жизнь».

«Счастливая соперница, — пронеслось в её голове. — Его жизнь... Что если Катя не ошибается и он меня... любит. Дай Бог, чтобы она ошибалась!?»

«Но если и да... если и любит... Пусть! Я не смею и не должна любить его, его любит другая, его любит Катя...»

«Завидная участь, вместо одной несчастной, будет трое, — продолжал смущать её бес — в том, что это бес, Талечка не сомневалась. — За что ты разобьёшь его жизнь?»

— Я должна, должна... — вслух вскрикнула Талечка, вскочила с постели и бросилась на колени перед образом.

В этом крике, вырвавшемся, видимо, против её воли, слышалась нестерпимая душевная боль.

Наталья Федоровна почувствовала близкую победу над ней «смутителя беса» и в горячей молитве думала сыскать в себе силу и подкрепление в этой неравной борьбе.

Она и не ошиблась.

Кроткий лик Богоматери, освещенный полусветом лампы, отражавшемся в кованой серебряной ризе, глядел из угла комнаты на молящуюся девушку.

Из глубоких, как тихое море, очей непорочной и присно-блаженной Девы, казалось, изливалось такое же море благодати и небесного спокойствия.

Это спокойствие сообщилось коленопреклоненной Талечке, и она, после короткой, но искренней молитвы, хотя и со слезами на глазах, но с каким-то миром в душе вернулась на свою кровать.

«Будь, что будет, — решила она, — чего я так волновалась, ещё ничего не зная, быть может, он и не думает обо мне, может быть, все это только представилось ревнивой Кате,

а я глупо поверила ей и вообразила себе Бог знает что... Мне завтра надо будет улучшить свободную минуту и переговорить с ним... Любит ли он меня или нет, я должна помочь Кате в её беде, я обещала ей и сделаю, я выскажу ему, что заставлять страдать её, такую хорошую, добрую — грех, что он может убить её своим невниманием, быть может, умышленным; я читала, что мужчины практикуют такого рода кокетство, он должен узнать её, понять её и тогда он оценит и её, и её чувство к нему...»

«А если он не в силах будет отказаться от любви к тебе?» — вновь ворвалась в её голову жгучая мысль.

Она вздрогнула, но осилила себя.

«Он должен отказаться от этой любви, ведь я же отказываюсь от своей, чтобы спасти Катю. Он тоже должен спасти её, хотя бы во имя любви ко... мне».

Она заставляла себя так думать, потому что надеялась, что и она, и Катя ошибаются в этой предполагаемой его любви к ней, к Талечке.

Над всеми этими благоразумными, самоот-

верженными мыслями господствовала, таким образом, иная мысль и эта мысль была: «Дай Бог, чтобы мы ошибались!?»

Она стала думать, как будет она счастлива, когда после разговора с ним сообщит Кате, что он далеко не равнодушен к ней, что он только не знал её чувств к нему, а потому и свои чувства скрывал, боясь оскорбить её их малейшим проявлением, что к ней, к Талечке, он ничего не чувствует, кроме дружбы, братской привязанности, что избранница его — Катя, которую он готов хоть завтра вести к алтарю и назвать своею перед Богом и людьми.

«Какое это будет для неё счастье, как горячо она будет благодарить меня, она совсем переродится и опять будет прежняя веселая хохотушка, с глубокими ямочками на ярко-розовых, пухленьких щечках!?»

Апрельское утро уже врывалось в завешанные окна комнаты Талечки, и лучи солнца пробивались в края штор, освещая забывшуюся с этими мыслями тревожным сном молодую девушку...

XIII

Не у дел

Павел Кириллович Зарудин, бывший незадолго перед тем последовательно губернатором двух губерний, был в описываемое нами время, что называется, не у дел.

Это был высокий, худощавый старик, с гладко выбритым выразительным лицом и начесанными на виски редкими седыми волосами. Только взгляд его узко разрезанных глаз производил неприятное впечатление своею тусклостью и неопределенностью выражения. Если справедливо, что глаза есть зеркало души, то в глазах Павла Кирилловича её не было видно. Вообще это был человек, который даже для близких к нему людей, не исключая и его единственного сына, всегда оставался загадкой.

Последний, живой портрет своей покойной матери, не имел с ним ни малейшего сходства, кроме разве роста и осанки. В его красивом и открытом лице матовой белизны, с большими умными карими глазами, тон-

ким, совершенно правильным носом никто бы не нашел ни единой родственной черты с лицом старика-отца.

В молодости, кроме того, Павел Кириллович был сильный брюнет, Николай же Павлович, как и его мать, — темный шатен.

За последнее время старик Зарудин, хотя все ещё держался молодцом, сравнительно, осунулся и одряхлел: вынесенные им служебные неприятности, неожиданная отставка, наложили свою печать на этого привыкшего к власти человека.

Любимым «коньком» его разговора была именно эта отставка, это нахождение его «не у дел».

Все посещавшие его близкие приятели, просто знакомые и даже люди, видевшие его раз или два, непременно знали происшедший с ним «казус», как он называл испытанную им роковую для его дальнейшей карьеры служебную неприятность.

Причиною всех причин был, по его мнению, граф Алексей Андреевич Аракчеев.

Старик доказывал это с пеной у рта и с неопровержимыми, как ему, по крайней ме-

ре, казалось, документами в руках.

— Доконал меня этот бес, лести преданный, — начинал он обыкновенно свой рассказ, повторяя искажение девиза графа Аракчеева: «без лести преданный», — девиза, прибавленного самим императором Павлом Петровичем, в представленном ему проекте герба возведенного им в редкое в России баронское достоинство Аракчеева. Это искажение было придумано неизвестным остряком и переходило из уст в уста среди врагов Аракчеева.

Таких врагов было немало.

Все знакомые Павла Кирилловича принадлежали к ним.

Далее из рассказа старика Зарудина оказывалось, что в районе той губернии, где он начальствовал за последнее время, находилось имение графа Аракчеева. Земская полиция приходила часто в столкновение с сельскими властями, поставленными самим графом и отличавшимися, по словам Павла Кирилловича, необычайным своеволием, так как при заступничестве своего сильного барина они рассчитывали на полную безнаказанность.

Некоторые из столкновений дошли до сведения графа и последний написал к Зарудину письмо.

С этими словами Павел Кириллович обыкновенно отправлялся в свою шифоньерку красного дерева, стоявшую в углу его кабинета, и доставал из неё прошнурованную и за печатью тетрадь, заключающую в себе письма к нему графа Аракчеева и копии с ответов последнему. На обложке тетради крупным старческим почерком было написано: «Правда о моей отставке».

Зарудин начинал читать эти письма. В первом письме граф Алексей Андреевич писал следующее:

«Ваше превосходительство, Павел Кириллович!

Я полагаю, что неприятности по делам моего имени происходят оттого, что мы имеем с вами сношение через посредников, и потому, во избежание сего, я прошу ваше превосходительство, во всех делах касательно до села моего, относиться прямо ко мне, а я уже со своей стороны буду брать свои меры. Почему я и предписал моему

бурмистру ожидать моих приказаний и не обращать внимания на требование земской полиции. Надеюсь, что ваше превосходительство не откажет мне в сем одолжении».

— Как вам это нравится? — задавал Зарудин обыкновенно вопрос своему собеседнику после прочтения этого письма и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Ну уж и ответил я ему — чай, глаза у него перекосило, как читал он мое письмо. Слушайте! Павел Кириллович начинал читать свой резкий ответ: «В губернии моей до 500 помещиков, и ежели я исполню желание вашего сиятельства и войду с вами в особую переписку по делам вашего имения, то я не вправе буду отказать в оном последнему из дворян и не буду иметь времени на управление губернией. А потому прошу ваше сиятельство переменить распоряжение ваше и предписать бурмистру вашему исполнять строго все предписания земской полиции, ибо, в противном случае, я буду вынужден потребовать его в город и публично наказать плетью».

— Не утерпел я, сударь мой, получив от

графа письмо и послав ответ, не рассказать о сем в собрании дворян. Нашлась среди них «переметная сума» — предводитель, сообщил о рассказе моему графу, да ещё с прикрасами. Получаю я недельки через две обратно мое письмо и записку графа. Пишет он мне, да вот послушайте-ка, что он пишет:

«В письме вашего превосходительства вы употребили не то выражение, которое сказано вами при собрании дворян, а именно: ежели мне начать переписываться с графом, то придется вступить в переписку и с последним капралом. А потому обращая к вам оное, прошу поправить сделанную вами ошибку».

— Не оставил я и этого письма, сударь вымой, без надлежащего ответа. Слушайте!.. Зарудин снова начинал читать:

«Бесчестно и подло передавать из дома в дом вести — и ещё бесчестнее и подлее передавать их с прибавлениями. Я не отпираюсь от слов моих и смысл их остается все тот же, кроме слова „капрал“, вместо которого я употребил „последний дворянин“, а по-

тому написанное мною к вам письмо возвращаю без поправки. После сих объяснений я уверен, что приобрел в вас злейшего врага.

Ваше сиятельство — вельможа, много значите при дворе, можете сделать мне вред, и, зная ваш характер, я уверен, что не упустите первого случая, чтобы оказать мне оный; но знайте, что я более дорожу своею честью, нежели своим местом, и держусь русской пословицы: „хоть гол, да прав“?»

Окончив чтение этого письма, Павел Кириллович обыкновенно с торжествующим видом взглядывал на своего собеседника, вставал со своего вольтеровского кресла и, бережно уложив в шифоньерку бумаги, возвращался на место и некоторое время молчал, выжидая вопроса.

— Я, конечно, не ошибся, — начинал он, когда собеседник выражал желание слышать окончание «казуса», — месяца три прошло с отправки последнего письма, все шло по-прежнему, вдруг наехала ревизия, стала всюду шарить да нюхать, да ничего не пришлось найти, машина у меня по управлению шла

как по маслу, без сучка и задоринки. Неймет-ся ревизорам, отписали в Петербург, что-де я препятствую открыть злоупотребления, вызвали меня в столицу, месяца два продержали, но и без меня ни до чего не доискались, так и бросили, донесли, что все-де обстоит благополучно. Не понравилось это сильно всемогущему графу, прислал он ко мне в губернию переодетых полицейских, начали они шмыгать в народе, отыскивать недовольных мною, да нарвались на моего полицеймейстера — молодец был Петр Петрович — он их арестовал, да заковав в кандалы, представил ко мне; тут-то все и объяснилось; оказалось, что они питерские полицейские крючки... Сделал я вид, что не поверил им, чтобы вельможа, граф, дал им такое грязное поручение и всыпал обоим горячих да этапным порядком и препроводил к их непосредственному начальству.

— Дела! — разводил руками слушатель. — Верить не хочется, чтобы такой низкой души человек на такую высоту взобрался, и ангел-то наш государь другом его считает.

— Э, батюшка, и на престоле цари — те же

люди, от сетей дьявола и они подчас ограждены не бывают, а этот Аракчей-то... одно слово «бес, лести преданный», — желчно выражал свое мнение Зарудин.

— Так-то оно так, а все... странно! — заявлял подчас собеседник, не принадлежавший уже совершенно к ненавидящим Аракчеева.

— Ничего тут нет странного, — раздражался Павел Кириллович, — вы этого дуболома-то нашего не знаете, ведь это сатана во плоти, Вельзевул... самому, кажись, Архангелу туману в глаза напустит... Что же тут странного.

— Ну, а ваше-то дело чем кончилось? — переменял разговор собеседник, чтобы не раздражать долее хозяина.

— Тем и кончилось, — отрывисто отвечал тот, — что видите... Через месяц так в ночь прибыл из Петербурга курьер и привез Высочайший приказ об увольнении меня от службы, с приказанием немедленно сдать все дела вице-губернатору. В один день сдал я всю губернию и все суммы и донес государю, думал, хоть этим снискать себе милость, не тут-то было, обошел его бес, нашептал на меня, как слышно, турусы на колесах: и пьяница я, и

взяточник. Представиться хотел я государю, не допустили. Вот и сижу здесь в каморке моей и жду у моря погоды. И руки есть у меня сильные, да против Аракчеева, как против рожна, нечего прати... Наказал им Бог и царя, и Россию.

Так обыкновенно оканчивал свое повествование «о казусе» опальный губернатор.

Насколько было правды в его словах — неизвестно. Люди антиаракчеевской партии безусловно верили ему и даже варьировали его рассказ далеко не в пользу всемогущего, а потому ненавистного им графа. Другие же говорили иное, и, по их словам, граф в Зарудине только преследовал нарушения принципа бескорыстного и честного служения Царю и Отечеству, а личное столкновение с Павлом Кирилловичем не играло в отставке последнего никакой существенной роли.

Правота последних подтверждается отчасти дальнейшею судьбою Павла Кирилловича, но... не будем опережать событий.

Другую излюбленною темою разговора Павла Кирилловича была недостаточность средств к жизни, хотя с имений своих он по-

лучал большой для того времени доход в шесть тысяч рублей, да кроме того, как утверждали хорошо знающие его люди, имел изрядненький капиталец. Каморка его, как он называл свою квартиру, была далеко не мала и не дурна. Деревянный, двухэтажный дом выходил фасадом на Гагаринскую набережную. Квартира Зарудина, в которой он жил вместе с сыном, находилась на втором этаже и состояла из шести комнат, не считая прихожей; три из них, залу, кабинет и спальню, занимал старик, а остальные три сын, у которого была своя гостиная, кабинет и спальня. Расположение квартиры было таково, что половины отца и сына были почти совершенно отделены.

Николай Павлович, имевший независимое от отца, доставшееся ему от покойной матери, довольно большое состояние, платил половину квартирной платы, а также вносил свою половину и для хозяйственных расходов.

Небольшой по тому времени штат прислуги, состоявший из десяти человек, исключительно мужчин, кроме одной прачки, был, ко-

нечно, из крепостных отца и сына.

Меблировка квартиры, особенно на половине Николая Павловича, отличалась солидным комфортом и даже роскошью.

Все в ней дышало довольством, и жалобы старика Зарудина на то, что ему нечем жить, звучали в этих стенах каким-то особенным диссонансом, да они и не были искренни, а составляли только подходящую тему для старческого брюзжания сановника, находящегося не у дел.

Таков был отец Николая Павловича, приятель старика Хомутова — Павел Кириллович Зарудин.

XIV

Кавказский капитан

В тот вечер, когда в кабинете старика Хомутова последний беседовал со своею женою, а в спальне Талечки Катя Бахметьева с рыданиями открывала подруге свое наболевшее сердце, оба хозяина квартиры на Гагаринской набережной, отец и сын Зарудины, были дома.

Павел Кириллович мелкими нервными шагами ходил по ковру своего кабинета, то и дело поглядывая на большие часы, заключенные в огромный футляр-шкаф красного дерева.

— Угостил его, видно, сиятельный граф на славу, вместо обеда-то не отправил ли за реку... — с беспокойством ворчал Зарудин.

Читатель, конечно, понимает, что под сиятельным графом он подразумевал Аракчеева; что же касается выражения «за реку», то под этим термином подразумевалась Петропавловская крепость, куда зачастую, как, по крайней мере, уверяли враги графа, Алексей

Андреевич отправлял тех или других провинившихся перед ним офицеров.

В настоящее время Павел Кириллович боялся, как бы такая участь не постигла сына его старого, года с три как умершего, приятеля Петра Ивановича Костылева.

Сын Петра Ивановича, Иван Петрович, служил капитаном в одном из артиллерийских полков, расположенных на Кавказе. Это был человек лет под сорок, давно уже тянувший служебную лямку, но, несмотря на свою долголетнюю службу, на раны и на все оказываемые им отличия, не получал никаких наград и все оставался в чине капитана; сколько его начальство ни представляло к наградам, ничего не выходило; через все инстанции представления проходили благополучно, но как до Петербурга дойдут, так без всяких последствий и застрянут.

Наконец, капитана это вывело из терпения и он решился ехать в Петербург к Аракчееву и, несмотря на весь ужас, им внушаемый, — вести о его строгости, с чисто восточными прикрасами, достигали далеких кавказских гор, — объяснить с ним и спросить, за

что он его преследует, так как капитан почему-то был убежден, что все невзгоды на него нисходят от Аракчеева.

Сказано — сделано; взял капитан отпуск и уехал; но так как в то время пути сообщения были не теперешние и так как капитан по кавказской привычке любил хорошенько выпить, то ехал он довольно долго с остановками и отдыхами. Наконец, недалеко уже от Петербурга, в Новгородской губернии, остановился он ночевать на одной станции, велел подать самовар и стал попивать пуншик. В это время проезжал Аракчеев в дорожном платье, без эполет, заглянул к капитану в комнату и назад, но капитан, по кавказскому гостеприимству, крикнул Аракчееву:

— Чего заглядываешь, заходи обогреться пуншиком!

Вследствие такого бесцеремонного приглашения, Аракчеев, будучи и сам артиллеристом, заинтересовался личностью капитана, вошел к нему, подсел к столику и у них завязалась оживленная беседа. На вопрос графа, зачем капитан едет в Петербург, тот, не подозревая, что видит перед собою Аракчеева,

брыкнул, что едет объясниться с таким-сяким Аракчеевым и спросить, за что он, растакой-то сын, преследует его, причем рассказал все свое горе.

Аракчеев заметил, что он, капитан, вероятно, не знает, как силен и строг Аракчеев, а потому, как бы ему, капитану, не досталось от графа ещё хуже; но Иван Петрович, будучи под влиянием винных паров, ответил, что не боится ничего и лишь бы только увидеть ему Аракчеева, а уж тогда он ему выскажет все.

Затем Аракчеев уехал, приказав на станции не говорить капитану, с кем он беседовал; с последним же он простился по-приятельски, посоветовал, чтобы он, по приезде в Петербург, шел прямо к графу Аракчееву, которого уже он предупредит об этом через своего хорошего знакомого, графского камердинера, и постарается замолвить через того же камердинера в пользу его перед графом словцо.

Приехал Иван Петрович в Петербург, облекся в полную форму и отправился к Аракчееву. Доложили о нем графу, ввели в приемную, граф вышел и, о ужас, капитан в Аракче-

еве узнал своего стационарного приятеля, при котором он так бесцеремонно отзывался об Аракчееве. Но граф принял его очень ласково, сам сознал свою вину перед ним, обещал возвратить все им потерянное и пригласил к себе на другой день на обед, но непременно в сюртуке. Иван Петрович Костылев все это рассказал Павлу Кирилловичу Зарудину, с которым, чтя память покойного отца, был хотя и в редкой переписке, но по приезде в Петербург после визита к Аракчееву не преминул явиться к другу своего отца. Павел Кириллович не видал его более десяти лет.

— Ласково, говоришь, принял?.. Наобещал кучу милостей?.. — переспросил его старик, выслушав от него вышеприведенный рассказ.

— Уж на что ласковее, просто можно сказать по-приятельски... не начальник он, золото...

— Не верь... — не дал договорить ему Зарудин.

Костылев вытаращил глаза.

— То есть как не верить, это его-то сиятельству?..

— Его-то сиятельству, — передразнил Па-

вел Кириллович, — и не верь: мягко стелет, жестко спать...

Капитан, нервы которого были с утра напряжены, побледнел.

— Что вы говорите, ваше превосходительство? — начал он упавшим голосом.

— Дело, вот что говорю, дело... Я вот тебе о себе расскажу, какие он со мной штуки подстроил.

Павел Кириллович направился к шифоньерке. Капитан, сидя на стуле против хозяйского вольтеровского кресла, опустил голову.

— Не может быть, — вдруг заявил он, — резоны он мне представил, почему относительно меня такой «казус» вышел: однофамилец и даже соименник со мной есть у нас в бригаде, тезка во всех статьях и тоже капитан, и сам я слышал о нем, да и его сиятельство подтвердил, такой, скажу вам, ваше превосходительство, перец, пролаз, взяточник... за него меня его сиятельство считали, а того, действительно, не токмо к наградам представить, повесить мало...

Павел Кириллович уже вложил ключ в ящик шифоньерки, как вдруг вынул ключ и

возвратился в кресло.

— Взяточник, пролаз... Все у него взяточники да пролазы, ишь какой указчик объявился, почему это до него на Руси матушке взяточников не было, многие, кого он взяточниками обзывает, при Великой Екатерине службу несли. А почему тогда взяточников не было? Почему?

Он даже нагнулся к капитану.

— То есть, как не было, ваше превосходительство, чай, и тогда бывали... только надзора строгого не было... — осмелился возразить капитан.

— Надзоров не было... — передразнил его Зарудин. — Молод ты ещё о старших так рассуждать... зелен ум у тебя, вот что... — рассердился Павел Кириллович.

Иван Петрович промолчал.

— Пойди, пойди пообедасть к твоему надзирателю излюбленному, угостит он тебя обедом... угостит... поперек горла встанет и не проглотишь. Бывали примеры, что люди после таких обедов и кочурились...

Костылев снова не на шутку перепугался. Раздраженный Павел Кириллович постарал-

ся усилить это впечатление испуга храброго кавказца, рассказывая все ходившие в среде враждебной ему партии небылицы о бесчеловечности и зверстве всемогущего графа.

Капитан ушел почти убежденный, что ему вместо обеда предстоит назавтра гнусная ловушка, а затем жестокая казнь.

— Ты завтра заходи после обеда-то у твоего благодетеля, коли жив, да на свободе останешься, — преподнес ему на прощание Зарудин.

XV

Быстрое повышение

На другой день, впрочем, раздражение Павла Кирилловича против капитана прошло и он сам, как мы видели, стал тревожиться, как бы не исполнились над сыном его покойного друга вчерашние предсказания.

Сыну, не бывшему накануне дома, он сообщил случай с капитаном, но не рассказал высказанных последнему своих соображений: он сына своего считал тоже аракчеевцем, так как тот не раз выражал при нем мнения, что

много на графа плетут и вздорного.

Павел Кириллович сперва за это на него очень сердился, а затем махнул рукою и отводил душу, беседуя об Аракчеве с другими и то не в присутствии сына.

— Убей меня Бог, коли я не прав, за реку отправил молодца изверг, — продолжал разговаривать сам с собою Зарудин. — Время-то вон уже какое позднее...

Часы показывали седьмой час в исходе. В передней раздался звонок.

— Неужели он? Нет, голову прозакладываю, что не он, за рекой он уже теперь, чай, в каземате думку думает, — упрямо проворчал старик.

Дверь кабинета отворилась, и на её пороге появился весь сияющий, видимо, от счастья, Иван Петрович Костылев. На груди его сюртука блестели два новеньких ордена. Павел Кириллович был совершенно озадачен таким торжественным появлением предполагаемой им жертвы аракчевского деспотизма, и тревога за судьбу капитана быстро сменилась раздражением против него.

— Кажись, и сыт, и пьян, пане капитане! —

иронически обратился он к нему.

— Не капитан, ваше превосходительство, а полковник и кавалер Георгия и Станислава.

Иван Петрович указал на новенькие орденна.

— Это как же так, расскажи! — растерянно произнес не ожидавший такого оборота дела Зарудин.

— Напугали вы меня, ваше превосходительство, понапрасну только, снова повторю: не начальник граф Алексей Андреевич, а золото для помнящих присягу служак, сказочно, можно сказать, случилось это, все повышения и ордена за обедом в какой-нибудь час времени получил... — залпом выпалил Костылев.

— Да ты расскажи толком.

Иван Петрович передал, что пришел он на обед, после насканных ему Павлом Кирилловичем страстей, ни жив, ни мертв, застал общество в мундирах и звездах; все с недоумением смотрели на него, бывшего, по приказанию графа, в сюртуке. Но каково же его и всех остальных было удивление, когда Аракчеев, представляя его, назвал своим приятелем.

лем. Когда подали шампанское, граф рассказал, как, по его ошибке, капитан был обходимо множество раз разными чинами и наградами, и что он желает теперь поправить сделанное капитану зло, а потому предлагает тост за здоровье подполковника Костылева; далее, говоря, что тогда-то капитан был представлен к награде, пьет за полковника Костылева, затем за кавалера такого-то и такого-то ордена, причем и самые ордена были поданы и, таким образом, тосты продолжались до тех пор, пока он, капитан, не получил все то, что имели его сверстники.

— Век не забуду его сиятельства, в поминание запишу за здоровье, детям и внукам закажу молиться за него, — закончил с восторгом Иван Петрович.

Зарудин слушал и хмурился.

— В добрый час ты попал, таких часов у него раз, чай, лет в десять бывает... рад за тебя, рад, хотя многих людей знаю, которые фаворитами его быть за бесчестие почитают и по-моему правильно.

— Нет, ваше превосходительство, этого не говорите, — расхрабрился новоиспеченный

полковник, — какой уж тут правильно. Всем известно, что граф Алексей Андреевич царскою милостью не в пример взыскан, а ведь того не по заслугам быть бы не могло, значит, есть за что, коли батюшка государь его другом и правою рукой считает, и не от себя он милости и награды раздает, от государева имени... Не он жалует, а государь...

— А знаешь пословицу «жалует царь, да не жалует псарь»?

— И пословица эта, вы меня простите, ваше превосходительство, тут ни к чему, и смысла применения оной понять не осмеливаюсь.

— И не осмеливайся... и благо тебе, а за тебя я рад, одно скажу, рад, покойного отца твоего любил, — счел за нужное переменить разговор Зарудин.

Разговор перешел на воспоминания и, наконец, полковник Костылев откланялся Зарудину, объявив, что завтра же уезжает к месту своего служения.

— И его сиятельство сей мой прожект одобрил: «Нечего, говорит, тебе здесь зря болтаться, ещё испортишься».

— Ну, прощай, поезжай с Богом, дай тебе Господь куль червонцев и генеральский чин! — пошутил Павел Кириллович.

О своей отставке он так и не рассказал Костылеву.

XVI

Фон Зеeman

По уходе Костылева старик Зарудин ещё долго в раздумьи ходил по кабинету и, наконец, отправился на половину своего сына, у которого в тот вечер собралось несколько его товарищей.

В кабинете Николай Павловича шла оживленная беседа. Дым от трубок наполнял обширную, с комфортом меблированную комнату и запах табака смешивался с запахом употребляемого стакан за стаканом крепкого пунша.

Кроме хозяина, в комнате находились три офицера и молоденький юнкер. Старший из них был капитан гвардии Андрей Павлович Кудрин, выразительный брюнет с неправильными, но симпатичными чертами изрытого

оспой лица — ему было лет за тридцать; на его толстых, чувственных губах играла постоянно такая добродушная улыбка, что заставляла забывать уродливость искаженного оспинами носа, и как бы освещала все его некрасивое, но энергичное лицо. Храбрый до отваги, добрый, но справедливо строгий, он был кумиром солдат и любимец той части своих товарищей, которые искали в человеке не внешность, а душу.

К последним принадлежал и Николай Павлович Зарудин и был всем сердцем привязан к Андрею Павловичу. Их даже в полку в насмешку прозвали *inseparables*. Не было у них друг от друга тайн, они жили, что называется, душа в душу.

Два других офицера были поручики Смельский и Караваев, приятели и однополчане Зарудина, с которыми свели последнего общность взглядов, общая склонность к размышлению, отвращение к переходящим меру кутежам и дебошам, и пожалуй, общее подозрительное отношение к ним начальства. По внешности это были белокурые, бесцветные офицеры, физиономии которых по этой при-

чине не стоят описания. Художник не поместил бы их на батальной картине, а плохой портретист сделал бы с них весьма схожий портрет — так они были шаблонны.

На последнем госте Николая Павловича молоденьком юнкере — Антоне Антоновиче фон Зеемане мы остановим на более продолжительное время внимание читателя, так как этому молодому человеку придется играть довольно значительную роль в нашем правдивом рассказе.

Потеряв не так давно свою мать, оставившую ему, как единственному сыну, — отца он лишился ранее, — хорошее независимое состояние, он выхлопотал себе перевод в тот гвардейский полк, где служили Николай Павлович и Кудрин, и сразу почувствовал к ним род немого обожания. Это не укрылось от «предметов его восторженного поклонения» и последние, увидав в нем доброго, отзывчивого на все хорошее юношу и, вместе с тем, хорошего служаку, стали с ним в товарищеские отношения, вследствие чего Антон Антонович почувствовал себя на седьмом небе.

Не проходило дня, чтобы он не являлся то

к Зарудину, то к Кудрину, внимательно прислушивался к их беседам, скромно вставлял иногда словечко или рассказывал им что-нибудь о себе.

Он начал свою службу в артиллерии, а домашнее воспитание получил за границей, где его мать безвыездно проживала.

Когда ему минуло шестнадцать лет, она отправила его в Петербург к своему троюродному племяннику, Петру Андреевичу Клейнмихелю, любимцу и крестнику графа Аракчеева. Маменькин сынок попал сразу в суровую школу последнего, и хотя она принесла ему пользу, выработав из него образцового служаку, но оставила в его душе такую горечь, что он возненавидел и Клейнмихеля, и Аракчеева. Открыто идти против его «благодетелей», как его мать называла обоих в письмах к сыну, он при жизни старушки не мог и помышлять, и более двух лет протянул на этой «каторге», как он называл службу в артиллерии.

Смерть матери только отчасти развязала ему руки, так как без разрешения всеильного Аракчеева перевестись в «шаркуны», как последний называл гвардейцев, было невоз-

МОЖНО.

Тогда Антон Антонович, смирив свою гордость, чуть не со слезами на глазах, стал умолять Клейнмихеля добыть ему это разрешение у графа, мотивируя свою просьбу неподготовленностью его к службе в артиллерии, для которой все-таки необходимы некоторые специальные знания, и даже прямо неспособностью к этой службе, неспособностью, могущею повлиять на всю его военную карьеру. Петр Андреевич внял этой просьбе и выхлопотал разрешение графа. Пылкий и впечатлительный капитан Кудрин всецело разделял эту ненависть, питаемую фон Зееманом к «самодуру» и «дуболому», как обзывали они оба графа Алексея Андреевича, и лишь молодой Зарудин в этом не сходился со своими друзьями и был, как мы знаем, против бывшего тогда в ходу огульного обвинения графа Аракчева.

Зато старик Зарудин именно за это отношение капитана и юнкера к графу особенно любил их, и зачастую, когда Николая Павловича не было дома, они оба забирались в кабинет к старику и тогда уже должно было

икаться графу Алексею Андреевичу.

Фон Зеeman обладал мимическим и актерским талантом и очень удачно копировал графа, заставляя своих собеседников хохотать до слез. В особенности забавлял старика Зарудина рассказ фон Зеemана, как он, уже переведенный в гвардию, был приглашен, по ходатайству Клейнмихеля, думавшего, что он оказывает этим своему родственнику особую честь, на бал к графу.

— Я явился в рукавицах, — рассказывал Антон Антонович. — Увидал меня Петр Андреевич, подходит ко мне весь бледный. «Ты забыл, мальчишка, у кого ты, пошли сейчас ко мне за моими перчатками и надень». «Не имею на это права, как нижний чин, а перчатки у меня за рукавом», — отвечаю я ему. «Надевай!» — Я надел, повел он меня к графу и представил. «Очень рад», — прогнусил тот. Так как солдат кланяться не смеет, то я вместо поклонов шаркал и стучал каблуками. Стал бродить я по комнатам, скука смертная! Вдруг снова передо мной как из земли вырос граф: «Да что же ты не танцуешь?» Подлетел я, не помня себя, к какой-то даме: «Если вы не

желаете, чтобы я был в Сибири, провальсируйте со мной», — гляжу, а передо мной мать Петра Андреевича — почтенная старушка. «Ты с ума сошел, я не танцую, пригласи мою племянницу — рядом со мной сидит». Пригласил и затанцевал. Насилу дождался, когда кончился этот бал. А тут ещё напасть, Петр Андреевич объявил мне, что назавтра граф приказал привести меня к нему обедать. «Я принесу с собой деревянную ложку, так как нижнему чину не полагается есть серебряной», — стал уверять я ошеломленного новой моей дерзостью Петра Андреевича. Впрочем, на обед я не попал — притворился больным.

Павел Кириллович был всегда после этого рассказа в большом восторге.

— Хорошо, очень хорошо: «если не желаете, чтобы я был в Сибири, провальсируйте со мной» и прямо к старухе, — хохотал он, потирая руки.

— Ну-ка, расскажи, Антоша, — называя его ласкательным именем, обращался в веселую минуту к фон Зееману Павел Кириллович, — как ты у графа на балу танцевал?

И Антон Антонович чуть ли не в сотый раз

начинал повторять свой рассказ.

XVII

Среди молодежи

Собравшиеся в кабинете, как мы уже сказали, оживленно беседовали. Темой этой беседы, даже на половине Николая Павловича, что случалось очень редко, служил тот же граф Алексей Андреевич Аракчеев.

Молодой Зарудин рассказал слышанное им от отца приключение с капитаном Костылевым.

— Отец его ждет сегодня с обеда, вероятно, не утерпит и зайдет рассказать окончание «казуса».

С этого началось: стали обсуждать поступок графа, его любовь появляться и беседовать инкогнито, припомнили разные случаи из его оригинальной деятельности.

— Самодур, совсем самодур, я недавно слышал, — говорил Кудрин, — армейского полковника одного чуть ли не за три тысячи верст отсюда полк его расположен, вдруг в Петербург вызвал. Приехал бедный тоже ни

жив, ни мертв. Кого только здесь ни спрашивал, зачем бы его мог вызвать граф, никто ничего не знает. Наконец, является он пред лицом Аракчеева, а тот его же спрашивает, зачем приехал? «Не могу знать, зачем ваше сиятельство требовали!» — «Я требовал! А, помню, как ваша фамилия?» — «Так-то!» — «Как, как?» — «Так-то, ваше сиятельство» — «А...» Отодвигает Аракчеев ящик стола, достает какую-то бумагу и спрашивает у полковника: «Это ваш рапорт?» — «Мой, ваше сиятельство» — «Так вот видите ли, я никак не мог разобрать вашу фамилию, затем и потребовал вас, пожалуйста, прочтите её». Полковник прочел. «Теперь можете ехать обратно». Как вам это нравится? — развел в заключение руками Андрей Павлович.

Смельский, Караваев и фон Зеeman расхотались.

— Чай, рад был, бедняга, что так дешево отделался, — заметил первый.

— И фамилию свою стал писать наизусть... тоже шесть тысяч верст отмахать не шутка, — вставил фон Зеeman.

В это время в кабинет вошел Павел Кирил-

лович. Офицеры поспешили застегнуть сюртуки и почтительно стали здороваться с его превосходительством.

— А ведь Аракчей-то капитана за реку не отправил, великодушного начальника разыграл, в полковники произвел и двумя орденами наградил, — сообщил старик Зарудин и в подробности рассказал все слышанное им от Костылева о сегодняшнем обеде у Аракчеева.

— Иезуит, — произнес Кудрин, — может случиться, что он вернет с дороги этого свежеиспеченного полковника, да и отдаст под суд.

— Правда, правда, — ухватился за эту мысль старик Зарудин, хотя и беспокоившийся за Костылева, но все же недовольный в душе, что его предсказания не сбылись. — Ведь это он может сделать, как пить дать, а бедняга так рад, что ног под собою не чувствует.

— Конечно, может.

— Чего он не может, коли всю Россию выкрасить хочет, — вдруг выпалил фон Зеeman, сделавшись смелее в присутствии Павла Кирилловича, в своих нападках на своего бывшего «благодетеля».

— Как выкрасить, Антоша? — воззрился на него старик Зарудин, заранее улыбаясь и предвкушая какую-нибудь интересную историю.

— Так, краской выкрасить, в три колера пустить... разве вы не слышали? Об этом уже в городе толкуют, проект он подает государю, хочет всю матушку Русь в три краски выкрасить: мосты, столбы, заставы, гауптвахты, караульни, даже тумбы и все присутственные места и казенные здания будут по этому проекту под один манер в три колера: белый, красный и черный. Ссылается он, как слышно, на то, что будто бы подобный проект был ещё во времена Екатерины II, но ею не выполнен. А вы говорите, что он чего-нибудь не может; видите, всю империю красить собрался. С него хватит и всех россиян вымазать в три колера, тело зеленым, рожи фиолетовым, а волосы пунцовым. Вот кабы с него начать! — закончил со смехом Антон Антонович.

Павел Кириллович так и покатился со смеху, сидя в кресле.

— Ишь придумал, с него бы начать, тело

зеленым, рожу фиолетовым, а волосы пунцовым. Хорош бы был его сиятельство, ха, ха, ха, — заливался старик.

Остальные тоже хохотали от души.

Не смеялся только один Николай Павлович. Он медленно, с трубкой в зубах, ходил по кабинету и, казалось, не слышал даже, что говорили вокруг него. Мысли его на самом деле были далеко, и не трудно догадаться, что это «далеко» было на Васильевском острове. Это стало с ним за последнее время случаться нередко, он сердился на себя, но не мог ничего поделывать с собой: обитательница коричневого дома окончательно похитила его сердечный покой. Сегодня ему было легче, он рассказал все своему другу Кудрину и завтра повезет его представить Хомутовым.

«Как-то она ему взглянется. Да разве она может не понравиться?» — бродили в его голове отрывочные мысли.

Взрыв хохота после рассказа фон Зеемана возвратил его к действительности. Он принял участие в дальнейшем разговоре.

Павел Кириллович вскоре ушел, как он выражался, «на боковую». Поднялись и гости.

— Так до завтра, в шесть часов, запросто, в сюртуках, они люди нецеремонные, — сказал Кудрину Николай Павлович, дружески пожимая ему на прощание руку.

— Да, да, у тебя я даже буду в половине шестого.

— Отлично!

XVIII

Записка

На другой день Андрей Павлович Кудрин, верный своему слову, ровно половина шестого вечера был у Николая Павловича Зарудина.

— Аккуратен, как часы, и точен, как весы! — радостным восклицанием встретил его последний, уже совершенно одетый.

— Аккуратность — вежливость царей, — отвечал Кудрин. — Разве мы сейчас? — добавил он, видя, что его приятель стал натягивать перчатки.

— Да, конечно, сейчас же, ведь не на вечер едем, а запросто и останемся недолго. Ты не отпустил извозчика?

— Нет, дожидаетсяя.

— Так мы на твоём и поедём.

Молодые люди вышли из дому.

Всю довольно дальнюю дорогу с Гагаринской набережной до 6-й линии Васильевского острова Николай Павлович восторженно описывал Кудрину предмет своего поклонения — Талечку.

— Слышал уже я, слышал, посмотрим, посмотрим, на неё не твоими влюбленными глазами, авось найдем, что не совсем совершенство, — подсмеивался Андрей Павлович над своим приятелем.

— Нет, вот увидишь и сам убедишься, что совершенство.

— Рассказывай там, и на солнце есть пятна. Найду, брат, я их, да ещё пожалуй и тебя разочарую.

— Ну, это едва ли тебе удастся.

— А если так, то чего же ты дремлешь и не женишься? Нашел сокровище и бери, а то как раз из-под носу выхватят.

Николай Павлович побледнел.

— Жениться... знаешь ли, я последнее время думал, но...

Зарудин остановился.

— При чем же тут «но»?

— Я не знаю... любит ли она меня... она ещё совсем ребенок.

— Позволь, какой же это ребенок, когда ты говоришь, что ей восемнадцать лет... значит, совсем невеста.

— Дело не в годах, но это такая воплощенная чистота и невинность, такое нечто не от мира сего, что мне страшно подумать сказать ей наше земное слово любви.

— Смотри, дождешься, что другой скажет.

— Кто же другой, у них никто, кроме меня, не бывает.

— Все до поры до времени.

Извозчик остановился у подъезда дома Хо-мутовых.

Приезд Кудрина не был для последних неожиданным, так как Николай Павлович давно уже испросил у Федора Николаевича и Дарьи Алексеевны позволение представить своего задушевного друга и получил от гостеприимных стариков любезное согласие.

Не знали они только, что это именно случится в такой-то день, но и в этом случае За-

рудин именно просил разрешения явиться за- просто.

— Это и лучше, — заметил Хомутов, — раз- носолов мы не делаем, а стакан чаю всегда найдется, и ром авось сыщется.

Появление в их гостиной нового лица вме- сте с Зарудиным было неприятным сюрпри- зом только для Талочки. Произошло это не потому, чтобы она не унаследовала от отца с матерью радушного гостеприимства, но в этот день она желала бы видеть Николая Пав- ловича одного.

Читатель знает, что она решила перегово- рить с ним о Кате Бахметьевой при первом свидании — проезд Кудрина явился непре- одолимым препятствием.

«Мне не удастся с ним побыть наедине ни минуты, не только что переговорить. Боже мой, зачем он его привез именно сегодня! Бедная Катя, что я скажу ей завтра? Объяс- нить, что так вышло, что он приехал не один. А она там мучается, как мучается. Продол- жить ещё эту для неё нестерпимую муку неизвестности? Нет, надо что-нибудь придум- мать!» — мелькали в голове молодой девуш-

ки отрывочные мысли.

Они, впрочем, не помешали ей с приветливой улыбкой встретить приехавших, завязать оживленную беседу на отвлеченные темы, выказать свои знания и свою начитанность.

Наталья Федоровна инстинктивно догадалась, что он привез своего друга исключительно для, неё, чтобы показать ему её, похвастаться ею перед ним, а потому она приложила все старания, лишь бы, что называется, не ударить лицом в грязь, а показать себя и оправдать, таким образом, его о ней мнение.

Надо сознаться, что она этого и достигла.

Андрей Павлович был положительно очарован ею. Зарудин, мельком взглядывая на своего друга, был совершенно доволен произведенным на Кудрина Талечкой впечатлением.

Мы говорим «мельком», так как взгляд Николая Павловича, полный восторженного обожания, был все-таки, как всегда, почти неотводно устремлен на молодую девушку.

Наталья Федоровна впервые заметила этот взгляд. В первый момент он явился для неё категоричным подтверждением всего того,

что говорила вчера Катя Бахметьева.

Сердце её упало.

«Он действительно любит меня! — пронеслось в её голове. — Любит, быть может, как сестру, как друга», — успокаивала она сама себя, стараясь тем заглушить тот вчерашний внутренний голос, упрямо настаивавший на безусловной правоте и прозорливости Бахметьевой.

«Но как же мне быть? Написать ему? Передать записку?»

Эта мысль сначала испугала её.

«Писать... мужчине?»

Она вспомнила м-лле Дюран.

«Но ведь это я не для себя. Ведь это не любовная записка, не любовное свидание», — возражала она мысленно сама себе, продолжая, между тем, поддерживать общий разговор.

Она встретила снова с взглядом Зарудина.

«А если это не дружба и не братская любовь, а настоящая, если Катя права? Тем более мне надо скорее с ним переговорить, предупредить его, что его любит другая, что я, я...

не могу... не имею права любить его, что он должен любить не меня, а её, Катю», — неслось далее в голове молодой девушки.

«Может быть, ещё не поздно. Он, может, разлюбит меня и полюбит её», — наивно сообщала она.

Улучив, минуту, когда оба гостя занялись разговором с её отцом о каких-то преобразованиях в русской армии, а мать отправилась распорядиться по хозяйству, Наталья Федоровна незаметно выскользнула из гостиной в свою комнату, достала листочек бумаги и скоро стала писать карандашом.

Руки её дрожали.

Написав несколько строк, она два раза перечитала их, и бережно сложив в несколько раз маленький листочек почтовой бумаги, сунула его в карман своего платья.

«Но как я передам её ему?» — возник, в её уме вопрос, но она нашла тотчас же и ответ на него: «При прощании он всегда прощается со мной с последней».

На этом она успокоилась и вернулась в столовую, куда уже, по приглашению Дарьи Алексеевны, перешли гости пить чай.

Заняв свое место по правую сторону матери, Талечка все-таки не была совершенно покойна. Мысль, что могут увидеть, как она передаст записку Зарудину, заставляла её по временам мысленно совершенно отказываться от задуманного плана, но затем воспоминание об ожидающей завтра ответа подруге изменило это решение.

«Будь, что будет!» — решила мысленно Наталья Федоровна.

Она чувствовала, что она то бледнела, то краска снова прилиwała к её лицу.

Это не ускользнуло от внимания Дарьи Алексеевны.

— Что это у тебя, жар никак? — провела она рукой по лбу дочери, влажному от напряжения мысли.

— Нет, ничего, мама, я чувствую себя хорошо, — отвечала Талечка.

«Надо быть спокойнее», — подумала она про себя.

XIX

Не в те руки

Время за чаем и закуской для всех, кроме Натальи Федоровны, промелькнуло незаметно. Кудрин очень понравился Федору Николаевичу; старик оживился и рассказывал один за другим различные эпизоды из своей боевой жизни.

Кроме вежливости, заставлявшей внимательно слушать старика, его молодые собеседники на самом деле заинтересовались его воспоминаниями.

Талечка имела возможность, притворяясь тоже слушающею, хотя и знала все эти рассказы почти наизусть, привести постепенно в порядок свои расходившиеся нервы.

Наконец, гости начали прощаться.

Николай Павлович, как и предполагала Талечка, подал ей руку последней, но, увы, она не рассчитала, что ранее его может подать ей руку Кудрин.

Так и случилось.

Записка, бывшая в руке Талечки, очути-

лась у Андрея Павловича. Это случилось так неожиданно для неё, что вся кровь бросилась ей в голову и даже слезы навернулись на её глазах. Последние так умоляюще посмотрели на Кудрина, в них было столько красноречивой мольбы, что он ответил в конце сконфуженной девушке добродушной улыбкой и взглядом, которым очень выразительно повел в сторону Зарудина.

Талечка поняла, что Кудрин догадался об ошибке и благодарила его тоже взглядом.

Этот взгляд, казалось, говорил: не осудите меня, я не виновата!

Андрей Павлович и не осудил, хотя был вполне уверен, что попавшая случайно в его руки записка, предназначавшаяся для Зарудина, была любовная.

Что же иное, впрочем, он мог предполагать?

Окружающие не заметили ничего, так как Наталья Федоровна напрягла всю силу своей воли, чтобы казаться спокойной, хотя чуть не умирала от стыда.

«Боже мой, что я наделала, ведь я же могла незаметно переложить её в другую руку,

но... мне казалось, что маменька пристально смотрит на меня», — соображала она, к слову сказать, довольно поздно.

Прощаясь с Николаем Павловичем, она не решилась поднять на него глаз.

Это заставило его окинуть её тревожным взглядом.

«Что с ней? Уж не обидел ли я её чем-нибудь?» — подумал он.

На дворе стояла теплая апрельская ночь и приятели, отпустив по приезде своего извозчика, пошли пешком по направлению к набережной Невы и Адмиралтейскому мосту.

— Ну, что, понравилась тебе она? — тотчас по выходе из подъезда спросил Зарудин.

— Ты прав, она прелестна, видимо, добра, умна и далеко не заурядно образована, а главное в ней — и в этом ты прав — эта чистота, эта нетронутость натуры. Кто её воспитывал, тому можно дать премию.

— Это одна француженка, старушка, перед памятью которой она до сих пор благоговеет, она уже умерла.

— Царство небесное этой француженке, она, видимо, не была атеисткой.

— Какой, фанатичная католичка!

— Нехорошо, если она повлияла на неё и с этой стороны, вера главным образом должна быть бесстрастна, религиозные страсти погубили немало не только единичных личностей, но и народов.

— Нет, я не думаю, мы с ней поднимали этот вопрос и она, как я успел убедиться, далеко от религиозной нетерпимости.

— Дай Бог. Насилие над совестью ближнего по моему мнению позорнейшее из преступлений! Что же касается до того, что она не имеет понятия о земной любви, то в этом ты ошибаешься и доказательство тому лежит в моем кармане.

Николай Павлович даже остановился.

Они проходили в это время Исаакиевский мост.

— Что такое ты сказал? Я отказываюсь понимать...

— Да ты не сердись, просто барышня растерялась, я подошел к ней прощаться раньше тебя, она мне поневоле должна была подать руку и в моей руке очутилась приготовленная для тебя записка...

— Записка? Ты лжешь...

— Ну, вот видишь, не знай я тебя и не люби, я бы тебя за эти слова мог поставить к барьеру, тем более, что это у нас теперь в такой моде, но так уж и быть, живи и слушай... — засмеялся Кудрин.

Николай Павлович опомнился, услышав добродушный тон своего приятеля: он понял, что последний сказал правду.

— Прости, ты меня совершенно ошеломили...

— То-то прости, а ошеломляться тебе совершенно не из чего. Барышня — молодец, заметила, что ты с неё влюбленных глаз не сводишь, а молчишь, как пень, дай, думаю, сама этого робкого воина поймаю... Но и в этом покушении на твою свободу, в этой передаче записки было столько прелести; если бы ты видел, как она растерялась, вспыхнула, сробела и каким умоляющим взглядом подарила меня, не успев и не сумев незаметно вынуть из руки приготовленную для тебя записку, сейчас видно, что это был её первый дебют. Бедняжка думала, что ты подойдешь первый с ней проститься, а тебя там задержал старик,

меня и нанесла нелегкая.

— Где же она... эта записка?.. Может, она и не ко мне? — пробормотал Зарудин, нетерпеливо перебивая приятеля.

— Послушай, Николай, это ещё что, ведь так мы с тобой, пожалуй, и всерьез поссоримся. «Может, не ко мне», так к кому же, не ко мне ли, которого Наталья Федоровна первый раз в жизни видит... Это похоже на клевету и совсем не вяжется с твоими восторженными о ней отзывами... да и не скрою, брат, — не красиво...

— Я пошутил, глупо, низко, гадко пошутил... Ты прав, остановив меня, благодарю тебя, ты настоящий друг... Но дай мне записку...

— Изволь, получай, ты совсем сумасшедший, делай-ка, брат, поскорей предложение, но шафером я твоим не буду...

Кудрин подал Зарудину полученную им от Талочки записку.

— Почему?

— А потому, что надеюсь, что меня пригласит невеста, тем более, что я самую судьбою произведен в её конфиденты...

Николай Павлович крепко пожал ему ру-

ку.

— Ну, прощай, желаю полного успеха! — искренно ответил тот на его рукопожатие. — Мне прямо, а тебе налево...

Прятели расстались.

Вскоре Зарудину попался извозчик. Он сел без торга и приказал ехать как можно скорее домой. Ему страшно хотелось поскорее прочесть записку, на улице же было темно.

XX

Разрушенный идеал

*«Мне необходимо вас видеть. Приходите завтра в четыре часа и подождите меня вблизи нашего дома, но так, чтобы вас не заметили. Я пойду к Бахметьевой в сопровождении горничной. Надо сделать вид, что мы встретились случайно.
Н.?»*

Николай Павлович несколько раз перечел эту записку и в глубоком раздумьи откинулся на спинку кресла, стоявшего в его спальне.

— Иди спать, я разденусь сам, — кивнул он явившемуся было в спальню слуге.

Тот так же неслышно вышел, как и явился.

— Неужели я мог в ней так ошибиться! — произнес, спустя несколько минут, Зарудин, встал, снял сюртук и начал медленно ходить по мягкому, пушистому ковру, покрывавшему пол небольшой комнаты, служившей ему спальней.

«Наталья Федоровна и... назначенное свидание!» — это положительно не укладывалось в его голове. Недаром он так бестактно, так грубо вел себя относительно Кудрина, когда тот передал ему о полученной записке.

Если бы последняя и теперь не была зажата в его руке, он не поверил бы никому.

Как девушка, перед которой он преклонялся, которую считал идеалом женщины — человека, вдруг моментально упала в его глазах в ряды современных девушек, вешающихся на шею гвардейцам.

Эта мысль положительно жгла мозг идеалиста Зарудина.

Он готов был бы лучше перенести все муки отвергнутой любви, умереть у ног недося-

гаемого для него кумира, чем видеть этот кумир поверженным — ему казалось это оскорблением своего собственного чувства, унижением своего собственного «я», того «я», которым он за несколько часов до этого охотно бы пожертвовал для боготворимой им девушки.

А теперь эта девушка так неожиданно, так низко пала в его глазах, а с ней вместе пало и разбилось его чувство, он сам к себе даже почувствовал презрение за это чувство.

Он сознавал, что не мог извинить ей, подобно Кудрину, этого первого дебюта на сцене заурядного житейского романа; для Андрея Павловича она была просто милая девушка невеста, будущая хорошая жена, для него же она была божество, луч света, рассекавший окружающий его мрак.

И этот луч погас.

Зарудин все продолжал ходить по кабинету и все более и более разжигал свою фантазию, разжигал до физической боли, до того, что начал почти чувствовать ненависть к той, которая на завтра назначила ему свидание.

Когда же полет его фантазии дошел до своего апогея, то, как всегда, наступила реакция.

— Но, быть может, это совсем не любовное свидание, быть может, ей нужно что-нибудь передать мне, попросить совета, помощи, сделать поручение, быть может, она обращается ко мне, как к другу, как к брату!

Зарудин остановился и даже ударил себя рукой по лбу.

— Это верней всего, а я, несчастный, клеветцу на неё, на эту чистую девушку... Боже, какой я низкий, подлый человек... Это более чем «некрасиво», — припомнилось ему выражение Кудрина, — это возмутительно, этому нет имени, — добавил он от себя.

Началось самобичевание.

Только почти под самое утро Николай Павлович наконец заснул, в конец разбитый испытанными им душевными страданиями.

Проснулся он в обычный час и наскоро, как обыкновенно, выпив чаю, уехал на службу.

В два часа дня он уже входил в столовую, так как это был назначенный час для общего их обеда с отцом, и старик не любил неакку-

ратности.

Здесь Николай Павловича ждало неприятное известие.

— А у меня гость был, редкий гость! — заметил во время обеда Павел Кириллович.

Сын только бросил на него удивленно-вопросительный взгляд.

— Сам его превосходительство Федор Николаевич Хомутов неожиданно-негаданно пожаловал... — лукаво подмигнув сыну, продолжал он.

— А!.. — произнес Николай Павлович, но сердце его как-то инстинктивно упало, предчувствуя беду.

— Чего а? Будто ты и не знаешь, зачем он ко мне в такую даль старые кости тряс?..

— Почему же мне знать, батюшка...

— Ох, хитришь, Николай, с отцом не откровенен, не хорошо... — раздражительно продолжал Павел Кириллович.

Молодой Зарудин уже с нескрываемым удивлением поднял на него глаза.

— Я хитрю... Неоткровенен с вами... Батюшка, я положительно ничего не понимаю...

— Не понимаешь... — окинул его Павел Ки-

риллович подозрительным взглядом. — Будь по-твоему... Коли не понимаешь, я тебе объясню...

Николай Павлович молчал.

— Ты это через день на Васильевский остров все о здоровье старика справляться катаешься? — после некоторой паузы спросил Зарудин-отец.

— Если это не нравится вам и Федору Николаевичу, то я могу и прекратить к нему свои визиты... — вспыхнул сын.

— Прекратить... — протянул старик. — Нет, шалишь, брат, теперь уже поздно...

— То есть как это поздно?

— Так, как бывает... его превосходительство, хотя и стороной, а тебя приезжал сватать...

— Сватать?..

Николай Павлович побледнел: назначенное через два часа свидание, в связи с приходом отца Натальи Федоровны и его сватовством, хотя и стороной, снова подняло в душе идеалиста Зарудина целую бурю вчерашних сомнений. Как человек крайностей, он не сомневался более, что отец и дочь, быть может,

по предварительному уговору — и непременно так, старался уверить он сам себя — решились расставить ему ловушку, гнусную ловушку, — пронеслось в его голове.

— Каким же образом он начал этот разговор с вами, батюшка? — упавшим голосом спросил он отца.

— Да ты чего это так с лица-то изменился?.. Не по нраву, что ли, пришлась?.. Не люба она тебе?

— Не то, не то, батюшка, но так не... делается...

Он чуть было не рассказал отцу историю с запиской и о назначенном свидании, но какое-то внутреннее чувство удержало его. Он один должен быть судьей её — его разрушенного идеала! Зачем вмешивать в эту историю других, хотя бы родного отца. Он сам ей в глаза скажет, как он смотрит на подобный её поступок.

— А по-моему, так оно и делается... В чем другом, а в честности старику Хомутову отказать нельзя... Бурбон он, солдат, с Аракчеевым одного поля ягода, в этом мы с ним не сходимся, но прямой, честный, откровенный

старик, — за это я его и люблю.

— Но с чего же он начал разговор?

— А с того, что заметил он, а потом и его жена, что уже чересчур сладко стал ты поглядывать на их дочку, так и явился о том его превосходительство доложить моему превосходительству... дозволю ли я открыть тебе военные действия против крепости, готовой к сдаче... — шутливо говорил Павел Кириллович.

Этот шутливый тон резал Николая Павловича ножом по сердцу.

— Я со своей стороны ничего бы не имел против этого брака, Наташа девушка хорошая, почтительная, образованная, да и не бесприданница, чай; тебе тоже жениться самая пора, как бишь его у немцев есть ученый или пророк, что ли, по-нашему... Лютер, так тот, кажется, сказал, что кто рано встал и рано женился, никогда о том не пожалеет, я немцев не люблю, а все же это умно сказано... Так с моей стороны препятствий не будет, я так и его превосходительству отрапортовал, а с тобой, сказал ему, что переговорю... Какие же твои, Николай, намерения?..

Старик Зарудин остановился, вопросительно взглянул на сына и стал с аппетитом обгладывать ножку жирного гуся.

— Меня это застало врасплох... Я, признаться, не имел никаких определенных намерений... — растерянно отвечал Николай Павлович, чувствуя, что краска покрывает его лицо от этой невольной лжи.

— Никаких определенных намерений, — проговорил Павел Кириллович, прожевывая кусок, — не хорошо, брат, девку с ума сводить, ферлакурить, без определенных намерений, не считал я тебя за блазня... не хорошо, не одобряю...

— Но я и не ферлакурил... — попробовал оправдаться сын.

— А чего же ты там через день по вечерам около неё торчал?..

— Мы читали, беседовали...

— Беседовали, читали... знаем мы эти чтения, сами молодые были, сами читывали... Не хорошо, отец — мой старый приятель, семья уважаемая... ты в таком случае это брось, постепенно прекрати знакомство... а так не годится...

— Но, я...

— Нечего тут — «но, я», — раздражительно, обтирая салфеткою свои губы, продолжал ворчать Павел Кириллович, — говори что-нибудь одно, а вилять нечего, свататься хочешь, сам поеду, не хочешь, тоже сам съезжу, все напрямки выскажу старику, говорит сын, что беседовали, да читали, насчет любви со стороны моего сына ни чуточки...

— Да ведь я же этого не говорил!

— То есть, как не говорил, кабы любил, то под венец бы с радостью пошел, обрадовался бы, что тебя тоже любят; не без венца ли хочешь обойтись, дочь генерала Хомутова в любовницы взять? — стал уже кричать расхо-дившийся старик.

— Что вы, что вы, батюшка, у меня и вымыслях не было... да притом же здесь... слуги, — уже шепотом добавил сын.

— Что мне, что слуги, я тебя, чай, не худу учу, что мне людей стесняться, а коли тебе зазорно, так на себя пеняй, да вдругорядь не делай! — выходил из себя Павел Кириллович.

«Объяснить ему, что происходит в моем сердце, но он не поймет; ведь и делает же он

выводы...» — неслось в это время в голове Николая Павловича.

— Я прошу вас, батюшка, дать мне сроку до завтрашнего дня, завтра я вам дам ответ... и объясню все.

— Хорошо, до завтра, так до завтра... — смягчился старик безответностью сына. — Но только, чур, не вилять, а отвечать прямо, чтобы за тебя глазами хлопать не пришлось перед честными людьми.

Вскоре они встали из-за стола.

Николай Павлович посмотрел на часы. Было пять минут четвертого. Час свиданья приближался.

Павел Кириллович ушел к себе в кабинет курить послеобеденную трубку и подремать на кресле, а Николай Павлович отправился на свою половину и через четверть часа вышел из дому, озлобленный и мрачный.

— Я ей выскажу все... я ей отомщу за мой разрушенный идеал! С такими мыслями он велел остановиться извозчику на углу 6-й линии Васильевского острова и пошел пешком, мимо теперь почти ненавистного ему коричневого домика.

XXI

Свидание

На улице не было ни души.

В течение почти четверти часа прогулки Николая Павловича, по противоположной домику Хомутовых стороне улицы, с ним встретился только один вытянувшийся в струнку матросик.

Пройдясь несколько раз взад и вперед, Зарудин остановился довольно далеко от дома и стал наблюдать, то и дело поглядывая на часы.

Прошло ещё несколько минут.

Наконец, из ворот дома вышли две женские фигуры, в которых Николай Павлович узнал Талечку и её горничную.

Медленно перешел он на противоположную сторону и спокойно, шагом прогулки, пошел навстречу идущим.

Сердце его, между тем, усиленно билось.

Момент окончательного разрыва с ещё вчера боготворимой им девушкой, так страшно быстро приближающийся, невольно за-

ставлял его ощущать под маской наружного спокойствия внутреннюю, лихорадочную дрожь.

— Bon jour, mademoiselle! — чуть дрогнувшим голосом произнес он, слегка притрагиваясь к шляпе и останавливаясь перед Натальей Федоровной.

Он никогда не обращался к ней с этим французским приветствием, но теперь ему показалось, что только на этом языке утонченной вежливости он более всего может придать холодности этой встрече.

Талечка вскинула на него испуганно-умоляющий взор и покраснела как маков цвет.

— Здравствуйте! Вы к нам? — чуть слышно добавила она, и, казалось, ещё более покраснела, если это только было возможно, от этой, видимо, с усилием вымолвленной лжи.

Вид этой страшно смущенной, растерянно стоявшей перед ним прелестной девушки заставил его в одно мгновение уже забыть весь составленный им ранее план разговора с ней, и вертевшийся на его языке язвительный ответ на её невольную ложь, совершенно против его воли, сложился в другую фразу.

— Да, но, видимо, я попал не вовремя. Вы куда?

— К Кате Бахметьевой.

— Вы позволите немного проводить вас?

Наталья Федоровна низко наклонила голову в знак согласия.

Они пошли рядом.

Горничная почтительно замедлила шаги и пошла на довольно дальнем от них расстоянии.

Несколько минут они оба молчали.

Наталья Федоровна украдкой, видимо, боязливо, взглядывала на своего спутника, как бы собираясь с силами прервать тягостное для неё молчание.

— Я хотела вас видеть, — полушепотом начала она.

— Я поспешил, как видите, исполнить ваше желание, хотя признаюсь, получение вашей записки через третье лицо... — тоже вполголоса заговорил он. Видно было, что испытываемые им тревожления по поводу этой записки и разговора с отцом снова начали подымать всю прежнюю горечь в его сердце.

Она не дала ему договорить и поспешно

прошептала:

— Простите, я хотела с вами говорить вчера, но вы приехали не один, я не знала, что мне делать, я так растерялась... а между тем, время не терпит, мне сегодня надо было все выяснить, все решить.

— Что выяснить, что решить?..

— Все! — с каким-то отчаянием в голосе повторила она.

Он замолчал, и по его губам скользнула почти презрительная усмешка.

«Пусть выскажется сама! Я не стану помогать ей! Это будет первым наказанием за её бестактность», — несло в его голове.

Она тоже несколько минут молчала, как бы собираясь с мыслями.

— Помните, мы как-то ещё недавно говорили с вами, что искреннее чувство всегда вызывает ответ в сердце того, к кому оно обращено, — чуть слышно, видимо, делая над собой невероятное усилие, начала говорить Наталья Федоровна. — Вы даже высказали тогда мысль, с которой я не совсем соглашаюсь, что искреннее чувство не только должно вызывать сочувствие, но прямо может требо-

вать этого сочувствия, и такое требование не решится удовлетворить только черствый, бессердечный эгоист. Я ещё возразила вам тогда, что может случиться, что тот, кто любит, далеко не соответствует идеалу любимого им. Вы сказали мне, что искренно, честно любить может только безусловно хороший человек, а такого человека нельзя не любить в свою очередь, что способность такой любви не дается в удел всем, а является лишь результатом нравственной высоты человека. Что же касается до физической красоты, то она, не в смысле правильных черт, конечно, почти всегда или сопровождает красоту нравственную, или же бледнеет и ступшевывается перед ней, так что в расчет приниматься не может. Я невольно согласилась с вами. Видите, как я все хорошо помню.

Она остановилась.

Николай Павлович, продолжая идти с ней рядом, не вымолвил ни слова. На его лице скользила лишь по временам все та же полупрезрительная улыбка.

«Не то, не то, совсем не то я говорю, надо сказать прямо, легче, скорее!» — проносилось

в её голове.

— Так вы меня удостоили вашего свидания лишь для того, чтобы повторить этот разговор? — тоном ледяной любезности спросил он, прождав несколько минут, не скажет ли она чего-нибудь ещё.

Её смутил его непривычный для её слуха тон. Она бросила на него умоляюще-растерянный взгляд.

— Нет... не за этим только... мне надо было сказать вам... что есть одна особа... которая вас искренно любит... я хотела вас попросить за неё...

— Попросить... за неё... — повторил он. — Что же именно?

— Чтобы вы... разделили... её чувства... она страдает, мучается...

— Если бы она, эта особа, — прервал он её, подчеркнув последние слова, — решилась, как вы теперь, сказать мне это, то один подобный шаг вынудил бы меня отказать ей в уважении, а следовательно, и во взаимности...

Тон его, несмотря на то, что он говорил вполголоса, был более чем резким.

Он, казалось, умышленно отчеканивал

каждое слово.

— Но она... она бы и не решилась... сказать сама... я сама вызвалась помочь ей... она не виновата... — заторопилась Талечка.

— Кто же эта она? Или мне надо догадаться? Разрешить эту шараду? — ядовито спросил он.

— Нет, зачем же догадываться... Я скажу... Это Катя Бахметьева... — совершенно просто ответила она.

Николай Павлович побледнел и почти до крови закусил нижнюю губу.

Очередь смутиться наступила для него.

Её, эту чистую, прелестную девушку, он мог заподозрить в низких житейских расчетах, в бестактной ловле богатого жениха, а между тем, она... верная себе... хлопчет за другую, за свою подругу, далекая от каких-нибудь эгоистических помышлений. Для этой другой она решилась написать ему записку, назначить свидание; сколько при этом вынесла она борьбы со своею девственною скромностью! ещё за минуту осуждаемые им её вчерашний и сегодняшней поступки выросли мгновенно в его уме и получили окрас-

ку геройских подвигов. Любовь к ней снова властно вернулась в его сердце, а часы сомнения, казалось, ещё более усилили её. Но что ему ответить ей? Что может, наконец, он ответить ей? Что он любит её одну, что ему нет дела до чувств, питаемых к нему другими девушками. Что об его чувство к ней, как о гранитную скалу, разбиваются волны всех философских теорий. Да, впрочем, он приводил эту теорию не о том чувстве, которое теперь хлопочет в его груди, но о чувстве братской взаимной любви. Надо объяснить ей это, начать хоть с этого... Она может принять его молчание, вызванное необычайным волнением, за согласие отвечать на любовь к той... к другой.

Все это в течение нескольких мгновений мысленно пережил он.

— Наш разговор, о котором вы вспомнили, касался, Наталья Федоровна, совершенно иного чувства любви, нежели то, которое, как я заключил из ваших слов, питает ко мне Екатерина Петровна, — начал он. — Я тоже готов любить её, как друга, но она едва ли удовлетворится таким чувством. Иного же я питать к ней не могу...

— Почему? — наивно спросила Талечка.

— Потому, что я люблю другую...

— Другую! — упавшим голосом, в котором слышались нотки отчаяния, повторила она.

— Да, другую! — поглядел он на неё пытливый, полным любви взглядом.

Она не видала, а скорее почувствовала на себе этот взгляд и ещё более смутилась.

— Кого? — сорвалось у неё с языка, но она тотчас же опомнилась. — Простите...

— Да неужели же вы до сих пор не поняли, что я люблю... вас, — подавленным шепотом произнес он, наклонившись к ней совсем близко.

Она вдруг побледнела и пошатнулась. Он ловко поддержал её.

— Уйдите... я не могу... не в силах... говорить долее...

— Вы рассердились... простите...

— Нет, не то... не то... но я... не могу... Уйдите...

Она обернулась к шедшей в почтительном отдалении горничной и движением головы подозвала её. Последняя поспешила к ней.

— Мне что-то дурно, дай руку...

— Да не вернуться ли домой, барышня?

— Нет, теперь ближе к Бахметьевым... Я у них оправлюсь, это пройдет.

Они были на Большом проспекте, где жили Бахметьевы. Горничная взяла её под руку. Николай Павлович был так поражен, что не вымолвил ни слова. Он машинально взял протянутую ему на прощание руку Талечки...

Она, опираясь на руку служанки, шатаясь, пошла далее, он все ещё продолжал стоять на одном месте, следя за ней почти бессмысленным взором.

«Она, она любит меня. А я, ничтожный, неблагодарный, себялюбивый негодяй, разве я стою её!» — неслось в его голове.

XXII

Клятва

Большой проспект Васильевского острова того времени, как и ныне, представлял из себя улицу застроенную домами, перед каждым из которых был палисадник, а сама улица у тротуаров была обсажена деревцами, а тротуар тоже состоял из деревянной настилки. Мостовая была замощена лишь на половину.

В одном из таких деревянных домиков, принадлежащем в собственность Мавре Сергеевне Бахметьевой, проживала она со своею дочерью.

Женщина она была далеко не состоятельная, жила маленькой пенсией после покойного мужа, да доходом с небольшого имения в Тверской губернии, но злые языки уверяли, что у Мавры Сергеевны спрятана кубышка с капиталцем, который она предназначает дать в приданое своей любимой дочке, но строго охраняет его существование, чтобы не подумать, что сватаются не за красавицу Ка-

тиш (красавицей считала её мать), а за кубышку. Насколько это было верно — судить было трудно. Верно было одно, что мать ни в чем не отказывала своей балованной дочке.

Небольшой домик был разделен на две половины; заднюю занимали жильцы, а в передней с пятью окнами, выходящими на улицу и украшенными зелеными ставнями, краска с которых почти слезла, жили сами хозяева.

Обстановка их квартиры была солидна и прилична: массивные стулья, столы и диваны красного дерева отличались необыкновенной чистотой — крепостной прислуги в доме было несколько человек. Самым уютным, впрочем, уголком была угловая светленькая комната Екатерины Петровны.

Во всем, начиная с белоснежной постели и кончая горкой красного дерева с зеркалами внутри и стеклянными стенками, наполненной разного рода безделушками — видна была рука боготворившей свою дочь матери.

Екатерина Петровна два дня, в которые она не видала Талечку, с того памятного, вероятно, читателю свидания, была в страшно

удрученном состоянии духа.

Она несколько раз принималась плакать, так что глаза её были красны от слез, несколько раз хотела бежать к Хомутовым, чтобы остановить Талечку от объяснения с Зарудиным, начинала два раза писать ей письмо, но ни одно не окончив рвала на мелкие кусочки. Наконец, решила, что будь, что будет и с сердечным трепетом стала ожидать обещанного прихода подруги.

Такое состояние духа дочери, конечно, не ускользнуло от Мавры Сергеевны, но на все её расспросы она получала лишь уклончивые ответы Кати, что ей просто нездоровится, болит голова и расстроены нервы.

— И что это с ней делается, ума не приложу, — говорила она старой няньке Екатерины Сергеевны Акулине, добродушной старушке с вечно слезящимися глазами.

Последняя только печально качала головой, что приводило в ещё большее уныние старуху Бахметьеву.

«Наверное влюбилась, девушка, в самой что ни на есть поре, надо за ней глаз да глаз теперь, — рассуждала сама с собой Мавра Сер-

геевна. — Но в кого?»

Этот вопрос оставался открытым даже для наблюдательной и зоркой матери.

Дочь не была в этом случае откровенна с матерью.

Дом Хомутовых был единственный, куда Мавра Сергеевна отпускала зачастую свою дочь одну, в домах же остальных знакомых и у себя — ни там, ни здесь не бывал Зарудин, — она не могла наметить кавалера, к которому бы дочь относилась с исключительным вниманием.

Наконец, в их квартире дрогнул звонок, на который стремительно выбежала Екатерина Петровна и заключила в свои объятия вошедшую Талечку.

Последняя хотя и оправилась от охватившего её первого волнения, но была бледна и растеряна.

«Что скажет она Кате?» — было её первою мыслью, когда она простилась с Зарудиным.

Те страдания, которые она невольно причинит своей подруге, сказав правду, — а что может сказать она, кроме правды, — отзывались с болью в её сердце. О, как желала бы

она поменяться с нею ролями! Теперь ей тяжелее, невыносимо тяжелее: она любима, она знает это, любима человеком, которого она любит сама, а между нею и этим человеком стоит непреодолимая преграда, стоит другая, нелюбимая им девушка, но её друг, которой она дала слово, страшное слово не быть её соперницей, эта девушка — Катя, которая так доверчиво и искренно дарит её теперь своим поцелуем.

От Екатерины Петровны не ускользнула бледность и расстроенный вид Талочки. В них она прочитала себе приговор и побледила в свою очередь.

— Что с тобою? Что случилось? Он...

— Перестань, потом, не при людях, — успела остановить её Наталья Федоровна.

Молодые девушки вошли в комнаты, Талочка поздоровалась с Маврой Сергеевной, вышедшей к ней навстречу, и затем прошла в комнату Кати.

Молодые девушки остались одни.

— Ну, что и как... говори... — почти просто-нала последняя.

Талочка молчала, с каким-то виноватым

видом смотря на свою подругу и вдруг неудержимо зарыдала. Екатерина Петровна поняла.

— Что?.. Я угадала... он любит тебя... и сказал тебе это, когда ты начала говорить обо мне.

— Почему ты это знаешь? — сквозь слезы спросила Наталья Федоровна.

— Не трудно догадаться... Но от чего ты плачешь... разве от счастья? — уже с ядовитой насмешкой продолжала та.

Талечка вскинула на неё отуманенные слезами глаза.

— Я прощаю тебе лишь потому, что знаю, что ты несчастна!

Катя нервно захохотала.

— Она прощает меня! Слышите, она прощает меня! — взволнованная до крайности девушка почти выкрикнула эти слова. — Ей надо было вмешаться в это дело, вызваться ходатайствовать за меня перед ним, вероятно, лишь для того, чтобы вырвать у него признание. Она, конечно, довольна, а теперь лицемерно плачет передо мной и даже решается говорить, что она меня прощает, когда я, наконец, срываю с неё постыдную маску.

Екатерина Петровна вскочила со стула и начала нервно ходить по комнате.

— Катя... Катя... опомнись, что ты говоришь! — хотела было тоже встать Наталья Федоровна с кресла, но бессильно снова упала в него, истерически зарыдав.

Екатерина Петровна поняла, что зашла слишком далеко, но клокотавшая злоба не улеглась ещё в её сердце; она не бросилась к своей подруге, умоляя о прощении, она налила только стакан воды и подошла к рыдавшей навзрыд Талечке.

— Полно, полно, успокойся... Услышит мать, начнет допрашивать... Я высказала свое мнение, но слишком резко. За последнее извини...

Она держала одной рукой её голову, а другой прикладывала к её пересохшим губам стакан с водою.

Талечка сделала несколько маленьких глотков.

— Свое мнение; грех тебе, Катя, большой грех, — прерывая слова рыданиями, заговорила она. — Хорошего же ты мнения о своем друге.

— Нынче нет друзей! Видно, прав Сережа Талицкий, что дружба двух девушек все равно, что собачья дружба, только последняя продолжается до первой брошенной кости, а первая до первого появившегося жениха.

Сережа Талицкий был молоденький артиллерийский офицер, недавно выпущенный из шляхетского корпуса. Он приходился троюродным братом Кати Бахметьевой. Рано лишившись отца и матери, он в Мавре Сергеевне нашел вторую мать, и все время пребывания в корпусе проводил в доме Бахметьевой. По выходе в офицеры, он пустился во все тяжкие, сделался типом петербургского «блазня» и был на дурном счету у начальства в это строгое Аракчеевское время.

Наталья Федоровна его недолюбливала: он не выдерживал сравнения с серьезным Николаем Павловичем, представителем мыслящего офицерства того времени.

— Мне очень жаль, что ты судишь обо мне по тем девушкам, о которых говорит и среди которых вращается Сергей Дмитриевич — так звали Талицкого, — запальчиво произнесла она.

— Все одинаковы, — настаивала Екатерина Петровна, продолжая срывать на подруге свою злость.

— Повторяю, напрасно. Если я заплакала, то заплакала только о тебе. О себе мне плакать нечего, да и притворяться нечего, последнего, впрочем, я слава Богу, и не умею. Я третьего дня ещё сказала тебе, что не люблю его, и хотя раздумав после, убедилась, что сказала неправду, но и теперь даю тебе слово, мое честное слово, что не сделаюсь твоей соперницей и никогда не соглашусь выйти за него замуж, хотя не далее получаса тому назад он действительно сказал мне, что он меня любит.

Катя сделала нетерпеливый жест, но Талочка не дала ей заговорить.

— Ты скажешь потом, а теперь выслушай меня до конца. Я хочу снять с себя незаслуженное мною твое обвинение.

Наталья Федоровна подробно рассказала, как историю с запиской, так и сегодняшний разговор с Зарудиным.

— Поверь мне, что для себя я не стала бы переносить таких нравственных мук и суме-

да бы иначе, легче заставить его высказаться, если бы хотела. Повторяю тебе, что женою его я никогда не буду. Клянусь тебе в том, слышишь, клянусь!.. Я не признаю дружбы, могущей порваться вследствие брошенной кости...

Она говорила это, все продолжая обливаться неудержимыми слезами.

Екатерина Петровна слушала её молча, стоя около небольшого столика, на который поставила недопитый Талечкой стакан с водой, на лице её были видны переживаемые быстро друг за другом сменяющиеся впечатления. Когда же Наталья Федоровна кончила, она тихо подошла к ней, опустилась перед ней на колени и, полная искреннего раскаяния, произнесла:

— Прости, прости меня, я сумасшедшая, я теперь только окончательно узнала твое самоотверженное золотое сердце...

Молодая девушка упала головой в колени Талечки и в свою очередь глухо зарыдала.

Наталья Федоровна понимала, что она плакала не только от раскаяния в своей вине перед ней, но и от обрушившегося на неё более

тяжелого удара судьбы, а потому дала ей выплакаться.

«Слезы облегчают, они очищают душу, проясняют ум и смягчают страдания наиболее больного сердца», — припомнилось ей где-то прочтенное выражение.

Она также тихо продолжала плакать, склонившись над плачущей подругой.

Вид этих двух девушек, прелестных, каждая в своем роде, созданных, казалось, для безмятежного счастья и переживающих первое жизненное горе, произвел бы на постороннего зрителя тяжелое, удручающее впечатление.

Такого постороннего зрителя, впрочем, не было.

Мавра Сергеевна хлопотала по хозяйству и не заходила к дочери, надеясь, что её благоразумная подруга, какой она считала Хомутову, разговорит её заблажившую дочь.

Наплакавшись вдоволь, молодые девушки кончили тем, что помирились, и Наталья Федоровна начала утешать Катю, представляла ей, что разум должен руководить чувством и что отчаяние есть позорная слабость и тяж-

кий смертный грех.

Она, впрочем, сама худо верила в те истины, которые проповедовала.

Предчувствие тяжелой борьбы между чувством и долгом рисовало ей мрачные картины будущего.

Когда мать Екатерины Петровны позвала их пить чай, они обе казались покойными и лишь краснота глаз выдавала, что между ними произошло нечто, заставившее их плакать.

Мавра Сергеевна однако не заметила и этого. Она видела, что её Катиш как будто повеселела и была довольна.

XXIII

Масон

Николай Павлович Зарудин прямо с Большого проспекта поехал к Андрею Павловичу Кудрину. Ему необходимо было высказаться, а Кудрин, кроме того, что был его единственным, задушевым другом, самим Провидением, казалось Зарудину, был замешан в это дело случайно переданною ему Натальей Федоровной запиской.

Кудрин жил на Литейной, занимая небольшую, но уютную, комфортабельную меблированную холостую квартиру. Когда Николай Павлович приехал к нему, то он только что встал после послеобеденного сна и читал книгу: «Об истинном христианстве», в переводе известного масона времен Екатерины II И. Тургенева.

Андрей Павлович был действительным членом, посвященным масоном одной из петербургских лож и прошел уже степень «аппрантива», то есть учащегося, до степени «компаниона».

Эта степень возлагала на члена обязанность распространять масонское учение и давала права рекомендации в ложу «аппрантивов».

Кудрин со страстной энергией исполнял эту обязанность и успел привлечь уже очень многих. В описываемое нами время он постепенно увлекал в ложу и Зарудина, и тот зачастую по целым вечерам проводил, внимательно слушая увлекательную проповедь своего друга, так что поступление в масоны и Зарудина было только делом времени.

Андрей Павлович не удивился приезду к нему Николая Павловича, так как знал о полученной записке и ожидал, что его друг не скроет от него результата любовного послания, которого он был случайным почтальоном.

— Ну, что, как дела, дружище, — шутливым тоном начал было он, но взглянув в лицо своего гостя, сразу оборвал фразу.

— Что с тобою? На тебе лица нет.

— Я презренный негодяй, подлец... Каждый честный человек имеет полное право сказать мне это в лицо... — начал тот, бес-

сильно опускаясь в одно из покойных кресел кабинета Андрея Павловича.

— Самоуничижение паче гордости. Но в чем дело, расскажи толком? — спросил последний, привыкший к припадкам самобичевания своего приятеля.

Зарудин в подробности рассказал ему, как содержание записки, так и впечатление, произведенное им на него, подкрепленное долгим разговором с отцом, и, наконец, беседу его с Натальей Федоровной, беседу, возвысившую её в его глазах до недостижимого идеала и низвергнувшую его самого в пропасть самопрезрения.

— Разве можно после этого жить? — заключил свой рассказ Николай Павлович.

Кудрин внимательно и серьезно слушал своего приятеля, но при последнем его восклицании не мог не улыбнуться.

— Не только можно, но должно. Теперь только начинается твоя жизнь... Ты знаешь, что она любит тебя. Твои и её родители согласны, зачем же стало дело? Веселым пирком, да и за свадебку.

— Нет, я не стою её. Повторяю тебе, что с

нынешнего дня я стал самого себя презирать, стал самому себе ненавистен. Человек, осмелившийся заклеить её малейшим подозрением — ей не пара.

— Но, во-первых, в основе этого подозрения лежала твоя безумная к ней любовь, это была просто ревность к идеалу, которым, ты полагал, она перестала быть, а во-вторых, что касается вопроса, стоишь ли ты её, то это уже исключительно её дело. Если же ты хочешь слышать мое мнение, пожалуй, скажу тебе откровенно, что действительно не стоишь.

Зарудин посмотрел на него вопросительно.

— Я не хочу этим тебя обидеть, сказать, что ты лично её не стоишь, но я, несмотря на то, что видел её всего один раз в жизни, каким-то внутренним инстинктом почувствовал, что нравственно она выше всех не только современных женщин, но и мужчин, и что она положительно «не от мира сего».

— Ты прав, ты совершенно прав, — даже привскочил с кресла Зарудин и, схватив руку Кудрина, стал крепко жать её. — Я из более продолжительного знакомства с нею вынес

такое же впечатление — это положительно ангел во плоти.

Андрей Павлович грустно улыбнулся.

— Одно не хорошо, что этим ангелом во плоти всегда трудно живется на грешной земле. Сдается мне, что Наталья Федоровна не будет счастлива даже с тобой.

— Ну, относительно себя-то я отвечаю, я окружу её таким попечением, такою ласкою, устраню от неё все житейские заботы, что быть несчастливой у неё не будет причин.

— Ей не этого, поверь мне, нужно, ей нужно чистую, не колеблющуюся сомнениями душу, нужно участие в благотворной деятельности. Ты в силах доставить и это, но почему ты до сих пор уклоняешься?

— Ты говоришь о моем продолжительном колебании поступить в масонскую ложу? — прервал его Николай Павлович.

— Именно об этом. Когда я говорю с тобой, ты, по-видимому, убеждаешься, а затем, слушая людские толки, снова сомневаешься, а между тем, твоя будущая невеста обладает всеми масонскими качествами и ей ты мог бы, не колеблясь, отдать те замшевые белые

дамские перчатки, которые дают каждому из нас при приеме в масоны, вместе с другими атрибутами масонства и другой парой мужских перчаток, даваемых нам в знак чистоты наших дел.

— Все это так, дружище, — заметил Зарудин, — но поступление в масоны я считаю таким жизненным шагом, на который нельзя решаться опрометью. Слушая тебя я на самом деле искренно желал бы работать вместе с тобой, а между тем, кругом меня в обществе говорят о вас — я буду откровенен — или хорошо, или очень дурно. Многие считают вас безбожниками.

Кудрин весь вспыхнул, его глаза загорелись, видно было, что его приятель задел его слабую струну.

Долго и неудержимо стал говорить он о сущности и целях масонства. Увлекательная речь ярого масона не осталась без воздействия на Зарудина: предстоящее сватовство последнего за Хомутову отодвинулось в мыслях обоих, беседовавших далеко за полночь, приятелей на второй план.

Николай Павлович, впрочем, вышел от

Кудрина с твердым намерением как поступить в масонскую ложу, так и отдать перчатки не кому иному, как своей законной жене Наталье Федоровне, урожденной Хомутовой.

XXIV

Болезнь Талечки

На другой день, после обеда, Николай Павлович Зарудин имел со своим отцом продолжительное объяснение; он выложил перед ним всю свою душу и не утаил ничего, окончив просьбою самому явиться за него сватом к старику Хомутову.

— Добро, добро, сынок, — заметил Павел Кириллович. — Съезжу, завтра же съезжу, такая невестка и мне по душе, лучше девушки тебе не только в Петербурге, но во всем мире не сыскать.

— Я не знаю, как благодарить вас, батюшка! — радостно воскликнул Николай Павлович.

— Нечего благодарить заранее, как ещё невеста согласится, мало ли что смутилась она, когда ты ей прямо брякнул о своей люб-

ви, может, просто стыдно ей стало от слов твоих.

У молодого Зарудина похолодело сердце.

«А что, если отец говорит правду, если она и не думает разделять его любовь... Что же такое, в самом деле, что она смутилась, почти лишилась чувств при его неожиданном признании. Может, потому-то она и ходатайствовала за другую, что совершенно равнодушна к нему, а он приписал это самоотвержению её благородного сердца», — замелькали в его голове отрывочные мысли.

Он не высказал их отцу, но целый вечер и целую ночь не мог выгнать из своей головы гвоздем засевшего в нем, леденящего ему кровь вопроса: «А вдруг она ему откажет?»

Наталья Федоровна хотя и не отказала, но Павел Кириллович привез на другой день сыну весьма не радостные вести.

Дочь Хомутовых оказалась тяжело больной.

— Приехал я, в доме у них дым коромыслом, — повествовал старик, сидя с трубкой в зубах на диване своего кабинета, сидевшему перед ним смертельно бледному сыну, — два

доктора. Сам Федор Николаевич совсем без ума от горя. «Не знаю, — говорит, — с чего это с ней приключилось. Пошла позавчера к своей подруге Кате Бахметьевой здоровехонька, а вернулась бледная, скучная, в ночь же жар сделался, мечется, бредит, все про эту Катю, да про вашего сына Николая Павловича... А что она говорит о них не разберешь...» Я тут не вытерпел и все старику выложил.

— Как все?

— Так все, что знал, тем более, он сказал мне, что и доктора говорят, что приключилась с ней болезнь эта от сильного потрясения, а старик плачет, не может понять, какое такое потрясение-то?

— Что же Федор Николаевич? — еле выговорил от волнения молодой Зарудин.

— Что? Ничего!.. Говорит, скажу жене, чтобы не пускали к ней эту озорную Бахметьиху, ещё пуще её расстроит... Всю кашу эту она заварила. Талечке бы и невдомек... Я тут начал его утешать... Дарья Алексеевна вошла, сообщила, что больная после приема лекарства заснула... Его превосходительство немножко успокоился, но я все же счел нужным замол-

вить словечко о тебе и о твоём предложении... Оба старика не прочь, за честь поблагодарили, но решили мы, что надо обождать до возвращения твоего из лагеря, выздоровеет она, оправится, тогда и говорить с ней будут, а раньше ни-ни... И ты уж туда не ездь, чтобы пуще её не тревожить... Если она спросит ненароком, куда ты запропал, тогда сейчас тебе знать дадут, а то так зря нечего её и расстраивать... А в августе, в сентябре, мы это все дело оборудуем... — прибавил Павел Кириллович ободряющим тоном, видя, что сын окончательно упал духом...

Николай Павлович молчал.

— Родители обещали, а обещанного, знаешь, три года ждут... Талечку же можно подождать и дольше... — пошутил старик.

— Нет, видно, не видать мне этого счастья! — с отчаянием в голосе произнес сын, и по щекам его скатились две горячие слезы.

— Стыдись, ведь ты офицер, а не баба, чтобы из-за пустяков реветь... — рассердился Павел Кириллович, не выносивший слез. — Девушка прихворнула, выздоровеет, ещё краше будет, окрутим мы вас лучшим манером, по-

сле Успенского поста...

Николай Павлович через силу грустно улыбнулся.

Какое-то тяжелое предчувствие говорило ему иное. Он был убежден, что эта невольная отсрочка имеет для него нечто роковое.

Он и не ошибся: она действительно была роковой.

Николай Павлович прямо из кабинета отца поехал к своему другу Андрею Павловичу и только его мощное слово утешения заставило его несколько приободриться и терпеливо ждать решения своей участи, хотя в сердце нет-нет, да и подымались тяжелые предчувствия.

— Все Бог делает к лучшему, — говорил Кудрин, — ты сосредоточишься и решишься, наконец, вступить в нашу ложу, заняться деятельностью, в которой впоследствии твоя жена будет тебе верной помощницей.

Зарудин согласился со своим другом. Его мучила только предстоящая, быть может, долгая, а главное бессрочная разлука с боготворимой им девушкой.

Но он примирился и с этим, отдавшись

службе и чтению книг.

Наталья Федоровна тоже часто задумывалась о причинах совершенного непосещения их дома молодым Зарудиным, но вместе с тем и была довольна этим обстоятельством: ей казалось, что время даст ей большую силу отказать от любимого человека, когда он сделает ей предложение, в чем она не сомневалась и что подтверждалось в её глазах сравнительно частыми посещениями старика Зарудина, их таинственными переговорами с отцом и матерью, и странными взглядами, бросаемыми на неё этими последними.

То, что отцу и матери известно все, что произошло между ней, Катей Бахметьевой и Николаем Павловичем, для Талочки было ясно из того, что мать старалась всячески отдалять её от этой подруги.

Значит, молодой Зарудин передал все Павлу Кирилловичу, а тот её отцу и матери, а Николай Павлович, умозаклучала она, мог передать все отцу только при просьбе о согласии на брак с нею.

Наталья Федоровна удивлялась только, чего они медлят сообщить ей, хотя, повторяем,

радовалась этой медленности.

Оправившись после нервной горячки, которая выдержала её в постели более шести недель, она первое время была очень слаба, но затем молодость и здоровая натура взяли свое и она стала поправляться и даже хорошеть, как говорится, не по дням, а по часам.

Но возрождающиеся физические силы далеко не соответствовали силам душевным, нравственному состоянию Талечки — оно продолжало быть угнетенным.

Молчаливая, задумчивая, ходила она из угла в угол по своей комнате, или по целым часам сидела за книгой, видимо, не читая её, но лишь уставившись глазами в страницу: мысли её были далеко.

Где витали они?

Главным образом, должны мы заметить, они сосредоточивались на вопросе, что будет, когда молодой Зарудин, поддерживаемый своим отцом, к которому её отец питает дружбу и уважение, а также её родителями, выступит с официальной просьбой её руки. Хватит ли у неё сил противостоять этой просьбе горячо любимого человека и настоя-

нию родителей, конечно, сторонников молодого Зарудина, считающих его хорошей партией для их дочери, а потому, естественно, желающих узнать лично от неё причины странного отказа человеку, которому она так явно на их глазах и так долго симпатизировала?

Что скажет она им? Правду. Но придадут ли они какое-нибудь значение клятве, данной ею подруге? Не назовут ли они её ребячеством, глупостью?

«И будут правы!» — шевелилось даже изредка в уме Натальи Федоровны.

«Что делать? У кого просить поддержки, помощи?» — мелькала неотвязная мысль.

Горячо молилась Наталья Федоровна о том же перед образом Божьей Матери, старинного письма, висевшем в её комнате.

И помощь явилась откуда она вовсе её не ожидала.

Тот же домашний доктор Хомутовых Федор Карлович Кранц, вылечивший Талечку от физической болезни, когда старики Хомутовы передали ему о странном состоянии духа их дочери, посоветовал доставлять ей как можно

более развлечений.

На другой же день Федор Николаевич повез её на излюбленное место гуляний тогдашних петербуржцев — Крестовский остров.

Там Наталья Федоровна встретила с неожиданным и могущественным союзником.

XXV

Крестовский остров

В 1805 году Крестовский остров, ныне второе степенное место публичных гуляний, далеко не отличающееся никаким особенным изяществом, был, напротив того, сборным пунктом для самой блестящей петербургской публики, которая под звуки двух или трех военных оркестров, гуляла по широкой, очень широкой, усыпанной красноватым песком и обставленной зелеными деревянными диванчиками, дороге, шедшей по берегу зеркальной Невы, в виду расположенных на противоположном берегу изящных дач камергера Зиновьева, графа Лавалья и Дмитрия Львовича Нарышкина, тогдашнего обер-егермейстера.

Последняя из названных дач, в особенности, обращала на себя тогда общее внимание, благодаря личности своего богача-владельца.

Дмитрий Львович славился, во-первых, тем, что у него был удивительный хор роговой музыки, состоявший из полсотни придворных егерей, игравших на позолоченных охотничьих рожках, словно один человек, с необыкновенным искусством и превосходною гармониею, заставлявших удивляться всех иностранцев, из числа которых нашелся даже один англичанин-эксцентрик, приехавший нарочно в Петербург из своего туманного Лондона, чтобы взглянуть на прелестную решетку Летнего сада и послушать Нарышкинский хор. Во-вторых, Дмитрий Львович имел и другие права на знаменитость, а именно: супруга его, прелестнейшая из прелестнейших женщин, столь известная Марья Антоновна, пользовалась особенным вниманием императора Александра Павловича.

Марья Антоновна Нарышкина имела какую-то странную антипатию к графу Алексею Андреевичу Аракчееву и постоянно и резко проявляла перед государем свое нерасполо-

жение к «выслужившемуся гатчинскому фельдфебелю», как называла она графа.

Антипатия эта доходила до такой степени, что в гостиной Марьи Антоновны имя Аракчеева считалось контрабандой, никто никогда не осмеливался произносить его, и примером такой сдержанности служил сам государь, ежедневно бывавший у очаровательной «Армиды», как называли Марью Антоновну тогдашние льстецы.

В свою очередь и Аракчеев всю силую своей души ненавидел Марью Антоновну, благодаря влиянию которой многое в государственной машине, им управляемой, делалось помимо его воли.

Не имея возможности выслеживать государя Александра Павловича в его Капуе, то есть на даче у Нарышкиных, граф Алексей Андреевич в то время, когда государь проводил время в обществе Марьи Антоновны, то беседа с нею в её будуаре, то превращаясь в послушного ученика, которому веселая хозяйка преподавала игру на фортепиано, то прогуливаясь с нею в её раззолоченном катере по Неве, в сопровождении другого катера, везше-

го весь хор знаменитой роговой музыки, царский любимец нашел, однако, способ не терять Александра Павловича из виду даже и там, куда сам не мог проникнуть.

Мало чувствительный к какой бы то ни было музыке, Аракчеев — искренно или нет — очень жаловал нарышкинскую роговую музыку и от времени до времени жители Петербургской стороны, особенно Зеленой улицы, видали летом под вечер едущую мимо их окон довольно неуклюжую зеленую коляску на изрядно высоком ходу; коляска ехала не быстро, запряженная не четверкою цугом, как все ездили тогда, а четверкою в ряд, по-видимому, тяжелых, дюжих артиллерийских коней.

В коляске на заднем месте помещался скучный, неуклюжий генерал, в высокой шляпе по форме с черным султанчиком, а на передке перед ним молодой сухопарый офицер в шляпе также с черным султанчиком, что означало пехотинца.

Генерал, по-видимому, от времени до времени что-то говорил, глядя в упор на сухопарого, жиденького офицера с острым ястреби-

ным носом и вообще какою-то птичьей физиономией.

И адъютант, как заметно было, что-то отвечал, почтительно приподымая за угол свою шляпу, обращенную углами взад и вперед, между тем как углы генеральской шляпы были над плечами.

Эти генерал и офицер были: граф Алексей Андреевич Аракчеев и капитан лейб-гвардии гренадерского полка Петр Андреевич Клейнмихель, крестник графа Аракчеева, часто сопутствовавший ему в его прогулках, заменяя адъютанта, назначение которым состоялось в 1812 году, по переводе его в Преображенский полк.

Алексей Андреевич отправлялся, таким образом, на Зиновьевскую дачу, чтобы оттуда слушать Нарышкинскую роговую музыку, звуки которой неслись или с Нарышкинской дачи, или с катеров, в которых каталась Мария Антоновна.

Аракчеев сиживал обыкновенно на балконе Зиновьевской дачи или на береговой террасе, уставленной мраморными вазами с росшими в них кустами алых, белых и желтых

роз и оттуда, невидимый с катера, прикрытый густотою растений, зорко наблюдал за всеми движениями своего — как он называл государя Александра Павловича — «благодетеля».

На другое утро Аракчеев при докладе, находил время довольно ловко и всегда желчно сказать что-нибудь колкое насчет отношений Александра Павловича к Марье Антоновне.

Достоинно внимания однако, что император, тогда ещё во всем цвете молодого возраста, принимал все эти бутады[2] своего верно-подданного друга всегда с улыбкою.

XXVI

Ritter Spiel

По берегу Крестовского острова, восемьдесят лет тому назад, при звуках военных оркестров, с одной, то есть с сухопутной стороны и роговой придворной музыки, несшейся или с реки, или с противоположной Нарышкинской дачи, прогуливался, смело можно сказать, весь Петербург *de la hante volee*, самого высшего, блестящего общества. Это происходило в будни в течение целого лета.

По воскресеньям же Крестовский остров делался центром сборища всего немецкого петербургского населения, часть которого угощалась в обширном деревянном трактире, находившемся на берегу, совершенно напротив Зиновьевской дачи, где был перевоз от конца Зеленой улицы, так как в те времена о Крестовском мосте и помину не было. Другая же часть публики обыкновенно привозила с собою корзины с различной домашнею провизией, которые были переносимы с яликов и ялботов на берег различными домочадцами

ремесленно-патриархального быта, состоявшими, преимущественно, из мальчишек, большею частью босоногих, в полосатых тиковых халатиках.

Эти таборы покрывали почти весь склон берега, где дымились самовары, кипели кофейники, распространявшие на изрядное пространство запах жженого цикория, и где было разливное море пенящегося пива, в те благословенные времена общей дешевизны продававшегося чуть ли не за три копейки медью бутылка.

По воскресеньям, против трактира гремели оркестры, то военный, то так называемый бальный, и под звуки последнего, когда он играл, например, какой-нибудь любимый немецкий вальс на голос: «Ah, du mein lieber Augustin!», некоторые особенно ярые любители танцев пускались даже в самый отчаянный пляс на эспланаде, усыпанной довольно крупноватым песком.

Кроме того, здесь в разных местах были различные качели. На берегу, или около той части берега, которая выходила напротив дачи графини Лаваль, стояли летние деревян-

ные горы, с которых беспрестанно слетали колясочки или кресельцы на колёсцах, и на них сидели большею частью пары, причем дама помещалась у кавалера на коленях и притом всегда жантильничала[3], выражая жантильность эту криками и визгами, между тем как кавалеры, обнаруживая чрезвычайную храбрость при слетании колесных саночек с вершины горы, заливались истерическим хохотом и сыпали бесчисленное множество немецких вицов, в остроумности которых вполне убеждены были их творцы, молодые булочники, сапожники, портные, слесаря и прочие.

Но самое большое и истинно изящное удовольствие именно этой молодежи было их Ritter Spiel, то есть рыцарская игра, которой немцы крайне дорожили. Она состояла в следующем: подле трактира, по одной с ним лицевой линии, построен был какой-то павильон с восемью длинными, горизонтальными окнами, поставленными, впрочем, очень высоко. Крыша была в виде купола, также вся в окошечках, дававших свет в обширную, круглую ротонду, вдоль стен которой находилось

восемь столбов, и на этих столбах какие-то крюки, поддерживающие сделанные из папки турецкие и арабские головы в чалмах. Посреди ротонды круглый, возвышенный пол вертелся посредством оси, соединенной внизу с рычагом, с помощью которого пол приводился в движение бегающими под ним, впряженными в постромки, лошадьми.

На этом вертящемся полу или барабане были поставлены шесть деревянных коней, каждый в разнообразной позитуре, но все в такой, однако, чтобы все четыре ноги непременно упирались в пол. Все эти шесть лошадей, в натуральный рост, были тщательно выкрашены, снабжены гривами, челками и хвостами из настоящих конских волос. Сверх того, они были замундштучены настоящими мундштуками и оседланы английскими седлами с разнообразными чапраками[4], красными, голубыми, зелеными, желтыми, медвежьими и тигровыми. Независимо от различия по чапракам, деревянные кони различались и мастями. Так, один конь был как смоль вороной, с огромной белой лысиной, в белых же чулках; другой — словно снег бе-

лый, такой белый, какие в природе едва ли встречаются; третий — серый, в стальных, голубоватых яблоках, с черным волосом на хвосте и гриве; четвертый — гнедой; пятый — красно-рыжий; шестой — соловой, то есть желто-оранжевый с белым волосом.

Это и был затейливый карусель для рыцарской игры.

Молодые немцы садились на этих величественных коней, вооружались дротиками или палашами, подвязанными у седла каждого коня, восклицали: «гоп!» и пол начинал свое вращательное движение, увлекая и коней, и всадников, которые с большею или меньшею ловкостью, сидя на деревянных конях, сшибали кольца, привинченные на крюках, и нанизывали их на свои шпаги и дротики, а потом упражнялись в сшибании турецких и черных негритянских или арабских голов.

Таковы были незатейливые развлечения того времени.

XXVII

Встреча с Аракчеевым

В один светлый петербургский вечер в июне месяце 1805 года, множество яликов и ялботов реяло по Неве от пристани в конце Зеленой улицы к той пристани, которая была на Крестовском острове, насупротив Зиновьевой дачи, почти на том самом месте, где теперь тянется длинный деревянный Крестовский мост.

День был не праздничный, но многим петербургским жителям и дачникам окрестностей «деревянной мостовой», то есть Зеленой улицы, хотелось подышать чистым воздухом, людей посмотреть и себя показать, услаждая слух роговой музыкой Нарышкинского хора.

Беспрестанно более или менее нарядная и щеголеватая публика сходилла с причаливших яликов.

В одном из таких яликов прибыл на остров и Федор Николаевич Хомутов с дочерью.

Они тихо стали прогуливаться по берегу, вдыхая с наслаждением ароматный воздух,

разглядывая нарядную толпу гуляющих и прислушиваясь к нежащим слух, несшимся с реки звукам музыки.

Старик Хомутов с радостью замечал, что прогулка развлекает Талечку, она оживленно беседовала с отцом, расспрашивала о встречающихся незнакомых ей лицах, раскланивавшихся с Федором Николаевичем, на лице её появилось даже резкое за последнее время одушевление, а на губах заиграла давно невиданная улыбка.

Вдруг на острове произошло необычайное движение. Пестрая толпа бросилась по направлению к карусели, около которого была уже масса любопытных.

Из уст в уста таинственно передавалось имя Аракчеева.

— Граф Аракчеев накрыл офицеров, — говорили в толпе.

Федор Николаевич и Талечка, как раз были в это время около этого павильона и, укрываясь от хлынувшего на них народа, должны были войти в открытые настежь двери Ritter Spiel'я.

Там действительно были, кроме пробрав-

шихся ранее любопытных, граф Алексей Андреевич Аракчеев и Петр Андреевич Клейнмихель.

Перед всесильным графом стояли на вытяжку четыре молоденьких, видимо, недавно выпущенных гвардейских офицера. По их бледным, растерянным лицам видно было, что они перепугались не на шутку.

— Хорошо, очень хорошо! — гнусил более обыкновенного, видимо, раздраженный граф, — молодцы гвардейцы, достойно ведут себя, поддерживают честь мундира, на деревянных лошадках с пьяных глаз катаются. Завтра же доложу государю. Порадую его их воинскими подвигами.

Оказалось, что четверо гвардейских офицеров, приехав на Крестовский остров и не желая заходить ни в трактир, ни сесть за один из столиков на площадке перед трактиром, забрались в пустой карусель и приказали подать туда шипучки. За одной бутылкой последовала другая, затем третья и четвертая. Юношеские головы закружились и один из офицеров предложил заняться рыцарской игрой. Предложение было принято и офицеры

засели на коней, приказав наглухо запереть павильон и пустить в ход барабан. Невинная забава могла бы кончиться благополучно, если бы на грех в это самое время на Крестовский остров не переправился с Зиновьевской дачи в парадном ялботе граф Аракчеев вместе с Клейнмихелем.

Проходя мимо карусели и услышав в нем шум и голоса, он любопытствовал взглянуть на упражняющихся в рыцарскую игру и прямо пошел к двери.

Перепуганный насмерть сторож из отставных солдат преградил ему путь.

— Занято, ваше сиятельство, господами офицерами, — бухнул он.

— Офицерами! — повторил граф. — Отворяй, посмотрю я, что это за воины и хорошо ли они на деревянных конях выглядывают.

Сторож не осмелился послушаться приказа графа. Двери павильона открылись, и на их пороге появился Аракчеев и Клейнмихель.

Ход барабана был остановлен спустившимся вниз сторожем.

Не успели несчастные офицеры соскочить с коней, как граф грозно крикнул:

— Ни с места! Пустить ход!

Пол снова завертелся.

— Быстрее, быстрее, — командовал Алексей Андреевич.

Началась бешеная скачка четырех гвардейцев на деревянных лошадях.

Насладившись этой картиной, граф приказал остановить ход и, как мы видели, начал распекать молодых людей.

— Извольте отдать ваши шпаги... Клейн-михель... возьми... На гауптвахту... до решения государя...

Еле живые от страха ожидающей их участи офицеры повиновались.

Граф Алексей Андреевич повернулся к выходу и встретился лицом к лицу со стоявшим в дверях карусели под руку с дочерью Федором Николаевичем Хомутовым.

Добродушный и честный старик был возмущен строгостью графа и решил выступить защитником молодых людей, тем более, что Талечка жалобно прошептала ему на ухо: «Бедные!?!»

Алексей Андреевич сталкивался с генералом ещё во время его службы и очень был па-

мятлив на лица — он узнал его.

— А, ваше превосходительство, вы здесь тоже, чай, любовались подвигами представителей царевой гвардии! Это не то, что мы, армейцы... ничего не стоящие... это настоящие воины, защитники отечества.

Граф не любил гвардейцев, шаркунов, как он называл их, и с наслаждением каждый раз, при малейшем поводе, изливал на них свою желчь.

— Вы, вероятно, пошутили, ваше сиятельство, ведь они же совсем мальчики и совершили только детскую шалость, за что же подводить их под гнев государя. Простите их, ваше сиятельство! — прерывающимся от волнения голосом заговорил Хомутов.

Граф бросил было на него грозный взгляд своих тусклых глаз, но этот взгляд встретился с глядевшими на него с мольбой глазами Талочки.

— Дочь? — вопросительно прогнусил он, кланяясь Наталье Федоровне.

— Так точно, ваше сиятельство, дочь Наталья.

— Благодарите, господа, — обернулся граф

к все ещё стоявшим на вытяжку безоружным офицерам, — этого армейского генерала-ветерана, ради него я прощаю вас. Клейнмихель, возврати шпаги.

Лица юношей просияли, и они, сделав фрунт перед Аракчеевым и Хомутовым, быстро выскользнули из павильона.

Алексей Андреевич снова обратился к Федору Николаевичу, глядя, впрочем, на его дочь.

— Замуж пора выдавать, вывозить надо, женихов к себе приглашать.

— Молода ещё, ваше сиятельство.

— Какой молода, в самой поре. Говорю, женихов приглашать надо, ваше превосходительство, и меня зовите, я тоже жених.

— Сочту за честь, ваше сиятельство.

— Вы на Васильевском?

— Точно так.

— Буду!

Они расстались.

По возвращении с прогулки Федор Николаевич передал своей жене о встрече и разговоре с графом Аракчеевым.

— Вот бы на самом деле жених Талечке, не

чета Зарудину... — заговорила она.

— Полно пустяки болтать, — остановил её муж, — его сиятельство, конечно, только пошутил.

XXVIII

Слабость сильного

Но «его сиятельство» далеко не шутил. Хорошенькое, блистающее невинностью личико, стройная, прекрасно сложенная фигура Натальи Федоровны не могла не произвести сильного впечатления на сорокалетнего сластолюбца. Среди женщин его общества он встретил впервые такой нежный, но роскошный цветок, остальные петербургские барышни того времени были какими-то тепличными растениями, казалось, преждевременно увядающими.

По обязанности беспристрастного бытописателя мы должны отметить довольно грустную черту в характере графа Алексея Андреевича Аракчеева — этого выдающегося деятеля двух царствований — он был до болезненности равнодушен к женщинам. Всякое

красивое, выразительное лицо женщины производило на него магическое действие. Значительная часть библиотеки этого государственного человека состояла из книг и сочинений далеко не целомудренного содержания. Он воплотил даже свою любовь к пикантности в особого рода постройке. Он построил у себя в усадьбе особый павильон и наполнил его соблазнительными картинами, которые закрывались зеркалами, отворявшимися посредством потайных механизмов. Павильон этот стоял уединенно на острове, окруженном прудами. Только самым избранным своим приятелям граф показывал внутренность устроенного им причудливого павильона, который в отсутствие его был совершенно недоступным. Алексей Андреевич не пренебрегал и покупками красивых крестьянок, чем-нибудь обративших на себя его внимание. Это, впрочем, было в нравах того времени и проделывалось большинством современных ему помещиков.

Другую странность этого железного характера, несомненно вытекавшую из его сластолюбия, было его отношение к законному

супружеству. Он не питал никакого уважения к браку; даже пренебрегал им. Брак для него имел значение, главным образом, внешнее, он рассматривал его с физической стороны. Как помещик, он особенно заботился о том, чтобы у него было более рабочих крепостных рук, почему терпеть не мог в своей вотчине холостых и вдовых крестьян. Обыкновенно 1 января каждого года ему представляли списки их с обозначением лет. Одновременно с этим ему подавался и список девушек, которым он делал смотр. В поданных списках граф собственноручно делал отметки, кому следует вступить в брак. Он также любил, чтобы у него рождались только мальчики, и женщинам, рождавшим девочек, угрожал даже штрафом.

Вследствие такого взгляда на супружество, он выбирал своих фавориток из низшего общественного круга, и сам оставался холостым, несмотря на то, что ему было, как мы уже сказали, около сорока лет. Это обстоятельство сильно беспокоило его мать, которой он был любимым детищем и предметом её гордости. В письмах к нему она употребляла

ла все свое красноречие, чтобы убедить его жениться, но убеждения матери действовали мало.

Много на деятельности графа Алексея Андреевича темных пятен, положенных как современниками, так и потомками, много, как мы уже сказали выше, в тех пятнах незаслуженной им клеветы, но много также и достоверных фактов.

Этими последними он всецело обязан своей слабости к женщинам. При изыскании причин его подчас жестоких и несправедливых распоряжений, его кровавой расправы с подвластными ему людьми, надо применять правило французских криминалистов: «ищите женщину».

Для удовлетворения его болезненной чувственности у него всегда находились под руками женщины, частью среди самой его дворни, частью же на стороне.

Ещё в царствование Павла I он скомпрометировал себя незаконной связью с женой синодского секретаря Пукалова, которая, пользуясь своим исключительным положением, много обделывала делишек в свою пользу.

Пукалов был сын крестьянина и воспитывался в одном училище с сыном помещика Горленки; затем служил сельским писарем и отличался пьянством.

Горленко пристроил его в черниговский почтамт, а потом отправил в Новгород писцом в комиссию для разбора старинных дел. Получив чин, Пукалов перемещен был, по закрытии комиссии, в синод.

Самая женитьба Пукалова устроилась следующим образом: один помещик перед смертью женился на своей любовнице и оставил её дочери все свое состояние.

Наследники подняли дело, но Пукалов уничтожил в местной канцелярии, пользуясь подкупом и своим положением синодского секретаря, метрические книги, единственное доказательство справедливости, и истцы проиграли дело.

Он же, по ранее заключенному условию, женился на незаконной дочери умершего помещика, которая сама сделалась любовницей Аракчеева.

Кроме Пукаловой, у графа было много других наперсниц, которые тоже, конечно, не за-

бывали себя, пользуясь его всемогущим именем.

Несомненно, повторяем, что это была грустная черта в характере Алексея Андреевича, но, увы, он был человек, которому присущи слабости, а это, кроме того, была слабость сильного.

Едва ли за неё можно забрасывать его имя потоками грязи.

Тем более, что граф сам признавал свою позорную слабость, что ярко выражалась в том, что, несмотря на роковое влияние на него женской красоты вообще и некоторых представительниц прекрасного пола в особенности, к женщинам в общем он относился озлобленно: любимой тенденцией его по адресу правнучек праматери Евы было следующее:

— Всякая девка — щенок, а всякий щенок — будущий пес. И всякая-то баба — всегда пес.

Лет десять тому назад, в доме Аракчеева появилась дворовая женщина — горничная и вскоре сделалась барской барыней.

Алексей Андреевич, тогда ещё простой

смертный, но уже любимец великого князя Павла Петровича, жил, однако, как холостой человек.

Поселившаяся на этот раз в его доме новая фаворитка, возведенная в звание экономки, была, как видно, не чета прежним. Она была молода и красива, а главное, хитра и лукава.

Вскоре барин и все люди почуяли, что эту женщину не скоро сменит другая — новая.

И все не ошиблись.

Никакой другой экономке уже не суждено было явиться на смену этой.

Эта новая экономка была Настасья Федоровна Минкина, вскоре ставшая правою рукою во всех делах Алексея Андреевича и первым самым дорогим его другом.

Когда в следующем 1796 году великий князь Павел Петрович, сделавшись уже императором, подарил возведенному им в баронское, а затем графское достоинство и осыпанному другими милостями Аракчееву село Грузино с 2500 душами крестьян, Алексей Андреевич переехал туда на жительство вместе с Настасьей Федоровной и последняя сделалась в нем полновластной хозяйкой, пользуясь

неограниченным доверием имевшего мало свободного времени, вследствие порученных ему государственных дел, всесильного графа, правой руки молодого государя, занятого в то время коренными и быстрыми преобразованиями в русской армии.

XXIX

Грузино

Особые царские милости посыпались на Алексея Андреевича Аракчеева с момента вступления на прародительский престол государя Павла Петровича.

Приехав в Петербург по смерти Екатерины, император тотчас же вытребовал к себе из Гатчины полковника Аракчеева.

Тот прискакал, и как был с дороги, не переодевшись, явился в кабинет нового государя.

Там он застал наследника престола, Александра Павловича.

Павел Петрович тотчас же произвел Аракчеева в генералы и назначил петербургским комендантом; цесаревич же был назначен петербургским военным губернатором.

Павел Петрович приказал им стать рядом, соединил их руки и сказал:

— Будьте же друзьями и помогайте мне!

С этого момента началась дружба Аракчеева с наследником престола, а затем государем Александром Павловичем. Они оба в одно время вышли из кабинета государя.

— Ты весь в грязи, — обратился к Алексею Андреевичу цесаревич, — пойдём ко мне, я тебе дам свою рубашку, перемени.

Впоследствии Аракчеев выпросил эту рубашку себе в подарок и хранил её в Грузии в особом сафьяновом футляре, как святыню.

Затем Павел Петрович, как мы уже знаем, возвел своего любимца сперва в баронское, а затем в графское достоинство и подарил ему село Грузино, принадлежавшее когда-то, по пожалованной грамоте Петра Великого, светлейшему князю Меншикову, и отошедшее вновь в казну, после опалы и ссылки этого вельможи.

Село Грузино находится в восьмидесяти верстах от Новгорода, на берегу реки Волхова. Ближайшая дорога пролегла в то время туда из Соснинской волости, по левому пологому

берегу Волхова. Вообще местность эта на протяжении нескольких верст была самая пустынная и унылая: слева тянулся лес, по краям которого мелькали кое-где корявые дубы, стога сена, паслись кони и разве попадались какие-нибудь богомольцы, шедшие в Тихвин. Самая река также не была оживлена, разве порою проносилась на парусах тихвинка. Тем приятнее был поражен глаз, когда вдали на повороте Волхова начинали показываться и обрисовываться грузинские постройки. Но вот и паром: за рекой видны прекрасные каменные здания.

Название Грузино, по некоторым историческим источникам, местность получила от бывшей здесь пристани, на которой грузились суда. Другие ищут начало этого названия в более отдаленных преданиях; так, протоиерей Малиновский в своем «Историческом описании села Грузина», изданном в 1816 году, говорит: «Сие место, возникнувшее из-под праха и пепла, славится в древности посещением первого в России проповедника Евангелия, святого апостола Андрея Первозванного», и объясняет, что название Грузино

есть измененное Друзино, а последнее произошло от того, что на этом месте святого апостол Андрей Первозванный водрузил свой жезл или посох.

В описываемое нами время в селе Грузине царил образцовый порядок — там сам граф входил положительно во все, и кроме того, за всеми глядел зоркий глаз графской экономки Настасьи Федоровны Минкиной. На улицах села была необыкновенная чистота, не видно было ни сору, ни обычного в деревнях навозу, каждый крестьянин обязан был следить за чистотой около своей избы, под опасением штрафа или даже более строгого наказания.

Господский дом, или, как называли его, дворец, был небольшой, деревянный. На нем с восточной стороны была надпись: «Мал, да покоен». Он стоял в конце глубокого двора, а с остальных трех сторон его окружал роскошный и тенистый сад.

Чистота двора и сада была изумительна.

Любовь к порядку, унаследованная графом Алексеем Андреевичем от его матери, доходила у него до самых ничтожных мелочей.

Не только во время краткого нахождения

Аракчеева не у дел, но и в период бытности его у кормила правления, граф, несмотря на его многосложные обязанности, сопряженные с необыкновенною деятельностью и бессонными ночами, успевал замечать всякие мелочи не только по службе, но и в домашнем быту; он имел подробную опись вещам каждого из его людей, начиная с камердинера и кончая поваренком или конюхом.

По этим спискам поверял он каждый год все имущество, приказывал кое-что переделать, починить или вовсе уничтожить.

Кроме этого, Алексей Андреевич вел ежегодно штрафной журнал, в который аккуратно вписывались все малейшие провинности дворовых людей и крестьян, причем три малых вины считались за одну большую, которая и влекла за собой наказание, отмечаемое графом в отдельной рубрике журнала.

От всех частей и лиц вотчинного управления аккуратный помещик требовал суточных рапортов, которые просматривал лично, хотя бы за его отсутствием из Грузино их накопилось бы большое количество, и клал те или другие резолюции.

Во время таких отлучек Алексея Андреевича из Грузина и пребывания его в Петербурге, ему обо всем происходившем в усадьбе отписывала Настасья Федоровна.

Зная аккуратность своего сановитого возлюбленного, она, как ей это ни было тяжело, выучилась писать, хотя, конечно, далеко не искусно, и в угоду графу, требовавшему, во имя идеи порядка, еженедельных рапортов по всем частям вверенного ей управления своим поместьем, хотя каракулями, но аккуратно отправляла ему собственноручные иероглифические отчеты.

Из сохранившихся и попавших в печать писем видно, что они касались даже разбитой тем или другим из служащих посуды, произведенной у того или другого крестьянина мелкой покражи.

И все это граф внимательно прочитывал, а по поводу всего ему донесенного делал свои распоряжения.

Вот какими мелочами занимался этот государственный человек, но он хотел этим показать, что его хватит на все.

Все это, однако, вместе с тяжестью служеб-

ных дел, влияло сильно на его здоровье — он страдал расстройством всей нервной системы, застоём печени и рефлексивным страданием сердца; от этого происходили его мнительность, недоверчивость, бессонные ночи, тоска и биение сердца.

Хотя вспыльчивость иногда и доводила графа до иступления, но злопамятным и мстительным к людям, ниже его стоящим, он никогда не был. Это подтверждают записки о нем многих близко знавших его людей, даже далеко ему не симпатизировавших.

Граф был необыкновенно впечатлителен; так, при рассказе о какой-нибудь печальной истории, он, бывало, прослезится, но, заметив, что у какой-нибудь десятилетней девчонки дорожка в саду не так чисто выметена, в состоянии был приказать строго наказать её, но, опомнившись, приказывал выдать ей пятак.

Вообще, если он был в хорошем расположении духа, то имел обыкновение награждать исправных хозяек-крестьянок за чистоту пяточками, и эту награду ценили как царскую милость.

Часто, во время бессонных ночей, граф, переодетый и замаскированный, ходил по Грузину, наблюдая за порядками в селе, нравами своих крестьян и выполнением его приказаний.

Таков был владелец Грузина и таковы были порядки в этой, как называли Грузино современники, «столице Аракчеева».

XXX

Настасья Минкина

Как о происхождении, так и о первоначальном знакомстве Алексея Андреевича с Настасьей Федоровной Минкиной, исторические источники говорят и мало, и разно.

Сообщениям М. Бороздина, называющего в своих воспоминаниях Настасью Федоровну женою мелочного торговца в деревне Старая Медведь мещанина Минкина, куда-то незаметно исчезнувшего, после чего она из лавочки перебралась в дом графа и сделалась его сожительницею, и Беричевского, считающего Настасью Федоровну женою грузинского крестьянина, кучера, которого она, когда граф

возвысил её до интимности, трактовала свысока и за каждую выпивку и вину водила на конюшню и приказывала при себе сечь, — нельзя выдавать за вероятное, так как, по другим источникам, Аракчеев сошелся с Минкиной ещё до пожалования ему села Грузина.

Местные простонародные предания представляют дело несколько в ином виде. На расспросы о том, откуда была родом Настасья, старики села Грузина говорят:

— Бог её ведает, откуда она проявилась такая, только не из нашего места была, а дальняя, откуда-то вишь из-за Москвы. В своем месте, как сказывают, спервоначалу просто овчаркой была, овец, значит, пасла; а опосля, как граф её купил, так туман на него напустила и в такую силу попала, что и не приведи Господи.

Из всех рассказов о Настасье можно с достоверностью сказать разве только то, что она была крестьянка, приобретенная Аракчевым путем покупки, и вовсе не была замужем. По словам Н. Отто, отец Настасьи, Федор Минкин, чуть ли не цыган родом, был кучером.

О цыганском происхождении Настасьи Федоровны красноречиво свидетельствует и её наружность.

Ей в то время, когда Алексей Андреевич купил её, было всего шестнадцать лет и она находилась в полном расцвете своей красоты. Её черные как смоль волосы, черные глаза, полные страсти и огня, смуглый цвет лица, на котором играл яркий румянец, её гренадерский рост и дебелость вскоре совсем очаровали слабого до женской красоты Аракчеева.

Кроме своей красоты, Настасья сразу же понравилась графу своею расторопностью и аккуратностью. О ней прежние графские слуги отзывались:

— Нельзя сказать, чтобы она была из лица больно красовита, а смуглая такая из себя, быстроглазая, глаза большие, черные были, как у цыганки, больше проворством и расторопностью брала.

Бойкая и сметливая женщина, Настасья скоро поняла загадочный для других характер своего угрюмого барина, изучила его вкусы и привычки и угадывала и предупреждала

все его желания. Она получила звание правительницы на мызе Аракчеева и благодаря ей здесь водворились образцовые порядки и замечательная аккуратность по всем отраслям сельского хозяйства. Как домоправительнице, при переезде в Грузино Настасье назначено было большое жалованье и она скоро вошла в большую силу при графе.

Таким образом вышло довольно странное и любопытное в то же время явление: простая, необразованная женщина-крестьянка успела подчинить себе железный характер графа, могущественного вельможи в государстве. Последний исполнял все её капризы; так, в угоду ей, например, выстроил дорогой мост через овраг, разделяющий селения Старую и Новую Медведь, для неё же построил особый флигель, с наружною резьбою и зеркальными стеклами, своим изяществом невольно обращавший на себя внимание всякого зрителя, тем более, что остальные постройки Грузинской мызы отличались самою простою архитектурою и даже были окрашены в желтый цвет.

Простой народ никак не мог понять и

разъяснить себе пристрастие богатого и сильного вельможи к простой крестьянке и объяснял это, по-своему, колдовством и волшебством со стороны Настасьи.

До сих пор ещё память этой женщины живо сохранилась в Грузии и передаются из уст в уста разные легенды об этой фаворитке графа Аракчеева.

Так, крестьяне уверяют, будто у Настасьи была какая-то волшебная собачка, которая могла сослужить ей всякую службу. Предания грузинских крестьян и самую Настасью рисуют не иначе как ведьмой или колдуньей. В подтверждение этого крестьяне ссылались на то, что некоторые из доверенных ей мужиков тихонько собирали для неё, по её указанию, каких-то гадов, которых она варила и употребляла как одно из средств ворожбы. По словам некоторых обывателей, к Настасье по временам прилетал змей и нашептывал ей что-то на ухо.

Граф и его экономка, таким образом, относительно были счастливы, но для полноты этого счастья являлась одна помеха... этого не могли дать ни всемогущество, ни власть...

Тридцатилетнему графу Аракчееву хотелось иметь сына, наследника всего, что вдруг получил он по милости государя.

В 1799 году Настасья Федоровна порадовала его и этим. Перед одной из отлучек его на долгое время из Грузина, она объявила ему, что она беременна уже на последнем месяце. Её фигура красноречиво подтвердила её слова.

Веселый и радостный уехал граф в Петербург.

Это было в последних числах сентября.

Здесь ожидала его крупная неприятность по службе, окончившаяся его увольнением. Дело заключалось в следующем. В артиллерийском арсенале хранилась старинная колесница для артиллерийского штандарта. Она была обита бархатом и выложена золотым галуном и кистями. Один артиллерийский солдат, найдя возможным пробраться сквозь довольно редкую решетку окна, обрзал галун и кисти и унес их незаметным образом от стоящего при том здании караула. В то время ни один малейший случай не мог скрыться от императора Павла и Аракчееву,

по званию петербургского коменданта, надо было донести об этом государю. Но Аракчеев поставлен был в затруднение — родной брат его, Андрей Андреевич, командовал тем артиллерийским батальоном, от которого находился караул при арсенале во время случившейся покражи. Однако медлить было нельзя, а приехавший брат чуть не с рыданиями умолял пощадить его. Родственное чувство единственный раз в его жизни взяло верх над служебным долгом и Аракчеев донес ложно государю, что во время происшествия содержался караул от полка Г. Л. Вильде.

Павел Петрович не замедлил исключить Вильде со службы.

Генерал этот, изумленный внезапною немилостью государя, обратился к графу Кутайсову, объяснив несправедливость и клевету Аракчеева. Кутайсов был в то время в ссоре с последним и потому поспешил открыть истину государю.

В тот же вечер был у государя бал в Гатчине.

Аракчеев, ничего не подозревая, явился во дворец, но лишь только Павел завидел его, то

послал через флигель-адъютанта Котлубицкого приказание графу ехать домой.

На следующее утро последовал высочайший приказ, коим граф Аракчеев был выброшен из службы за ложное его величеству донесение.

Приказ этот как громом поразил Алексея Андреевича. Совершенно упавший духом, в страшном отчаянии он поехал к Грузино.

Петербургские враги его торжествовали.

Но на смену печали графа ждала радость. На половине пути к Грузину с ним встретился гонец, который сообщил ему, что Настасья Федоровна благополучно разрешилась от бремени мальчиком.

Восторг графа был неопишум.

Забыта была царская опала, забыто было торжество врагов, и граф в самом радужном настроении прибыл в Грузино и взял в дрожащие от радостного волнения руки своего первенца.

Ребенка окрестили и назвали Михаилом. По выбору Настасьи Федоровны, к нему была приставлена мамка, которую все в доме стали звать Лукьяновной.

После появления Миши Алексей Андреевич стал ещё внимательнее к своей сожигательнице. Он рядил её как любимую куклу и возил по селу и окрестным деревням в щегольском экипаже. Простой народ с удивлением и любопытством смотрел на фаворитку, которую теперь часто стали звать графией.

Аракчеев окружил своего сына необыкновенною заботливостью и, очутившись не у дел, живя вследствие этого безвыездно в своей вотчине, всецело предался устройству своего имения и отцовским радостям.

Так продолжалось до принятия его вновь на службу, уже в царствование императора Александра Павловича 14 мая 1803 года.

Тогда поневоле снова начались долгие служебные отлучки из приведенного, впрочем, в образцовый порядок Грузина.

Роковое открытие

В то время, к которому относится наш рассказ, маленькому Мише уже шел шестой год. Лукьяновна из мамок преобразилась в няньки.

На дворе стояли первые числа мая.

Граф приехал на несколько дней в Грузино.

Гуляя по саду, он вдруг был остановлен прибежавшим ему навстречу Мишей, заливавшимся горькими слезами.

— Что с тобой, Мишук? — нежно спросил его граф.

— Не вели Степану ругаться, его маменька вчера велела выпороть, а он нынче меня из конюшни прогнал, говорит: «Пошел ты, нянькин сын». Какой я нянькин сын, я твой и маменькин... — с ревом пожаловался шустрый мальчуган.

Обидевший ребенка Степан был один из графских кучеров.

Алексей Андреевич побледнел.

«Нянькин сын, что это значит?» — пронеслось в его голове.

Взяв за руку сына, он медленно отправился в дом и, приказав ему идти к матери, сам прошел в свой кабинет.

Это была большая комната с низким потолком. В ней за ширмами стояла кровать, у противоположной стены диван и посреди письменный стол, несколько кресел и стульев дополняли убранство.

Алексей Андреевич тотчас же распорядился послать за Степаном.

Последний явился и был, видимо, слегка под хмельком.

— Ты, ракаля[5], как смеешь обижать моего ребенка и называться его неподобными словами — «нянькин сын» — что это значит?

— Казни потом, батюшка, ваше сиятельство, а дозволю правду тебе молвить, — упал на колени перед графом Степан, — сорвалось по злобе на неё, колдунью проклятую, на твою Настасью...

— Да как ты смеешь, — снова накинулся на него граф, — так называть Настасью Федоровну, которую я уважаю, слышишь ты, я...

уважаю, как мать моего сына...

— Казни потом, а выслушай, — продолжал Степан, стоя на коленях. — Провела она, анафемская душа, твою графскую милость, не твой он сын, а Лукьяновны и впрямь нянькин сын...

— Что-о!.. — заорал Аракчеев. — Доказательства, мерзавец, а не то заporю до смерти...

Граф от клокотавшей в его душе злобы захлебывался словами.

— Сам я, батюшка граф, привозил рожать в усадьбу Лукьяновну, сам и пустой гробик в церковь хоронить носил, а ребеночка Настасья Федоровна за своего выдала... Глашка, горничная её, сказывала, что подушки она подкладывала, чтобы твою графскую милость в обман ввести, вот она какая непутевая, а безвинных людей пороть, на это её взять, прежде пусть на себе лозы испытает...

Граф не слышал последних слов Степана. Он не сел, а буквально упал в кресло и закрыл лицо руками.

Этого он не ожидал: лелеянный им ребенок оказывается ему совершенно чужим, сы-

ном Лукьяновны, подкидывшем. Пьяный кучер разбил все его лучшие мечты и надежды.

Несколько минут в кабинете царила невозмутимая тишина. Степан продолжал стоять на коленях. Наконец, Алексей Андреевич очнулся и захлопал в ладоши.

— Встань! — бросил он одновременно Семену.

Тот повиновался. Явился лакей.

— Позвать ко мне Лукьяновну и Глашку! — отдал граф приказание ему.

Та и другая не замедлили явиться и по произведенной Аракчеевым очной ставке со Степаном сознались во всем и подтвердили его слова.

Дело представилось перед графом в следующем виде. Настасья, узнав о беременности крестьянки одной из деревень Грузинской вотчины, по фамилии Лукьяновой, через преданную ей старуху Агафонию, завела переговоры с этой крестьянкой о том, чтобы взять младенца её к себе в дом графа на воспитание. Бедная крестьянка охотно или неохотно согласилась. После переговоров с Лукьяновой Настасья Федоровна распустила слух о своей

мнимой беременности и разыгрывала эту роль с неподражаемым искусством: она, например, носила подушку, которую постепенно увеличивала для того, чтобы показаться на самом деле беременною. У Лукьяновой родился мальчик. Одновременно с этим распущен был слух о разрешении от бремени Настасьи Федоровны и послан был гонец к графу. Лукьянову взяли в кормилицы к родному сыну, а затем она осталась при нем нянькой. По приказанию же Настасьи Федоровны, в вотчинное управление был написан официальный рапорт о смерти у Лукьяновой новорожденного сына до крещения. Грузинский протоиерей, повинувшись властной графской домоправительнице, похоронил пустой гробик.

Молча выслушал граф показания свидетелей и отпустил их.

Пройдясь несколько раз по кабинету, он отправился к Минкиной.

От всеведущей Настасьи Федоровны не укрылось происшедшее в кабинете графа. Из слов прибежавшего к ней Миши она быстро смекнула в чем дело и приготовилась к встрече своего разгневанного повелителя.

Когда Алексей Андреевич переступил порог её комнаты, она бросилась к нему в ноги, стараясь обнять его колени.

— Прости, соколик мой ясный, прости, желанный мой, из одной любви к тебе, моему касатику, все это я, подлая, сделала, захотелось привязать тебя ещё пуще к себе и видела я, что хочешь ты иметь от меня ребеночка, а меня Господь наказал за что-то бесплодием, прости, ненаглядный мой, за тебя готова я жизнь отдать, так люблю тебя, из спины ремни вырезать, пулю вражескую за тебя принять, испытать муку мученическую... — начала, обливаясь слезами, причитать Настасья Федоровна, стараясь поймать в свои объятия ноги отступавшего от неё графа.

— Замолчишь ли ты, змея подколотная!.. — крикнул граф и хотел ударить её ногою.

В это время Миша, молча наблюдавший эту сцену, бросился между ними и ею.

— Мама, мама!..

Граф отступил, затем схватил ребенка на руки и поцеловал его крепким, долгим, как бы прощальным поцелуем.

Затем он поставил ребенка около продолжавшей лежать ничком и плакать Минкиной.

— Постарайся хотя на деле быть ему настоящей матерью и заслужить это почетное имя, да и мое прощение надо тоже заслужить... — прохрипел граф и вышел.

Настасья Федоровна встала, утерла слезы и улыбнулась довольной улыбкой. Она поняла, что гроза миновала.

Граф удалился в свой кабинет и три дня не выходил из него, а затем уехал в Петербург.

Вскоре, впрочем, все снова вошло в свою колею. Лесть и пронырство Минкиной сделали свое дело и граф вернул ей свое расположение.

Желание Степана не исполнилось; анафемская душа — Настасья не попробовала лоз. Его самого вскоре за какую-то незначительную вину сдали в солдаты. Глашку сослали на скотный двор. Одна Лукьяновна, вследствие любви к ней Миши, избегла мести снова вошедшей в силу и власть домоправительницы.

Только Миша лишился ласк Алексей Андреевича: последний первое время даже не

выносил его присутствия, что Настасья Федоровна хорошо понимала и старалась избавиться от него графа.

Роковое открытие графа, впрочем, не осталось без результата. У него появилось намерение жениться, чтобы иметь настоящего законного наследника, и он стал присматривать себе девушку из своего круга, но безуспешно.

Встреча на Крестовском острове с Натальей Федоровной Хомутовой укрепила это намерение.

Из брошенных вскользь графом слов хитрая Настасья Федоровна проникла и в эти затаенные его мысли и стала готовиться к борьбе с новым врагом своим, который явится в лице законной жены её многолетнего сожителя.

Она понимала, что борьба эта будет трудной, но все же надеялась не остаться побежденной.

Мы увидим впоследствии, ошиблась ли она?

Разбитые мечты

Граф Алексей Андреевич очень быстро сдержал свое слово и не далее, как через день после встречи со стариком Хомутовым и его дочерью на Крестовском острове, приехал с визитом на Васильевский остров.

За первым визитом последовал второй, затем третий, а потом не проходило недели, чтобы высокая, известная всем в Петербурге графская коляска не стояла раз или даже два около коричневого домика на 6-й линии Васильевского острова.

Во время этих, всегда коротких, визитов граф очень мало разговаривал с Натальей Федоровной, всегда выходившей к нему по приказанию родителей, беседуя больше с Федором Николаевичем, и только сладко на неё посматривал и смачно целовал здороваясь и прощаясь протягиваемую ему миниатюрную ручку.

Несмотря на это, старики Хомутовы очень хорошо понимали, с какими намерениями

всесильный граф Аракчеев зачастил в их скромное жилище и благодарили Бога за выпадающую их дочери высокую долю стать женою первого после государя человека в России.

С величайшим почетом и радушием принимали они у себя своего будущего высокопоставленного зятя. Они ни на минуту не сомневались, что он будет этим зятем, хотя граф даже намеком не высказал своих определенных намерений относительно их дочери.

Сватовство Николая Павловича Зарудина отошло естественно на второй план, старик Хомутов на радостях о предстоящей судьбе своей любимицы дочки забыл о нем.

Незаметно пролетели летние месяцы, наступил сентябрь. Павел Кириллович Зарудин, давно заметивший странную перемену к себе в Федоре Николаевиче с тех пор, как ненавистный ему Аракчеев стал посещать их дом, о чем с торжествующим видом передал ему сам Хомутов, все-таки, по настоянию сына, поехал на Васильевский остров узнать решение судьбы молодого влюбленного гвардейца.

— Выбросил бы ты лучше из головы эту блажь, коли туда этот Аракчей повадился, толку, чую я, никакого не будет, — говорил он сыну.

— Что мне Аракчеев, ведь не жениться он собирается на девочке, которая ему в дочери годится, а если он знаком с их семейством, то в этом я беды не вижу, я его считаю далеко не дурным человеком и полезным государственным деятелем, чтобы о нем там ни говорили...

— Недурным человеком, полезным деятелем! — крикнул рассвирепевший Павел Кириллович. — Не за то ли ты его таким считаешь, что он отца твоего из службы выгнал?

— Ну, это была с его стороны ошибка, он был введен в заблуждение, более виноваты те, кто переносил сплетни, а он ведь тоже человек, за всей Россией один не усмотрит, часто и виноватого за правого примет и наоборот, — спохватился сын.

— Человек... не человек он, а зверь... лукавый зверь... И не знаю, какой ворожкой в сердце он цареву влез... Знаешь ли ты, что когда покойный государь Павел Петрович этого

твоего полезного деятеля в 1799 году из службы выбросил, то как нынешний государь Александр Павлович, будучи наследником престола, об этом твоём хорошем человеке отозваться изволил? На вахт-параде в этот день весть об отставке Аракчеева радостно пронеслась между всеми. Великий князь прибыл также до начала развода на плац, подошел к генералу и спросил его: «А слышал ты об Аракчеве, и знаешь, кто вместо него назначен?» — «Знаю, ваше высочество, — отвечал генерал. — Образанцев» — «Каков он?» — «Он пожилой человек, может быть, не так знает фронтовую службу, но говорят добрый и честный» — «Ну, слава Богу, — заметил Александр Павлович, — эти назначения настоящая лотерея, могли бы попасть опять на такого мерзавца, как Аракчев». Вот тебе твой хороший человек и полезный государственный деятель.

— Это сказка, вымысел его врагов, иначе бы он не мог быть другом нашего государя, если бы тот был когда-либо о нем такого мнения! — вспыхнул в свою очередь Николай Павлович.

— Там сказка не сказка, а говорят... — уклончиво отвечал Павел Кириллович.

Разговор перешел на предстоящую поездку последнего к Хомутовым.

— Хорошо, хорошо, завтра съезжу, только повторяю, хорошего не жди ничего. Не из дружбы к старику повадился туда Аракчей, он до баб да девок — ох как падох, бьюсь об заклад, что девчонка защемила ему сердце, если только такое у него есть...

Молодой Зарудин побледнел.

— Грех так надо мной шутить, отец!

— Я не шучу, а чует мое стариковское сердце, заметил я, что сильно за последнее время изменился ко мне его превосходительство Федор Николаевич. Приготовить-то надо тебя к этому, не молчать же мне, да сразу обухом тебя по голове и ляпнуть...

Николай Павлович понял, что отец на самом деле не шутит, и почувствовал, как похолодело у него сердце. Он и сам только возражал ему, теша себя, а тоже не ожидал от предстоящей поездки отца ничего хорошего, но думал, что лучше дурной конец, нежели томительная неизвестность.

Павел Кириллович поехал на другой день. При повороте в 6-ю линию, ему навстречу попался Аракчеев, ехавший, видимо, от Хомутовых. Старик Зарудин счел это дурным предзнаменованием.

— Хуже, ведь, чем попа встретить! — даже сплюнул он.

Федор Николаевич встретил своего старого друга с какою-то особенною торжественностью. Это произошло оттого, что только что уехавший граф Алексей Андреевич в первый раз закинул ему словечко о том, что ему надоела холостая жизнь и он не прочь жениться.

— Ведь молодая-то, пожалуй, и не пойдет? — лукаво спросил граф, взглянув на Талечку.

Та вся вспыхнула.

— За вас-то, ваше сиятельство, за такого молодца, да всякая с радостью! — воскликнул Хомутов.

Дарья Алексеевна горячо подтвердила слова своего мужа. Оба они поняли, что это было почти предложение.

Это-то и было причиной торжественного настроения Федора Николаевича.

После обычных расспросов о здоровье, старик Хомутов не утерпел и заоткровенничал с Зарудиным.

— А у нас, ваше превосходительство, кажись, в доме радость скоро будет!

— Какая? — вопросительно поглядел на него Павел Кириллович.

— Граф Алексей Андреевич не нынче-завтра сделает нам честь и будет просить руки нашей дочери. Он сегодня незадолго до вашего приезда очень прозрачно намекнул об этом.

Зарудин вспыхнул и даже выронил из рук чубук.

— И вы?

— Что же мы, какие же родители откажутся от такого счастья для их дочери?

— Гм! — крикнул Павел Кириллович. — А я, признаться сказать, приехал к вашему превосходительству по поручению сына, вы дали слово.

Федор Николаевич, что называется, опешил, но быстро оправился.

— Какое же слово я дал, ваше превосходительство, я свою дочь в выборе принуждать

не буду, а она о Николае Павловиче и думать забыла, с большим вниманием и интересом к графу относится.

— Оправдываться не беспокойтесь, ваше превосходительство, — раздражительно заметил Зарудин, — я ведь только к слову заметил, а мой сын не будет соперником какому-нибудь Аракчееву.

— Позвольте, ваше превосходительство, какой же он какой-нибудь, когда имеет счастье быть другом государя и первым после него лицом в империи.

Павел Кириллович вскочил.

— Пролаз он, гатчинский капрал, выскочка! — крикнул он.

— Вы забываетесь, ваше превосходительство, — в свою очередь вскочил и крикнул Федор Николаевич: — Я сам...

— И вы сами такой же, ваше превосходительство, по тестю и зять, — уже визгливым голосом прокричал красный как рак Зарудин и, схватив шляпу, бросился в переднюю и, не простившись ни с кем, уехал.

Федор Николаевич пришел в себя от оскорбления только через несколько минут.

— И я хорош, кому все выкладывать вздумал, с радости совсем дурака сваял. Отставной губернаторишка тоже... какой-нибудь Аракчеев... мой сын... Тьфу!

Хомутов сплюнул и вскоре успокоился.

Не так скоро успокоился Павел Кириллович. Как буря влетел он в кабинет нетерпеливо, с бьющимся от волнения сердцем ожидавшего его сына и разом выпалил ему весь разговор с «солдафоном» Хомутовым, как называл его старик.

Град всевозможных ругательств по адресу Аракчеева и Хомутовых сыпался неудержимо из уст рассвирепевшего старика, и это продолжалось бы бесконечно, если бы он не заметил, что его сын, весь бледный, как-то неестественно сидит в кресле.

Старик замолчал и бросился к нему. Николай Павлович лежал в глубоком обмороке. Тотчас же послали за доктором, который привел его в чувство и уложил в постель.

К вечеру у молодого Зарудина открылась сильнейшая нервная горячка. Около постели больного, кроме старика отца, все свободное время от службы проводил Андрей Павлович

XXXIII

Мечты Талечки

Наталья Федоровна, со своей стороны, тоже очень скоро догадалась, что, значит, и к чему клонятся такие частые посещения их дома графом Аракчеевым.

Не ускользнули от неё и его взгляды и выразительные поцелуи руки.

После же последнего визита графа, когда он сделал такой прозрачный намек, она окончательно поняла, что догадки её справедливы.

Первое время эта мысль просто испугала её.

Почти всегда угрюмый, некрасивый лицом, казавшийся далеко старше своих лет и говоривший в нос, граф Алексей Андреевич не мог, понятно, представлять идеала жениха и любимого мужа для восемнадцатилетней цветущей девушки, каковой была Талечка.

Вскоре, впрочем, мысли молодой девушки приняли другое направление.

С одной стороны она пришла к убеждению, что сватовство графа является единственным средством для неё выйти победительницей из заданной ею себе трудной задачи — отказаться навеки от любимого человека, в угоду своей подруги, вследствие данной ей клятвы.

Не о ниспослании именно такого средства она горячо молилась ещё так недавно. Бог, видимо, услышал эту молитву. Он не внял лишь другой. Он не вырвал из её сердца любви к Зарудину и разлука с ним все продолжала терзать это бедное сердце, что, впрочем, она не выказывала ни перед кем, упорно продолжая избегать даже произносить его имя, и в чем она старалась не сознаваться даже самой себе.

Таким образом, появление в их доме графа Аракчеева казалось для фанатично-религиозной Натальи Федоровны посланной ей помощью свыше, а сам граф — орудием божественного промысла.

В этом смысле она благоговела перед Алексеем Андреевичем.

С другой стороны, она столько слышала о

графе Аракчееве, о его служебной карьере, о быстром возвышении из простого артиллерийского офицера до друга и правой руки двух государей, что стала невольно сопоставлять его имя с понятием о великом историческом деятеле.

Отец и мать за последнее время восхваляли при ней его на все лады, как человека и как верного слугу государя, восторгались его государственною деятельностью, направленною исключительно ко благу России, говорили, наконец, о его богатстве, о необычайных порядках, которые он завел в своем обширном поместье Грузине.

Последнее мало интересовало Талечку, но первое произвело на неё сильное впечатление.

«Сделавшись женой такого человека, — думала Талечка, — сколько можно сделать добра и добра не единичного, того добра, о котором говорила м-лле Дюран, и которое так увлекательно проповедовал Николай Павлович».

При последнем воспоминании Наталья Федоровна глубоко вздохнула.

«Сколько можно сделать общего добра всему народу, влияя на человека, в руки которого доверием государя вручена судьба этого народа, — продолжала мечтать она далее, — я буду мать сирот, защитница обиженных и угнетенных, мое имя будут благословлять во всей России, оно попадет в историю, и не умрет в народных преданиях, окруженное ореолом любви и уважения».

В таких радужных красках представлялась экзальтированной по воспитанию молодой девушке её будущая деятельность по выходе замуж за графа Аракчеева.

В этом смысле она даже стала любить его.

Дарья Алексеевна чутким материнским сердцем угадывала, что происходит в сердце и в уме её дочери и, действуя умно и тактично, не задавала преждевременно прямого вопроса о согласии Талочки на брак с графом, даже после ясного намека последнего. Своему мужу она строго настрого наказала действовать точно так же.

Она понимала, что лучше всего предоставить в этом случае действовать течению времени и событий.

Время, между тем, шло. Прошло уже несколько месяцев, граф продолжал бывать, но не повторял даже намека.

Хомутова стала недоумевать. Федор Николаевич даже однажды высказал свое сожаление о разрыве с Зарудиным.

Дарья Алексеевна рассердилась.

— Вздор болтаешь. Графиней Талечка будет. Он человек серьезный, не вертопрах, не мальчишка какой-нибудь, понимает чай тоже, что жениться не сапог надеть, с ноги не сбросишь. Со своей воздаhtarшей Настасьей хочет, может, исподволь разделаться.

— Говорят, у него от неё сын?

— Что же что сын, незаконный — не сын, обеспечит.

Дарья Алексеевна ушла, видимо, не желая продолжать разговора на эту тему.

Федор Николаевич решил все-таки, когда граф сделает дочери предложение, стороной и деликатно спросить его об этой Настасье. Наступил первый день нового 1806 года.

Граф Алексей Андреевич приехал к Хомутовым прямо после приема во дворце, в полной парадной форме.

— С новым годом, с новым счастьем! — приветствовал он стариков Хомутовых и вышедшую в гостиную Талечку.

— С новым годом, с новым счастьем и вас, ваше сиятельство, — почти одновременно отвечали Федор Николаевич и Дарья Алексеевна.

— Мое новое счастье зависит от вас и ещё от одной особы, — торжественно произнес Аракчеев, кинув выразительный взгляд на Талечку, сидевшую на диване около матери, — желал бы иметь сепаратное объяснение.

Старики удалились с графом в кабинет.

Талечка, как сидела, так и замерла на месте. Сердце у неё упало, в глазах потемнело.

Её вызвал к действительности голос матери, звавший её присоединиться к ним.

Шатаясь, встала она с дивана и почти бессознательно вошла в кабинет.

— Граф Алексей Андреевич, — торжественным тоном заговорил Федор Николаевич, — сделал нам великую честь и просит твоей руки, мы с матерью согласны, согласна ли ты?

Наталья Федоровна сперва вспыхнула, а

потом вдруг страшно побледнела.

Несколько секунд продолжалось молчание.

— Согласна! — чуть слышно, наконец, произнесла она, и если бы мать не поддержала её, рухнула бы на пол.

С ней сделалось дурно.

— Счастье-то неожиданное нелегко дается, ваше сиятельство! — заметила Дарья Алексеевна, уводя из кабинета почти бесчувственную невесту.

Федор Николаевич с графом остались вдвоем.

Прямой и откровенный старик счел своим долгом рассказать будущему зятю о сватовстве Зарудина и о разрыве с ним, не скрыв даже подробности более полугода тому назад происшедшего домашнего романа, окончившегося болезнью его дочери.

Хомутов думал вызвать этою откровенностью Алексея Андреевича тоже на откровенность, но ошибся.

Выслушав его рассказ, граф издал только какой-то неопределенный звук, но молчал.

Федор Николаевич решил вывести сторо-

ною.

— Слышал я, ваше сиятельство, что у вас в Грузии экономка хорошая, — начал он.

Аракчеев вскинул на него почти гневный взгляд.

— Экономка... да экономка хорошая, лучше не сыскать... А что в прошлом было, теперь кончено, — буркнул он.

Разговор оборвался, но Хомутов все-таки отчасти успокоился. В кабинет вернулась вместе с матерью оправившаяся Талечка и на предложенный уже лично графом вопрос, вновь выразила свое согласие быть его женою.

Он крепким и долгим поцелуем поцеловал её руку, протянутую в знак этого согласия.

Вскоре он простился и уехал.

Ликованию стариков Хомутовых не было предела. Наталья Федоровна, сожгла свои корабли, и была, по-видимому, покойна и довольна.

Мечты о предстоящей ей благотворной для народа деятельности не покидали её восторженной головки.

Ей не приходило на мысль, что на откры-

вавшейся ей дороге может неожиданно стать дочь этого народа. О существовании Настасьи Минкиной она не имела никакого понятия.

Несмотря на то, что граф очень спешил свадьбой, все же на приготовление к ней потребовалось более месяца.

Хомутовы тянулись изо всех сил и средств, чтобы сделать их дочери, будущей графине, первой даме в империи, после государыни, великолепное приданое.

Наконец, 6 февраля 1806 года, состоялась свадьба царского любимца, графа Алексея Андреевича Аракчеева с дочерью генерал-майора Натальей Федоровной Хомутовой.

Венчание происходило в Сергиевском артиллерийском соборе и совершилось с необычайной помпой; в церкви присутствовал сам государь Александр Павлович и все придворные и высокопоставленные лица империи.

Толпы народа теснились на прилегающих к собору улицах и встречали и провожали как государя, так и его любимца восторженными кликами.

В день свадьбы девица Хомутова получила фрейлинский шифр. После же венчания гра-

финя Наталья Федоровна Аракчеева была пожалована орденом святой Екатерины II степени.

Все предвещало ей радостное будущее, те мечты, для осуществления которых она сделала такой решительный шаг, казалось ей, уже начинали сбываться.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Две графини

I

На волосок от смерти

Весть о женитьбе графа Аракчеева с быстротою молнии облетела не только Петербург, но и всю Россию.

На Николая Павловича Зарудина известие это произвело, сверх его ожидания, впечатление громового удара.

Ему за последнее время казалось, что он совершенно свыкся с мыслью, что Талечка, как он продолжал мысленно называть её, потеряна для него навсегда.

К тупой боли, оставшейся у него в сердце, он привык, как к чему-то совершенно нормальному, и не обращал на неё внимания.

Между тем, это успокоение оказалось, увы, лишь призрачным — надежда, эта кроткая, но вместе с тем и коварная посланница небес, хотя и незаметной маленькой искрой теплилась в сердце молодого гвардейца, и как жи-

вительный бальзам умеряла жгучую боль разлуки.

Когда же эта искра потухла, когда предположение о том, что любимая девушка сделается женою другого, стало совершившимся фактом, Зарудин понял, чем в его жизни была Наталья Федоровна Хомутова, и какая пустота образовалась вокруг него с исчезновением хотя отдаленной, гадательной, почти призрачной возможности назвать её своею.

Он получил это ошеломившее его известие в форме пригласительного билета присутствовать при бракосочетании графа Алексея Андреевича Аракчеева с дочерью генерал-майора Натальей Федоровной Хомутовой, имеющем произойти в шесть часов вечера 4 февраля 1806 года в Сергиевском артиллерийском соборе.

Он вскрыл этот роковой конверт, вернувшись со службы 3 февраля.

«Ещё насмехается, за что же, за что?» — пронеслось в его голове, и он в изнеможении скорее упал, нежели сел в кресло. Вся кровь прилила ему к голове, перед глазами запрыгали какие-то зеленые круги. Мысль, что при-

гласительный билет прислала ему его Талечка — счастливая невеста другого, жгла ему мозг, лишала сознания.

Он сидел, понунив голову, и картины будущего, одна другой безотраднее, медленно разворачивались перед его духовным взором.

Он думал, припоминая подробности свиданья с Натальей Федоровной в прошлом году на Васильевском острове, что она все-таки любит его, что только как неисправимая идеалистка — он так дорожил именно этим её качеством — приносит его в жертву любви к своему другу Кате Бахметьевой. Он получил вскоре после своего выздоровления анонимное письмо, в котором говорилось именно это, и Зарудин, сопоставив содержание этого письма с ходатайством Талечки перед ним за свою подругу, с её смущением после сорвавшегося с его губ признания, поверил даже анониму. Ему, впрочем, так хотелось верить. Тогда и брак её с Аракчевым получал в его глазах иную окраску, являясь самопожертвованием восторженной идеалистки, быть может, направленной на этот путь постороннею волею — волею её родителей.

О, тогда он готов бы преклониться перед ней, даже супругой Аракчеева, готов был издали обожать её и ждать, когда судьба доставит ему случай доказать ей делом свою безграничную преданность и любовь, свято хранить для неё, для неё одной, те перчатки, которые он получил при поступлении в масонскую ложу, принятие в которую должно было состояться на днях.

А теперь? Если она теперь присылкой этого билета так безжалостно глумится над известным ей его чувством, значит, она никогда не любила его, значит, она довольна сделанной ею блестящей партией, значит, она такая же... как и все!

А быть может, и хуже, — неслось далее в его разгоряченном воображении, — быть может, она, готовясь произнести клятву верности перед церковным алтарем своему будущему нелюбимому мужу, подготавливает себе из любимого человека... друга дома...

Николай Павлович даже как-то гадливо махнул рукой при этой мгновенно появившейся в его голове мысли... и тотчас же сам остановил себя.

«Нет, это уж я клевету на неё. Что бы сказал Кудрин, угадав эту мою мысль? Он всё ещё продолжает благоговеть перед ней... считает её „не от мира сего“. Этим он объясняет отказ её от личного счастья с ним, Зарудиным, и принесение себя в жертву народной пользе, как он называет её брак с всемогущим временщиком...»

«Он не прав, он её идеализирует! — мысленно возражает он самому себе. — Доказательство этого, роковой билет, присланный, несомненно, ею, так как не граф же Аракчеев пришлет приглашение на свадьбу сыну своего врага, лежит перед ним на письменном столе... Значит, прав он, Зарудин, а не Кудрин».

В отчаянии он схватился за голову.

«Зачем же ему жить? Какая теперь цель его жизни? Была одна — поклонение ей, служение обществу во имя её, принесение себя в жертву для неё... а теперь... путеводная звезда потухла, кругом пустота, тьма... надо и идти... во тьму...»

Николай Павлович встал, как бы успокоенный этой мыслью, и медленно начал ходить

взад и вперед по своему кабинету.

Складки на его красивом лбу делались все глубже и глубже, в его голове, казалось, созрела какая-то роковая мысль. В лице появилось выражение отчаянной решимости. Он подошел к дверям кабинета, плотно прикрыл обе половинки и запер на ключ. Затем подошел к письменному столу, отпер один из ящичков, вынул продолговатый футляр, оклеенный темно-зеленым шагренем и открыл его. В нем оказались пара пистолетов, пули и пистоны. Медленно, не торопясь вынул Николай Петрович один из них, особенно тщательно стал рассматривать лежащие в особом отделении футляра пули, перебрав несколько штук, как-то любовно взвешивая их на руке. Наконец, на одной из них остановил он свой выбор и положил её около пистолета; ещё внимательнее стал он осматривать находившиеся в футляре, в особой коробочке, пистоны, долго вглядываясь во внутренность каждого. Одним из них он остался, видимо, доволен, положил его на стол, рядом с пулей и, закрыв футляр, снова запер его в ящик письменного стола.

Несколько минут он, как бы что-то припоминая, простоял около письменного стола, почти бессмысленно оглядывая сделанные им приготовления, затем быстрыми шагами подошел к турецкому дивану, над которым на ковре развешены были принадлежности охоты и разного рода оружие, снял пороховницу, вынул из ягташа[6] паклю для пыжа и также быстро вернулся к столу. Здесь он аккуратно отвинтил крышку пороховницы, служащую и меркой для пороха, насыпал в неё последний и стал осторожно сыпать его в дуло пистолета, затем вложил пулю, снова внимательно осмотрев её и шомполом забил пыж. Зарядив таким образом пистолет, он завинтил пороховницу, повесил её на прежнее место и, возвратившись к письменному столу, сел в кресло.

С минуту он сидел неподвижно, потом взял в левую руку пистолет, взвел курок, долго осматривал затравку и, убедившись, что она наполнена порохом, осторожно надел пистон.

Переложив пистолет в правую руку, он левой взял стоящий на его письменном столе

небольшой акварельный портрет в синей бархатной рамке и с каким-то благоговением поднес его к своим пересохшим от внутреннего волнения губам. На портрете была изображена красивая полная шатенка, с необычайно добрым выражением карих глаз, и с чуть заметными складочками у красивых губ, указывающих на сильную волю — это была покойная мать Николая Павловича Зарудина, умершая, когда он ещё был в корпусе, но память о которой была жива в его душе, и он с особою ясностью именно теперь припомнил её мягкий грудной голос, похожий на голос Талочки, и её нежную, теплую, ласкающую руку.

Воспоминания раннего детства зароились в его голове, и как бы отдавая дань этим воспоминаниям, две крупные слезы скатились по его щекам. Восторженно припав к губам портрета, он стал покрывать его несчетными поцелуями.

— До свидания, родная! До скорого свидания! — шептали его губы.

Он весь выпрямился, как бы делая над собой невероятное внутреннее усилие, осто-

рожно поставил потрет на место и, откинувшись в кресло, поднес дуло пистолета к правому виску. Холод прикоснувшегося к телу металла заставил его нервно содрогнуться — он отнял пистолет.

— Мальчишка... трус... — озлился он на себя и снова поднес пистолет к виску.

В соседней комнате раздался шум поспешных шагов. Зарудин вздрогнул и спустил курок.

Выстрел грянул, но в это самое мгновение обе половинки запертых дверей от напора сильной руки распахнулись. В волнении Николай Павлович забыл задвинуть шпингалеты.

На пороге кабинета стоял Андрей Павлович Кудрин.

Окруженный облаками порохового дыма, откинувшись окровавленной головой на спинку кресла, недвижимо лежал Зарудин. ещё дымившийся пистолет валялся на ковре.

В левом углу кабинета лежала свалившаяся с мраморной тумбы и разбившаяся вдребезги гипсовая статуя Аполлона.

«Он умер!» — было первою мыслью Андрея

Павловича, но, подбежав к полулежавшему в кресле Зарудину и схватив его за руку, услышал учащенное биение пульса. Его друг оказался лишь в глубоком обмороке. Испуганный раздавшимися шагами и напором в дверь, несчастный поспешил спустить курок, но рука дрогнула, дуло пистолета соскользнуло от виска и пуля, поранив верхние покровы головы и опалив волосы, ударила в угол, в стоявшую статую.

На шум выстрела прибежали люди и испуганный насмерть старик Зарудин. Раненого уложили в постель, и явившийся доктор объявил, что это не рана, а царапина. Получив щедро за визит, он изъявил свое согласие сохранить в строжайшей тайне это происшествие.

«Я пришел вовремя! Он был на волосок от смерти. И с чего это ему вздумалось... Сумасшедший!» — мысленно рассуждал и спрашивал себя Андрей Павлович.

У постели друга

— С чего это ты, дружище? — укоризненно мягким тоном заговорил Андрей Павлович, когда, после прекратившейся суматохи, после того, как Павел Кириллович, лишившийся чувств при виде окровавленного сына, которого он счел мертвым, удалился к себе в кабинет, и молодые люди остались одни.

Старика общими усилиями прибывшего доктора и Кудрина с трудом привели в чувство и с трудом же объяснили, что жизнь его сына вне опасности и что даже, по счастливой случайности, веки правого глаза лишь слегка опалены.

Понятно, что ранее упавшего в обморок отца Андрей Павлович и доктор занялись контузившим себя сыном и он был бережно уложен в постель с тщательно сделанною перевязкою.

Доктор оставался до тех пор, пока Николай Павлович не пришел окончательно в себя и

сперва помутившимся, а затем и более сознательным взглядом обвел комнату и присутствующих, остановившись на Андрее Павловиче, и этот взгляд принял почти укоризненное выражение.

— Плохую ты службу сослужил мне, помешав покончить с моей, никому не нужною жизнью, — не отвечая на вопрос, грустно проговорил молодой Зарудин.

— Эту, брат, песню я от тебя слышал не раз и меня ты ею не удивишь, что ты там ни говори, я сердечно рад, видя тебя хотя по-прежнему с шалою, но все же целой головой. Быть может, я продолжаю ещё твердо надеяться, что эта твоя контузия принесет тебе пользу, послужит уроком и вернет тебя в твое нормальное состояние.

Николай Павлович покачал головой и хотел заговорить, но Кудрин не дал ему вымолвить слова и продолжал:

— Что ты ненормален, в этом никто не может сомневаться, с этим согласишься и ты впоследствии. Разве нормально, разве разумно хотя бы твое настоящее заявление о том, что ты сожалеешь, что тебе помешали покон-

читать с твоею никому, по твоему мнению, не нужною жизнью?

— А чем же это не разумно? Разумно все то, что существует. Положения же, при которых человеку не остается ничего, кроме пули, несомненно существуют, следовательно, и выход этот вполне разумен, — горячо возразил Зарудин.

— Ничуть... Во-первых, положение твое, что все то разумно, что существует, касается только существующего в природе, а не созданного людьми и их отношениями; в последнем случае в большинстве только и существует неразумное, а во-вторых, в каких бы обстоятельствах человек ни очутился, он не имеет никакого права посягать на то, что ему не принадлежит.

— То есть что же мне не принадлежит?

— Да жизнь, дружище, твоя собственная, как неверно привыкли говорить люди, жизнь... Она дана тебе божественной волею и ею только может быть отнята, это вообще, если речь идет о жизни человека, но, кроме того, каждый из нас гражданин и, наконец, воин, мундир которого ты носишь... а следова-

тельно, наша жизнь принадлежит человечеству, народу, государству, но далеко не лично нам.

— Очень нужна массе единичная жизнь, она исчезнет незаметно, никто и не вспомнит об исчезнувшем.

— Может быть, и так. Но ведь из единицы и составляются массы. Если ты имеешь право рассуждать так, то почему же не имеет на это право другой, третий и так далее... Но не в этом дело. Сперва ответь мне, что такое случилось со вчерашнего дня, когда мы виделись и так душевно беседовали с тобой, что ты решился на такое попирающее и божеские, и человеческие законы преступление, как самоубийство?

— Разве ты не видал, что лежит у меня на письменном столе?

Андрей Павлович встал с кресла, пододвинутого им к кровати, вышел в кабинет и тотчас же вернулся, держа в правой руке розовый пригласительный билет на свадьбу графа Аракчеева.

— Это? — улыбаясь, спросил он, садясь в кресло.

— Это самое! Но чему же ты смеешься?

Николай Павлович с жаром стал передавать своему другу пережитые им нравственные страдания после получения этого клочка бумаги, мысли, которые теснились в его голове, постепенное, но быстрое возникновение в его мозгу идеи немедленного самоубийства, как естественного и единственного выхода из его безотрадного существования, без надежды, без будущего.

Кудрин внимательно слушал, не перебивая исповеди своего друга. Когда он кончил, Андрей Павлович несколько минут молча смотрел на него.

— Видишь, ты молчишь, значит, тоже находишь, что я прав? — раздраженно заметил Зарудин.

— Нет, я думаю, что прав не ты, а я, всегда говоривший тебе, что не следует ни создавать себе мнения о людях, ни тем более действовать под впечатлением минуты, не обсудив всегда ранее обстоятельства дела, а между тем, ты, видимо, совершенно не излечим от этого крупного недостатка твоих мыслительных способностей. Возьмем хоть настоящий

случай: ты приписал Наталье Федоровне поступок, совершенно не вяжущийся со всем её нравственным обликом, который ты достаточно изучил, и которому ты даже искренно поклонялся. И заметь, ты проделываешь это с нею уже не один раз, помнишь историю с запиской? Тебя не поймешь, нынче у тебя кумир, недостижимый идеал, а завтра ты его собственноручно бросаешь в грязь и топчешь ногами.

— Но кто же, как не она, прислал мне этот билет, это приглашение? Кто? Ведь не сам же граф.

— Не сам, это-то верно, — улыбнулся Кудрин, — но и не Наталья Федоровна.

— Так что же, он с неба, что ли, ко мне свалился?

— Нет и не с неба, да ты и не стоишь, чтобы тебе что-нибудь свалилось с неба. А попал он к тебе так же, как попал и ко мне. У меня на столе лежит точно такой же.

— У тебя?

— Да не у одного меня, а у всех офицеров гвардии, находящихся в Петербурге, они разосланы по приказанию начальства...

— Вот как! — упавшим голосом пробормотал Николай Павлович.

— Вот как! — передразнил его приятель.

— Какая же я на самом деле дрянь!..

— Опять крайности, ты просто до безобразия расшатал свои нервы и можешь дойти до полного психического расстройства, если не примешь серьезных мер. В подобных случаях единственным врачом самому себе является сам человек.

— Нет, дружище, я неизлечим, или лучше сказать, я не болен, я просто нравственно негодный человек, думавший найти поддержку, стыдно сказать, в... женщине... Впрочем, эта женщина, эта девушка неизмеримо выше и чище меня... Но Бог не судил мне и этого исхода... Пусть ты прав, она любит меня, она самоотверженно, подобно героиням классического мира, принесла свою любовь в жертву дружбе... Тем хуже, я сильнее сознаю, что именно я потерял в ней... но все же потерял, потерял окончательно... и одинок, совсем одинок... Зачем же мне жить?

— Странный взгляд... — начал было Кудрин, но вдруг замолк и опустил глаза, честно

и прямо устремленные на друга.

Он хотел было разразиться против Зарудина целой филиппикой на тему о том, что женщина не вещь, что она не может быть всецело собственностью мужчины, что слова «моя», «принадлежит» и «потеряна» недостойны развитого человека, что любовь чистая, братская, дружеская любовь может быть совершенно честно питаема и к замужней женщине, не оскорбляя ни её, ни её мужа, что отношения к женщинам не должны ограничиваться лишь узкою сферою плотского обладания, что, наконец, это последнее должно играть наименьшую роль среди людей развитых, образованных. Но Андрей Павлович вспомнил, что любимая его другом девушка обратится в графиню Аракчееву и понял, что на самом деле она потеряна для Зарудина не только как женщина, но и как друг.

Возражение, которое он готовил своему другу, замерло на его устах.

— Быть может, ты и прав... — начал он снова, и в голосе его зазвучали более серьезные ноты. — Но я все-таки доволен, что удержал тебя от самоубийства, если жизнь, на са-

мом деле, не представляет для тебя ничего в будущем, то кто же тебе мешает искать смерти, но не бесполезной, здесь, в кабинете, где пуля разбила бы тебе голову точно так же, как разбила твоего гипсового Аполлона, а там, где твоя смерть может послужить примером для других, может одушевить солдат и решить битву, от которой зависят судьбы народов. Иди на поле брани, подыми свой меч на защиту гражданской свободы, против полчищ того изверга человечества, который, прикрывшись тогой этой гражданской свободы, сбросил маску и стал представителем худшей из тираний — тирании военной... Твое положение, твой мундир дают тебе для этого полное право и полный простор, скажу более, обязывают тебя к этому. Просись в действующую армию.

Николай Павлович, казалось, пожирал восторженным взглядом своего друга. На лице его появилось выражение какого-то спокойствия, отчаяния и отчаянной решимости. Он даже приподнялся в постели на локте левой руки, а правую протянул Кудрину.

— Спасибо, друг, ты образумил меня, я еду

в армию, и да будет надо мной воля Божья... Я буду искать смерти, но если не найду её, то... останусь жить...

— Но прежде мне хотелось бы, чтобы ты сделался моим духовным братом... это вдохнет в тебя силу, внесет в твою растерзанную душу примирение с людьми и с самим собою...

— Я сам хотел просить тебя об этом. Я уеду не иначе, как масоном...

Разговор перешел на эту последнюю тему. Кудрин говорил почти один.

Николай Павлович слушал его рассеянно, не будучи, видимо, в состоянии отделаться от гнетущей мысли и даже раз перебил его вопросом:

— А ты поедешь?

— Куда?

— По приглашению...

— Нет, я в карауле... этот день... — сквозь зубы пробормотал Андрей Павлович и встал прощаться.

— Спи и ни о чем не думай... Думами ничего не переделаешь... а будущее — дело Бога!..

III

Европейские осложнения

Отношения наши с Францией при вступлении на престол императора Александра Павловича были миролюбивы: формальный трактат о мире был подписан в октябре 1801 года. Но мир с Францией не мог продолжаться долго, потому что первый консул Бонапарт с каждым годом делался заносчивее с государями и опасным для спокойствия Европы.

Англия, вынужденная обстоятельствами заключить с Францией невыгодный мир в Амиене, теперь не думала выполнять его условия: англичане по-прежнему занимали мыс Доброй Надежды, Мальту и Александрию; английские журналы подсмеивались над первым консулом, а государство готовилось к войне. После того, как Наполеон велел арестовать всех англичан во Франции и Голландии, Англия объявила ему войну.

Нашим послом в Париже был граф Марков, человек гордый, вспыльчивый и, притом, враг Наполеона. Между ним и Наполеоном не

раз происходили сцены; однажды, после грубой выходки Наполеона, Марков повернулся к нему спиной и уехал. Когда Маркова отозвали, Наполеон стал придираться к нашему чиновнику Убри, оставленному в Париже вместо Маркова; кроме того, он настаивал и на удалении нашего чиновника при русской миссии из Дрездена. Становилось ясным, что Наполеон желает разрыва: до нас дошли слухи, что французские агенты подстрекают турок. Тогда Россия вступила в тайные переговоры с европейскими державами. Когда Наполеон велел расстрелять невинного герцога Ангиенского, император Александр приказал служить по нем траур и подал протест. Дерзкие ответы первого консула произвели полный разрыв, и русское посольство было отозвано из Парижа, а французское из Петербурга.

Это было в половине 1804 года.

Между тем, Наполеон торжественно наложил на себя императорскую корону. Когда Австрия и Швеция начали вместе обсуждать, какие лучше принять меры для обороны, император Александр привлек сюда и Англию, — в

марте 1805 года она заключила с Россией союзный контракт. Узнав об этом, Наполеон предложил Англии мир. Союзники хотели покончить дело миролюбиво и с этой целью предлагали Наполеону даже некоторые уступки, как вдруг он нарушил люневильский договор, присоединив к Франции Генуэзскую республику и отдав Лукку своей сестре Елизе, принцессе Баччиоки. После этого и осторожный австрийский император поспешил вступить в переговоры о союзе с Россией и Англией, и в июле 1805 года Россия уже утвердила составленный в Вене план военных действий. По этому плану Австрия обязывалась выставить армию в 30 000 человек, Россия должна была выслать 115 000, а Англия, как не имеющая сухопутного войска, обязывалась выплатить полтора миллиона фунтов стерлингов и три миллиона стерлингов ежегодной субсидии.

Россия стала деятельно приготавливаться к войне; комплектовались армии, заготавливались боевые снаряды и провианты; в Туле и Сестербеке, например, заготавливали ружья на всю армию; чтобы не вздорожали жизненные

припасы, запрещено было вывозить за границу рожь и овес. В августе большая часть нашей гвардии выступила уже из Петербурга под начальством великого князя Константина Павловича. У прусской границы армия наша должна была остановиться, потому что Пруссия строго держалась нейтралитета и ни за что не хотела пропустить союзные войска через свои владения. Александр Павлович избегал войны с Пруссией, но честь России считал выше всего и не желал унижить достоинства её в самом начале похода; могли говорить, что русский государь дошел со своей армией до границы и должен был отступить по воле прусского короля; поэтому он сам отправился в Берлин для личных переговоров с Фридрихом-Вильгельмом и, в случае упорства, думал даже объявить ему войну. Из Брест-Литовска (бывшего тогда на границе нашей с Австрией и Пруссией) он отправил в Берлин генерал-адъютанта Долгорукова с приказанием оставаться там не более суток, а в ожидании ответа, производил смотры войскам и повелел сформировать резервную армию, которая должна была расположиться

вдоль всей нашей границы с Пруссией и Австрией.

Вдруг сами французы помогли делу: Бернадот, чтобы выиграть один или два перехода к Дунаю, с французской армией прошел через графство Аншпах и этим нарушил прусский нейтралитет. Известие об этом взволновало Берлин: армия и народ заговорили о мести; тогда Фридрих-Вильгельм, подчинившись общему влечению нации, дозволил армии Кутузова вступить в прусскую Силезию; вскоре император Александр отправился в Берлин, и свидание его с Фридрихом-Вильгельмом положило начало их многолетней дружбе. У гроба Фридриха Великого государи дали друг другу слово взаимно поддерживать один другого.

Между тем, Наполеон, не зная, как нанести удар Англии, обратил свои силы на её союзников: во главе двухсоттысячной армии он устремился от Рейна на Вену самым кратчайшим путем. Главные силы австрийцев, под начальством эрцгерцога Карла, находились тогда в Италии, 40 000 армия дожидалась на Дунае прибытия русской армии, двинутой к

Баварии; начальствовал ею брат императора Франца, эрцгерцог Фердинанд. Не желая назначить главнокомандующим союзной армии Кутузова и не желая, с другой стороны, обидеть его назначением генерала Маака, австрийское правительство поручило армию двадцатичетырехлетнему брату императора, но с тем, чтобы всем распоряжался генерал Маак; бланковые подписи императора делали его самостоятельным: он мог не стесняться действиями и поступать по своему усмотрению, но Маак был человек неспособный, и сами немцы говорили, что имя его (Маакаh) еврейски значит поражение. Пока австрийские стратеги педантично, с циркулем в руках рассчитывали, что Наполеон до Дуная должен будет идти не менее 64 дней, Наполеон явился через 40 дней, отрезал Маака от спешивших к нему русских войск, окружил в Ульме и заставил его с пятьюдесятью тысячами сдать на капитуляцию. Только эрцгерцог с кавалерией, преследуемый по пятам французами, успел уйти в Богемию, да Кантемир с 8-10 тысячами, успел присоединиться к Кутузову.

Кантемиру Маак поручил стеречь мосты на Дунае и Ааре; после слабой попытки удержать мосты от наступающей массы неприятелей, он должен был поспешно отступить на Мюнхен.

Австрийские войска были разобщены, разбросаны в разных местах, дрались вообще дурно, а Пруссия, по мнению Наполеона, не могла скоро начать неприятельские действия против него, поэтому он поспешил к Вене, чтобы этим ещё более парализовать деятельность Пруссии. Когда Кутузов дошел до Браунау (на Инне), армия его оказалась чересчур усталою, потому что по мере опасности, угрожавшей Мааку, венский двор торопил Кутузова, который и без того заставлял пехоту делать по 50–60 верст в сутки. Хладнокровный и осторожный Кутузов оставался несколько времени на Инне и здесь выжидал, пока выяснятся намерения Наполеона, чтобы с ними сообразить свои действия.

Когда сделалось ясным, что Наполеон спешит против него с стотысячной армией, Кутузов приказал вывозить из Браунау больных, парки и артиллерию, уничтожить все пере-

правы на реке, не забывая в то же время хладнокровием и даже веселостью оживлять дух жителей и чиновников; затем начал медленно отступать к Вене.

Командование отдельными отрядами Кутузов вручил храбрым генералам Багратиону, Витгенштейну, Ермолову и Милорадовичу, имена которых несколько позже сделались знаменитыми. Так как на военном совете, под председательством императора Франца, решено было пожертвовать Веной, то Кутузов отступал на северо-восток к Брюну, вступая на пути в отдельные стычки с авангардом французов; особенно сильна была стычка у Дюршштейна: «Этот день был днем резни», — пишет Наполеон в своем бюллетене[7].

В ноябре французы заняли Вену и нашли здесь массу амуниции, оружия и пороху. Выйдя из Вены, Мюрат перешел Дунай и направился на северо-запад — в перерез Кутузову, который в полтора суток прошел 56 верст, под дождем, утопая в грязи. Задерживать Мюрата должен был арьергард в 7 000 человек, под начальством любимца солдат, неустрашимого и хладнокровного генерала Багратио-

на. Кутузов считал этот отряд «оставленным на неминуемую гибель для спасения армии». Пока армия отступала к Брюну, «геройский отряд» Багратиона сразился у Шенграбена с сорокатысячной армией Мюрата. Окруженный со всех сторон, Багратион бодро выдержал натиск масс, ринувшихся на него. Он потерял здесь все орудия, которые невозможно было везти через теснины по топким болотам, и 2000 человек убитыми, зато задержал французов. Вечером Багратион из остатков отряда сформировал колонну, пробился через французов и присоединился к армии.

— О потере не спрашиваю, ты жив — этого довольно! — сказал Кутузов, обнимая явившегося к нему Багратиона.

Сам Наполеон дивился храбрости русского арьергарда. «Русские гренадеры выказали неустрашимость», — писал он в своем бюллетене. Имя Багратиона, как героя, обошло всю Россию. За дело при Шенграбене он был произведен в генерал-лейтенанты, получил Георгиевский крест второй степени и командирский крест ордена Марии Терезы от императора Франца; последнего ордена никто из рус-

ских ещё не имел.

У Брюна к Кутузову присоединился австрийский отряд, пришедший из Вены, у Вишау — корпус графа Буксгевдена, а у Ольмюца — русская гвардия; таким образом, все союзные войска составили до восьмидесяти тысяч.

Наполеон стянул к Брюну такое же число.

IV

Аустерлиц

Хотя оба императора назначили главнокомандующим союзной армии Кутузова, но распоряжались всеми действиями, составляли планы и отдавали распоряжения австрийские генералы и особенно неспособный Вейротер. Австрийцы имели свои понятия о войне, считали выработанными военные правила непреложными, а на русских смотрели, как на незрелых ещё для высших военных соображений, почему, например, хвалили Кутузова, как полководца, но находили нужным руководить его действиями; с другой стороны, сам император Александр думал, что, во-

юя такое продолжительное время с Наполеоном, австрийцы лучше русских могли изучить образ войны с ним, и, считая себя в этой кампании только союзником Австрии, находил более приличным, чтобы главными деятелями в ней были австрийский генералы.

15 ноября союзная армия, разделенная на пять колонн, выступила из Ольмюца. Император Александр следовал с третьей, или срединной колонной. Войска шли в величайшем порядке и в ногу, как на параде. На другой день наш авангард с князем Багратионом атаковал у Раузниц французский конный отряд и заставил его отступить. Здесь первый раз Александр Павлович был в огне. Когда пальба стихла, он шагом объезжал поле битвы, всматривался через лорнет в тела убитых и раненых и приказывал подавать последним помощь. Через два дня союзники дошли до Аустерлица и здесь решили дать битву Наполеону, так как в этой местности австрийцы нередко производили маневры. Наполеон занял превосходную позицию, как для атаки, так и для обороны: его армия упиралась в цитадель Брюна, которая, в случае необходимо-

сти, могла обеспечить отступление в Богемию: с правого фланга её прикрывали лесистые и почти непроходимые холмы, а с фронта — глубокий ручей Гольдбах и несколько озер; против центра, за ручьем, подымались Пражские высоты — позиция господствующая и передовая, за которою виднелись вдали деревни и замок Аустерлиц, занятые уже армией союзников. Наполеон видел и невыгодное расположение союзной армии, и намерение её обойти его правый фланг, чтобы отрезать ему дорогу на Вену и отделить от остальных полков, расквартированных в окрестностях этого города; поэтому он был почти уверен в победе и накануне битвы велел объявить по армии следующее воззвание:

«Позиции, занимаемые нашими — страшны; и в то же время, как русские будут идти в обход моего правого фланга, они мне подставят свой фланг. Солдаты! Я сам буду направлять ваши батальоны. Я буду держаться вдали от огня, если вы с обыкновенною храбростью смешаете неприятельские ряды; но если победа будет хотя на минуту нерешительна, вы

увидите, что ваш император подвергнется первым ударам!»

Это воззвание, в котором Наполеон раскрывал перед армией свои планы и говорил с уверенностью победителя, произвело в лагере чрезвычайное впечатление: восторг солдат увеличился ещё более, когда ночью Наполеон пешком и без свиты посетил бивак; солдаты устроили импровизированную иллюминацию, сжигая по его пути пуки соломы.

В русском лагере приняли иллюминацию за пылающие костры и, считая это знаком отступления, боялись, чтобы Наполеон не воспользоваться мраком ночи и не ушел с занятых им позиций. Русские рвались сразиться с ним и ждали только приказа. ещё 17 числа Наполеон просил у Александра Павловича личного свидания между обоими авангардами. Государь отправил за себя князя Долгорукова. Свидание окончилось ничем, но Долгоруков, возвратившись из французского лагеря, привез известие, будто там заметно уныние.

— Наш успех несомненен, — говорил он, — стоит только идти вперед — они отступят. До

сих пор Наполеон двигался смело и решительно вперед, а теперь выжидает чего-то, вступает в переговоры; следовательно, он неуверен в победе!

Эту мысль разделяли многие, и вот почему решено было дать 20 ноября ему битву у Аустерлица. План атаки, составленный генералом Вейротером, был утвержден обоими императорами вечером 19 ноября. Кутузов не одобрял его: он думал, что следует решиться на нападение только тогда, когда будут верные сведения о силах противника и их расположении, а пока собрать свои силы, дать им диспозиции и тогда уже действовать сообразно обстоятельствам. Но Кутузов не настаивал сильно на своем мнении и не отвергнул план Вейротера; в этом состояла его ошибка.

В полночь он пригласил к себе начальников колонн, дежурного генерала Волконского и генерала Вейротера и объявил им, что завтра в семь часов утра начинается атака. Когда генералы сели, Вейротер развернул план окрестностей Брюна и стал читать свою диспозицию; при этом долго и очень запутанно объяснял её. Говорят, будто бы к концу объяс-

нения Кутузов заснул, его пришлось разбудить. Когда Вейротер заключил свое объяснение заявлением, что места эти ему хорошо знакомы, потому что в прошлом году здесь были маневры, его помощник граф Бубна заметил на это:

— Не наделайте только опять таких же ошибок, как на прошлогодних маневрах.

Совет окончился в три часа, а через три часа был готов русский перевод диспозиции Вейротера, сделанный майором Толем, и доставлен к начальникам колонн.

— Сражение проиграно! — воскликнул Багратион, прочитав эту диспозицию.

Армия, растянутая на огромном пространстве, представляла большой полукруг, замыкавший угол, занятый в центре французами. Наполеон и его генералы хорошо изучили местность. Догадываясь о намерении союзников нанести удар правому крылу французов и обойти его, Наполеон воспользовался мраком ночи и тихо, незаметно для союзников, перевел большую часть корпуса Сульта через ручей Гольдбах. В семь часов утра, когда ещё не успел рассеяться туман, он раздал последние

приказания маршалам. Между тем, союзные войска, не подозревая перемены в расположении французской армии, стали двигаться, как им было указано диспозицией Вейротера. Наполеон, наблюдавший за этим движением с высокого кургана, отдал тут же приказание разрезать нашу армию в центре, но не ранее, как через полчаса, когда союзные войска ещё более разобьются.

В 10 часов утра в русский лагерь прибыли императоры с огромной свитой. Часть четвертой колонны находилась с Кутузовым в центре Пражских высот. Подъехав к войску и видя, что солдаты отдыхали у ружей, сложенных в сошки, государь Александр Павлович удивился:

— Михаил Илларионович, почему вы не идете вперед? — спросил он Кутузова.

— Поджидаю, ваше величество, чтобы собрались все войска колонны, — отвечал Кутузов.

— Да ведь мы не на Царицыном лугу, где не начинают парада, пока не придут все полки, — возразил Александр Павлович.

— Государь, — отвечал Кутузов, — пото-

му-то я и не начинаю, что не на Царицыном лугу[8].

Государь приказал вести войска вперед. Французы были так близко, что можно было разглядеть их лица; отбросив передовой отряд Милорадовича, они наступали на Пражские высоты. Сам Кутузов был ранен в щеку, многие генералы были убиты и все усилия Милорадовича остановить неприятеля были напрасны. Русские батальоны, не поддержанные никаким резервом, атакованные с боку, когда они шли в атаку с фронта, были отброшены на склоны возвышенности на глазах самого императора, удивленного и опечаленного непредвиденной катастрофой. Прорвав центр и заняв Пражские высоты, Наполеон выиграл битву. Начались отдельные стычки в разных местах: войска храбростью заслужили удивление Наполеона: офицеры и солдаты «дрались как львы», но их частные усилия гибли бесплодно, и битва к концу дня окончательно была проиграна.

У нас выбыло из строя более 20 000 человек, при этом потеряно 133 орудия и 30 знамен; единственным трофеем нашим было од-

но французское знамя, отнятое у батальона линейной пехоты двумя эскадронами конной гвардии. Австрийцы потеряли около 6000 человек и 25 орудий, а французы только 8500 человек.

Как всегда бывает, после поражения союзники упрекали друг друга. Австрийцы говорили, что Аустерлицкая битва была проиграна оттого, что русские не умеют маневрировать, что пехота русская неповоротлива, ружья тяжелы, артиллерия малоподвижна. Русские, напротив, обвиняли австрийцев, которые не изучили местности и не заготовили необходимого провианта и фуража, — и они были правы. Действительно, кажется странным, что на этом месте австрийцы производили маневры, а между тем, знали местность хуже Наполеона. Император Франц, например, через шесть недель после битвы признался, что не знает плана битвы; затем на австрийцах лежала обязанность заготовления магазинов для союзной армии, но они об этом не позаботились, и наши лошади несколько суток должны были питаться одной соломой. Нельзя не признаться также,

что одной из главных причин неудачи у Аустерлица была нетвердость и уступчивость Кутузова. Сам Александр Павлович говорил впоследствии:

— Я был молод, неопытен; Кутузов говорил мне, что нам надобно было действовать иначе, но ему следовало быть настойчивее.

Таково было положение на европейском театре войны, куда Андрей Павлович Кудрин посылал несчастного Зарудина.

V

В столице Аракчеева

В один из январских вечеров 1806 года в обширной людской села Грузина стоял, как говорится, «дым коромыслом». Слышались песни, отхватывали лихого трепака, на столе стояла водка, закуски и сласти для прекрасной половины графской дворни.

На дворе были «святки», до Крещения оставалось несколько дней. Праздником и отсутствием графа, находившегося в Петербурге, объяснялось это веселье. Граф Алексей Андреевич уже около трех месяцев не был в своей

«столице», как остряки того времени называли Грузино.

Последнее действительно представляло даже и в это время целый городок и городок далеко не русский, так как последние отличаются и теперь, а не только тогда, неряшливостью и беспорядочностью постройки; здесь же царила симметрия, без которой граф Аракчеев не представлял себе даже понятия о красоте. При приближении к Грузину путешественнику казалось, что он каким-то волшебством перенесен из дикой Азии в культурную Европу, в какой-нибудь городок чистоплотной Германии, особенно летом, так как окаймляющий Грузино синюю лентою Волхов был в этом месте особенно чист и прозрачен.

Но не одно отсутствие графа давало возможность развернуться грузинской дворне во всю ширь своей русской природы, пригубить запретную в Грузине влагу, именуемую «сивухой», встретить праздник по-праздничному в полном для простолюдинов значении этого слова. Граф почти не пил сам и не любил не только пьяниц, но даже пьющих, хотя не только не стеснял своих дворовых и крестьян

веселиться по праздникам, но даже поощрял их к этому, устраивая народные гуляния; но какое же веселье без водки, этой исторической вдохновительницы русского народа, а между тем, продажа и даже самый привоз её в Грузино строго преследовались властным помещиком. Алексей Андреевич, с тех пор как был снова призван к кормилу государственного корабля, часто отсутствовал из Грузина, но это не мешало, чтобы жизнь его обитателей проходила неукоснительно по заведенному им шаблону без малейших отступлений.

В описываемый нами январский вечер дворовые села Грузина гуляли в людской с дозволения Минкиной, отпустившей от себя всю свою личную прислугу и оставшейся одной в своем флигеле, специально выстроенном для неё графом и отличавшимся от остальных грузинских строений наружной резьбою, зеркальными стеклами и вообще изяществом, невольно обращавшим на себя внимание всякого зрителя.

Одетая в пестрый персидский капот с пунцовою косынкою на голове, так шедшей к

нежной, хотя и смуглой коже её лица и, как смоль, черным волосам, она была неотразимо прекрасна, но какой-то особо греховной, чисто плотской красотой. Невольно вспоминалась справедливая оценка этой красоты одним заезжим в Грузино иностранцем, назвавшим Настасью Федоровну «королевой-преступниц» — прозвище, очень польстившее Минкиной.

Настасья Федоровна беспокойно ходила взад и вперед по довольно обширной комнате, меблированной не без комфорта, уже несколько раз проходила то к тому, то к другому окну, вглядывалась во тьму январского позднего вечера и чутко прислушивалась. На её красивом лице было написано нетерпение ожидания.

Кругом все было тихо.

— Ведь должен же он сегодня приехать, неча ему зря в Питере болтаться, да и граф не оставит... — вслух соображала она. — Впрочем, чуден стал его сиятельство, ничего с ним не сообразишь... Сюда глаз не кажет, в Питер не зовет, писем и с Егорушкой сколько ему уж написала, ни на одно хоть бы слово ласковое

ответил: окромя распоряжений по вотчине, ничего не пишет. Неужто и теперь на мое письмо, слезное да ласковое, молчком отдела-ется. Аль я ему не любя стала, другую зазнобу в Питере нашел, да навряд ли, кому против меня угодить... старому... Да и где они такие другие, как я, крали писанные... Была какая-то Катерина Медичева, говорил мне Егорушка, да померла давно... а другим до меня... далеко.

Выражение мстительного беспокойства от предполагаемой графской измены сменило выражение хвастливого довольства собой.

«А если какая фря и станет мне поперек дороги, в порошок сотру, сама сгину, но погублю своим бездыханным телом и раздавлю разлучницу...» — продолжала далее думать Минкина, и огонек злобной решимости все более и более разгорался в её темных, как ночь, глазах.

В этот самый момент среди царившей невозмутимой тишины раздался осторожный, но явственный стук в наружную дверь. Настасья Федоровна быстро прошла в переднюю комнату, откинула дверной крюк, и вме-

сте с ворвавшимся в комнату клубом морозного пара на пороге двери появился видный, рослый мужчина, закутанный в баранью шубу, воротник которой был уже откинут им в сенях, а шапка из черных мерлушек небрежно сдвинута на затылок. Чисто выбритое лицо с правильными чертами могло бы назваться красивым, если бы не носило выражения какой-то слащавой приниженности, что не могло уничтожить даже деланное напускное ухарство вошедшего, обстриженные кудри светло-каштановых волос выбивались из-под шапки и падали на белый небольшой лоб. Толстые, но красивые губы указывали на развитую с избытком чувственность, но здоровый, яркий румянец щек, подкрашенный ещё морозом, красноречиво доказывал, что пришедший был ещё молод и не испорчен.

Ему на самом деле шел всего двадцать четвертый год.

— Егорوشка... что так поздно... — бросилась к нему Минкина и, обвив его шею своими полными, красивыми руками, запечатлела на обеих его щеках по горячему поцелую.

Егор Егорович — это был он — принял эту

ласку как-то растерянно, послал на воздух два ответные поцелуя и бросил вокруг несколько боязливых взглядов.

Настасья Федоровна поймала их налету.

— Мы одни! Все в людской... пируют, — сказала она и заложила дверной крючок.

Воскресенский сбросил с себя шубу на стоявший в передней сундук и робко, точно поневоле, последовал за шедшей впереди Минкиной в ту комнату, где мы застали её, ожидавшую его приезда из Петербурга.

— Садись, Егорушка, сюда на диванчик к столику, а у меня для тебя припасены и вино, и закусочка.

Настасья Федоровна выскользнула своей плавной походкой в следующую комнату.

Егор Егорович остался один и с каким-то не то испуганным, не то виноватым видом опустился на диван.

Скажем несколько слов о прошлом этого настоящего фаворита грузинской «графини», как называли за последнее время Минкину дворовые люди и крестьяне села Грузина.

Сын бедного дьячка одного из малолюдных петербургских приходов, он довольно

успешно учился в духовной семинарии на радость и утешение родителям, мечтавшим видеть своего единственного сына в священническом звании, но увы, этим радужным мечтам не суждено было осуществиться, и на третий год пребывания Егора Воскресенского в семинарии, он был исключен за участие в какой-то коллективной шалости, показавшейся духовному начальству верхом проявления безнравственности. Кроме исключения, прилежный семинарист подвергся суровому наказанию бурсацкими лозами, к которым были прибавлены лозы дома, отсыпанные щедрой рукой хотя и тщедушного, чахоточного, но раздражительного и злобного родителя.

Претерпев такое наказание, мальчик был оставлен родителями без всякого присмотра и лишь по истечении года случайно был определен в аптеку, находившуюся в районе их прихода и содержимую немцем Апфельбаумом, женатым на православной и богомольной барыне, к протекции которой и обратился отец Егорушки.

Занятия у аптекаря, в качестве ученика, пришлись по душе мальчику, и он через

несколько лет успешно выдержал экзамен на фармацевта. Случай, видимо, покровительствовавший изгнанному семинаристу, способствовал и его переводу в аптеку села Грузина, куда он поступил в помощники аптекаря. Дело в том, что граф, нуждаясь в таком служащем, сделал запрос в петербургских аптеках, и на этот запрос не убоялся откликнуться Егор Егорович Воскресенский, все же остальные находившиеся в аптеках фармацевты уклонились от службы у грозного, понаслышке, Аракчеева.

Нельзя сказать, чтобы Егор Егорович без душевного трепета принял решение вступить в грузинскую службу, но его побудила к этому неопределенность будущего, так как старик Апфельбаум, сильно прихварывавший за последнее время, уже с год как искал случая продать свою аптеку и пожить на покое. Во время же получения графского запроса продажа аптеки была уже решена, и будущий новый хозяин заявил, что у него уже подобраны служащие, так что Воскресенский рисковал долго не найти места в переполненных фармацевтами столичных аптеках.

Рок, видимо, вел его туда, где ему суждено было испытать и тревожное счастье, и неожиданную гибель.

VI

Между страхом и надеждою

Егор Егорович прибыл в Грузино в отсутствие графа и, вследствие данной его сиятельством в вотчинную контору письменной из Петербурга инструкции, явился к грузинскому аптекарю, получил отведенную ему в помещении аптеки комнату и приступил к исполнению своих обязанностей.

Весть о прибытии молодого и красивого аптекарского помощника была доведена до сведения Настасьи Федоровны преданной ей «дуэньей» старухой Агафонихой.

— Красавец он, матушка, Настасья Федоровна, писаный, рост молодецкий, из лица кровь с молоком, русые кудри в кольца вьются... и скромный такой, точно девушка, с крестьянами обходительный, ласковой... неделю только как приехал, да и того нет, а как все его полюбили... страсть!.. — ораторствовала

Агафониха у постели отходящей ко сну Минкиной, усердно щекоча ей пятки, что было любимейшим удовольствием грузинской домоправительницы.

— Да откуда он проявился такой, королевич сказочный? — с деланной зевотой спросила Настасья Федоровна, хотя блеск её глаз доказывал, что она далеко не без интереса слушает рассказ своей наперсницы.

— Из Питера, матушка, Настасья Федоровна, из Питера, в аптекарях и там служил, граф его к нам выписал...

— Из Питера, — протянула Минкина, — да красивый. Чай, бабами страсть избалован, да и зазнобу какую ни на есть, чай, там оставил?..

— Уж об этом я, матушка, доподлинно не знаю, чай, конечно, не без греха, не девушка, да и былъ молодцу не укор, только ежели сюда его занесло, все зазнобушки из головы вылетят, как увидит он королевну-то нашу.

— Это какую ещё королевну? — углом рта лукаво улыбнулась Настасья Федоровна.

— Какая же во всей Россее опричь тебя, матушка, королевна есть, и чье сердце молодец-

кое не занает тебя встретив, хоть бы сотня зазнобушек заполонила его...

— Ну, пошла, замолоча, — полусердито, полуласково, как бы сквозь сон, заметила Настасья Федоровна, — иди себе, я засну.

Агафониха вышла, не удержавшись, впрочем, лукаво подмигнуть уже, казалось, заснувшей Минкиной.

Последняя далеко не спала, она лежала с закрытыми глазами и старалась воссоздать своим воображением ослепительный образ красивого юноши, очерченный лишь несколькими штрихами в рассказе старухи.

Страстная и чисто животная натура грузинской домоправительницы не могла остаться безучастной к появлению вблизи красивого молодого мужчины.

Молодая, страстная, огненная, с чисто восточным темпераментом женщина, каковой была Настасья Минкина, не могла, конечно, довольствоваться супружескими ласками износившегося и уже значительно устаревшего Аракчеева и, конечно, обманывала его как любовника при каждом представившемся случае. Кроме того, домоправительница-фаво-

ритка обманывала графа и как хозяйина села Грузина: во флигеле Настасьи в его отсутствие происходили безобразные сцены самого широкого разгула, и шампанское лилось рекой. У Настасьи Федоровны всегда имелся запас самых дорогих вин. При той аккуратности и строгой отчетности во всех мелочах, какие заведены были в Грузине, нечего, конечно, было и думать о получении вин из графского погреба: там каждая бутылочка стояла за особым номером, и её исчезновение могло быть замечено легко и скоро. Минкина находила другие средства для своих кутежей, черпая их из не совсем чистого источника. Она знала за лицами, стоявшими во главе различных частей управления грузинской вотчины, разные грешки и, пользуясь этим, брала с них и деньгами, и натурою в виде подарков.

Скука и однообразие жизни, проводимой ею в Грузинском монастыре, как сам граф называл впоследствии свою усадьбу, более или менее объясняют, хотя, конечно, не извиняют обе стороны жизни полновластной экономки.

Долго в сладострастных думах не могла заснуть Настасья Федоровна и ворочалась на

своей роскошной постели, лишь под утро забываясь тревожным, лихорадочным сном.

Проснувшись довольно поздно, она тотчас же позвала к себе Агафонику и долго шепталась с нею.

День уже склонился к вечеру, когда Агафонику своею семенящею походкой взобралась на крыльцо аптеки и вошла в неё.

Егор Егорович отпускал в это время лекарство какой-то бабе и усердно и толково объяснял ей его употребление.

Агафонику остановилась немного поодаль и ждала ухода посторонней.

— Тебе что, бабушка? — обратился к ней Воскресенский.

— Я подожду, родимый, справляй свое дело, справляй...

Наконец, баба поняла и, охая да причитая, удалилась. Егор Егорович вопросительно уставился на Агафонику.

— Я к тебе, родимый, от графинюшки... — таинственно начала она.

— От какой графинюшки?

— Известно от какой, от Настасьи Федоровны...

Воскресенский вспыхнул.

Агафониха не ошиблась, когда говорила Минкиной, что ни одно сердце молодецкое не устоит перед красотой последней. Егор Егорович несколько раз лишь мельком, незамеченный ею, видел властную домоправительницу графа, и сердце его уже билось со всею страстью юности при воспоминании о вызывающей красоте и роскошных формах фаворитки Аракчеева. Знал Воскресенский, несмотря на свое короткое пребывание в Грузии, и о сластолюбии Минкиной, и о частых переменах её временных фаворитов.

«Ужели теперь настала его очередь?»

При этой мысли вся кровь бросилась ему в голову, сердце как-то томительно похолодело. С одной стороны перспектива обладания этой, казалось ему, несравненной красавицей, этим чисто «графским кусочком», как мысленно называл он её, а с другой — возможность, что его поступок дойдет до сведения грозного графа. При этой мысли он почувствовал необычайный ужас, и волосы поднялись дыбом на его голове. Он постарался отбросить всякое помышление о возможно-

сти обладания «графинюшкой», как называла её стоявшая перед ним старуха, и почти спокойным, с чуть заметною дрожью от внутреннего волнения, голосом, спросил:

— Что же угодно от меня Настасье Федоровне?

— Да прислала она меня к тебе, голубчик, за каким ни на есть снадобьем, мозоль на ноге совсем извел её, сердешную...

Егор Егорович положительно упал с неба на землю, и, странное дело, несмотря на то, что он только что пришел к решению всеми силами и средствами избегать этой обольстительно красивой, но могущей погубить его женщины, наступившее так быстро разочарование в его сладких, хотя и опасных мечтах, как-то особенно неожиданно тяжело отозвалось в его душе.

Теперь ему захотелось обладать ею хотя бы ценою жизни.

— Мозоль... вы говорите, мозоль... — упавшим голосом спросил он Агафониху. — Жесткий?

— Мозоль, родимый, мозоль... и жесткий-прежесткий... — с лукавой улыбкой отве-

чала старуха.

Он не заметил этой улыбки, с минуту постоял в задумчивости, затем подошел к одному из аптечных шкафов, вынул закупоренный и запечатанный пузырек с какой-то жидкостью; затем из ящичка достал кисточку и, завернув все это в бумажку, подал дожидавшейся Агафонихе.

— Вот, передайте своей барыне и скажите, чтобы она на ночь кисточкой осторожно смазала то место, где мозоль... С третьего, четвертого раза он размякнет и вывалится...

Старуха покачала головой, но не взяла сверток.

— Нет, ты уж сам, голубчик, отлучись на часочек, мальчонка у тебя подручный, чай, есть, он за тебя твое дело справит...

— То есть как сам, что сам?

— А помажь мозоль-то Настасье Федоровне, а то она, да и мы, бабы, что смыслим... Такой и от неё приказ был, чтобы ты сам пожаловал...

— Да зачем же, это так просто... — пробовал было возражать Егор Егорович.

— Такова уж её барская воля, — настави-

тельно заметила старуха, — не нам с тобой ей, молодчик, перечить, когда сам сиятельный граф насупротив её ничего не делает.

— Когда же идти-то мне? — поняв бесповоротность решения Минкиной, спросил Воскресенский.

— Да сейчас и пойдём, я тебя проведу к ней, очень уж она этой самою мозолью мучается...

Егор Егорович позвал ученика, приказал ему побыть в аптеке, пока он вернется, надел тулупчик и шапку и вышел вслед за Агафонихой.

Сердце его усиленно билось. Он находился между страхом и надеждою, но, увы, не страхом ответственности перед графом Аракчеевым, его господином, от мановения руки которого зависела не только его служба, но, пожалуй, и самая жизнь, и не надежда, что мимо его пройдет чаша опасного расположения или просто каприза сластолюбивой графской фаворитки, а напротив, между страхом, что она призывает его именно только по поводу мучащей её мозоли, и надеждою, что его молодецкая внешность — ему не раз доводилось

слыхать об этом из уст женщин — доставит ему хотя мгновение неземного наслаждения. Благоразумие при мелькнувшем предположении о возможности обладания красавицей исчезло вместе с потухшим лучом надежды на это обладание. Опасность, остановившая было его, теперь делала ещё заманчивее цель, придавала её осуществлению особую, неиспытанную ещё им сладость.

Все эти ощущения смутно переживались его разгоряченным мозгом в то время, когда он твердою походкой шел по направлению к графскому дому за своей путеводительницей — старой Агафонихой.

Вот они вошли уже во двор, направились к флигелю Минкиной и вступили на крыльцо.

«Будь, что будет!» — мысленно сказал себе Егор Егорович, входя в отворенную старухой дверь.

VII

Во флигеле Минкиной

Агафониха, указав Воскресенскому куда повесить ему в передней тулупик и шапку, повела его через две комнаты в спальню Настасьи Федоровны.

Богатая обстановка комнат графской любимицы, бросившаяся в глаза проходившему Егору Егоровичу, мгновенно отрезвила его.

«Несомненно, что она призывает меня только для медицинской помощи... Разве я, безумец, не понимаю то расстояние, которое разделяет ничтожного помощника аптекаря от фаворитки первого вельможи в государстве, фаворитки властной, всемогущей, держащей в своих руках не только подчиненных грозного графа, но и самого его, перед которым трепещет вся Россия» — неслось в голове Воскресенского.

«Положим, говорят, она снисходит и до более низших лиц, но, быть может, во-первых, это только досужая сплетня, и, во-вторых, все-таки он стоит выше дворового молодца, с ко-

горым подвластная распорядительница грузинской вотчины могла совершенно не церемониться и мимолетная связь с ним не оставляла и следа, а лишь взысканный милостью домоправительницы за неосторожное слово мог riskовать попасть под красную шапку или даже в Сибирь...»

Егор Егорович вспомнил, что ему рассказывали такие случаи.

Значит, он менее всякого крестьянского парня мог иметь шансов на даже мимолетное обладание этой могучей красавицей... Она побоится огласки с его стороны, побоится, как бы её преступная шалость не дошла до сведения её ревнивого повелителя!..

«Тем лучше!» — решил он в своем уме, хотя в душе пожалел, что находится в таком исключительном положении...

— Вот, матушка, Настасья Федоровна, привела к тебе молодца вместе со снадобьем... — пробудил его от этих дум голос Агафонихи.

Он поднял глаза и положительно остолбенел. Он находился в спальне Минкиной.

Это была довольно большая длинная комната с одним окном, завешанным тяжелой

шерстяной пунцовой драпировкой, пол был устлан мягким ковром, и кроме затейливого туалета и другой мебели в глубине комнаты стояла роскошная двухспальная кровать, на пуховиках которой лежала Настасья Федоровна в богатом персидском капоте. Восковая свеча, стоявшая на маленьком высоком шкафчике у изголовья кровати, освещала лицо аракчеевской экономки, и это лицо, с хитрыми прекрасными глазами, казалось вылитым из светлой бронзы, и если бы не яркий румянец на смуглых щеках, да не равномерно колыхавшаяся высокая грудь лежавшей, её можно было принять за прекрасно исполненную статую. Туго заплетенная длинная и толстая иссиня-черная коса змеей почти до полу ниспадала по белоснежной подушке.

Минкина не шевельнулась, продолжая смотреть на вошедших все тем же смеющимся взглядом своих блестящих глаз.

Агафониха, отрапортовав о приходе Егора Егоровича, быстро и незаметно выскользнула из комнаты и плотно прикрыла за собою дверь.

Он остался с глазу на глаз с графской фаво-

риткой, смущенный, растерянный, не решаясь ни подойти ближе, ни шагнуть назад, с глупо растопыренными руками, с неотводно на лежавшую красавицу смотревшими глазами.

Несколько минут длилось томительно молчание.

Настасья Федоровна, казалось, наслаждалась смущением молодого человека, хорошо понимая причины этого смущения и, кроме того, видимо, употребляя это время на внимательное и подробное рассмотрение стоявшего перед ней «писаного красавца», как рекомендовала его ей Агафониха.

Результат этого осмотра оказался, по-видимому, благоприятным для осматриваемого, так как Минкина улыбнулась какою-то довольною, плотоядною улыбкою.

Воскресенский, увидав эту улыбку и приняв её за насмешку над своей растерянностью, с невероятным трудом заставил себя сделать шаг к постели и дрожащим голосом произнес:

— Вы изволили меня звать?

— Да, звала, — небрежно кинула ему,

улыбнувшись, Минкина.

— Я слышал от посланной, что вас мучает мозоль...

Настасья Федоровна звонко рассмеялась, снова до необычайности смутив этим Егора Егоровича, уже вынувшего из кармана сверток с пузырьком и кисточкой.

— Да, да, мозоль, — снова заговорила она, еле удерживаясь от вторичного взрыва веселого хохота, и протянула из-под капота левую ногу, обутую в ярко-пунцовую туфлю и тонкий шелковый ажурный чулок.

Вся кровь бросилась в голову Воскресенского, он дрожащими руками стал развертывать и раскупоривать пузырек и затем, поставив его на шкафчик, пробовать об ноготь кисточку.

Настасья Федоровна насмешливо следила за всеми его движениями, играя высунутой из-под капота миниатюрной ножкой, с которой от движения уже свалилась туфля.

Она видела, что он умышленно мешкал.

— Скоро? — спросила она, снова пристально посмотрев на него своими смеющимися глазами.

Он встрепенулся и решительно приблизился к ней, осторожно взяв её ногу, но снова остановился, так как руки его ходили, что называется, ходуном.

— Чулок надо снять! — уже повелительно и даже с некоторым раздражением произнесла Настасья Федоровна.

Воскресенский дрожащими руками стал стягивать чулок, не расстегнув подвязки. Только после нескольких усилий он заметил свою оплошность, расстегнул пунцовую, атласную подвязку и осторожно, одной рукой поддерживая ногу, снял чулок. Слово выточенная из мрамора нога покоилась на его руке, он с восторгом любовался её восхитительной формой, тонкие пальцы с розовыми ногтями, казалось, не только не знали, но и не могли знать никаких мозолей. Развившаяся на свободе, без стеснительной и часто уродующей нежную ногу обуви, взлелеянная в течение нескольких лет в неге и холе нога мещанки Минкиной, изящная по природе, была действительно верхом совершенства.

Егор Егорович начал осторожно перебирать пальцы ног.

— Щекотно! — вдруг игриво вырвала из его рук Настасья Федоровна.

— Я не вижу мозолей! — произнес он почти задыхающимся голосом.

— На другой! — лаконично отвечала она и протянула к нему правую ногу.

Он посмотрел на Настасью Федоровну умоляющим взглядом.

Она отвечала ему взглядом искрящихся, почти злобно смеющихся глаз и только движением ноги сбросила туфлю.

Он расстегнул подвязку и стал стаскивать чулок, но вдруг зашатался и бессильно оперся правой рукой о край кровати.

— Пощадите... не могу! — чуть слышно прошептал он.

— И не надо, — с веселым смехом воскликнула Минкина и, быстро наклонившись к стоявшей на шкапчике свече, потушила её.

VIII

Таинственный незнакомец

Прошло несколько месяцев. Отчасти предвиденная Егором Егоровичем, отчасти для него неожиданная связь с домоправительницей графа Аракчеева продолжалась. Настасья Федоровна, казалось, привязалась к молодому аптекарскому помощнику всей своей страстной, огневой, чисто животной натурой, и он стал понимать, к своему ужасу, что это было далеко не мимолетный каприз властной и характерной красавицы.

Он стал понимать это именно к своему ужасу, так как в его отношениях к ставшей так неожиданно быстро близкой ему женщине, чуть ли не с момента ухода его из флигеля Минкиной после часов первого блаженства, произошла резкая перемена. Когда первая страсть была удовлетворена, с ним случилось то, что случается с человеком, объевшимся сладостями, он почувствовал нестерпимую горечь во рту. Это неприятное ощущение углублялось ещё восставшими в его воображе-

нии тревожными картинами будущего. «Приедет граф и узнает», — вот мысль, тяжелым свинцом засевшая в его мозгу, после первого же свидания с Минкиной. Единственным желанием избранника Настасьи Федоровны было, чтобы это первое свидание было последним, но увы, на другой же день под вечер в аптеке снова предстала перед ним Агафониха. За этим вторым свиданием последовало третье и так далее. Они устраивались то во флигеле Настасьи Федоровны, а чаще в избе Агафонихи, стоявшей у околицы, вдали от других строений.

Понятно, что не только для всей дворни, но даже для грузинских крестьян связь любимого аптекаря с ненавистной экономкой не была тайною, и хотя их молчание было обеспечено с одной стороны в силу привязанности к Егору Егоровичу, а с другой — в силу почти панического страха перед Минкиной, но первому от этого было не легче. Ведь открыл же графу пьяный кучер тайну происхождения Миши — ему рассказала эту историю сама Настасья Федоровна — значит, и относительно открытия его отношений с ней суще-

ствуует страшный риск.

Первый приезд графа, проведшего в Грузии несколько дней и даже очень ласково принявшего нового служащего, о котором он успел собрать справки, прошел благополучно, но Егор Егорович от этого далеко не успокоился, а, напротив, доброе отношение к нему Алексея Андреевича подняло в ещё не совсем испорченной душе юноши целую бурю угрызений совести. В часы свиданий с Минкиной он стал испытывать не наслаждения любви, которой и не было к ней в его сердце, не даже забвение страсти, а мучения страха перед приближающейся грозой, когда воздух становится так сперт, что нечем дышать, и когда в природе наступает та роковая тишина, предвестница готового разразиться громового удара.

«Да грянь же ты, неизбежный гром!» — вот единственное желание людей в таком состоянии.

Это же чувство испытывал и Егор Егорович.

Но гром не гремел, а атмосфера кругом все сгущалась. Последнему способствовало одно

происшествие, которое при других обстоятельствах могло бы считаться несомненным поворотом колеса фортуны в сторону Егора Егоровича, но для него явилось, увы, прямо несчастьем. Так относительны в жизни людей понятия о счастье и несчастье.

Во второй или третий приезд графа в его вотчину, позднею ночью Воскресенский был разбужен пришедшей в аптеку грузинской крестьянкой, просившей лекарства для своего внезапно заболевшего мужа, у которого, по её словам, «подвело животики». Егор Егорович, внимательно расспросив бабу о симптомах болезни, стал готовить лекарство, когда дверь аптеки снова отворилась и в неё вошел какой-то, по-видимому, прохожий, в длинном тулупе, в глубоко надвинутой на голове шапке и темно-синих очках, скрывавших глаза.

Незнакомец выждал, пока аптекарь занимался с пришедшей ранее посетительницей, и когда та ушла, завел с Воскресенским совершенно праздный разговор и стал поносить как грузинские порядки, так и его владельца.

Егор Егорович горячо заступился за графа

и высказал много истин о недостатках его служащих, но так как прохожий, видимо, не убеждался его доводами и не унимался, вытолкал его бесцеремонно за дверь.

— Не хай хозяина в его хоромах! — проговорил он, изрядно накладывая ему в шею.

— Провались ты, чертов слуга, со своим баринном в тартарары... — огрызнулся неизвестный.

Взволнованный происшедшим, Воскресенский долго не мог заснуть, да и следующие дни появление подозрительного прохожего не выходило из его головы. Граф, между тем, снова уехал в Петербург и Минкина постаралась устроить свидание со своим новым фаворитом.

Во время этого-то свидания, Егор Егорович рассказал ей о своем ночном приключении.

— Да это был сам граф! — воскликнула Настасья Федоровна.

— Как граф? — упавшим голосом, побледнев, как полотно, проговорил Воскресенский.

— Да так, у него в привычку каждую ночь переряживаться да по селу шастать, за порядком наблюдать, да о себе самом с крестьяна-

ми беседовать, раз и ко мне припер, в таком же, как ты рассказываешь, наряде да в очках, только я хитра, сразу его признала и шапку и парик стащила... Заказал он мне в те поры никому о том не заикаться, да тебя, касатик, я так люблю, что у меня для тебя, что на сердце, то и на языке, да и с тобой мы все равно, что один человек...

— Вот так штука! — с напускною развязностью заметил Воскресенский, хотя на сердце у него, что называется, скребли кошки. — А я его порядком-таки попотчивал...

— И ништо... не шатайся, не полунощничай... не графское это дело!.. — хохотала Минкина, привлекая к себе совершенно расстроенного Егора Егоровича.

Это свидание показалось ему ещё продолжительнее, чем другие. Он почти с радостью вырвался из объятий этой почти ненавистой ему красавицы.

— Что-то будет? Что-то будет? — задавал он себе почти ежеминутно вопрос.

Досужие рассказы о мстительности и жестокости Аракчеева, слышанные им в Петербурге, против его воли восставали в памяти,

жгли мозг, холодили сердце.

IX Приказ

Прошла томительная неделя. В главной вотчинной конторе получен был собственноручный графский приказ об увольнении от должности помощника управляющего и о назначении на его место помощника аптекаря Егора Егоровича Воскресенского, которому быть, в случае надобности, и секретарем графа по вотчинным делам.

Приказ этот для лиц, стоявших во главе вотчинного управления, явился совершенною неожиданностью. Только Воскресенский и Минкина поняли, что он есть результат приключения в аптеке. Настасья Федоровна очень обрадовалась, так как помощник управляющего имел помещение в графском доме, куда она имела свободный вход по званию домоправительницы, а следовательно, свидания с ним более частые, нежели теперь, являлись вполне обеспеченными и сопряженными с меньшим риском, да и она может зор-

че следить за своим любовником — она заметила его к ней холодность, и последняя не только все более и более разжигала её страсть, но и заронила в её сердце муки ревности. Егора Егоровича, напротив, этот приказ ударил, как бы обухом по лбу — милость к нему графа, обманываемого им в его собственном доме, казалась ему тяжелей его гнева, страшнее всякого наказания, которое могло быть придумано Алексеем Андреевичем, если бы он узнал истину. Эта милость усугубляла его грех перед ним, и этот грех давил его душу.

По приезде в Грузино граф вызвал Воскресенского, обласкал его и выразил надежду, что он оправдает оказанное им доверие.

Бледный, трепещущий Егор Егорович пробормотал шаблонную благодарность. Алексей Андреевич приписал смущение молодого человека неожиданности повышения и милостиво отпустил его к исправлению его новых обязанностей. Ни одного намека не проронил он о ночной сцене в аптеке, не подозревая, конечно, что Воскресенский был посвящен в тайну устраиваемых им маскарадов.

Первое время Егор Егорович подумал, не ошибается ли Минкина, что подозрительный прохожий и граф — одно и то же лицо, но смена помощника управляющего, о «злоупотреблениях» которого в защиту графа говорил неизвестному Воскресенский, подтверждала это предположение, да и костюм, описанный Настасьей Федоровной, в котором она узнала Алексея Андреевича, был именно костюмом прохожего.

Егор Егорович стал ревностно исполнять свои обязанности, граф каждый приезд выражал ему свое удовольствие и даже не раз говорил Настасье Федоровне:

— Ну и парня послал мне Бог, Настасья, золото; за тобой да за ним я, как за стеной каменной.

— Не захвали, отец родной, вначале они все золото, ишь что вздумал, меня сравнить с ним, я, холопка, тебе душой и телом предана сколько годов, а этот и служит-то без году неделя... да и, слышала я, из кутейников, не люблю я их породу-то.

— Это ты, Настасья, оставь, кутейники народ умный, трудовой да старательный, вон

Сперанский тоже из кутейников, а я бы сам много дал, чтобы иметь четверть ума его... А тебя я сравнил с ним не в умаление, а в похвалу, потому что как ты мне ни предана, как ни рассудительна, а все баба...

— Что же что баба, а охранить тебя и добротвое получше всякого кутейника сумею... да и не говори ты мне про него, не полюбился мне новый любимец твой, в глаза прямо не смотрит, все норовит вниз опустить... — раздраженным тоном проговорила Настасья.

— Ну, вот и сказалась в тебе баба, — захохотал Алексей Андреевич, — тебе бы хотелось, чтобы он свои буркулы на тебя пялил, красотой твоей любовался, а он парень рассудительный, знает свое место и знает куда и на кого ему глядеть следует...

— Рассудительный... — задорно протянула Минкина. — Уж так и знает... Коли захочу, и на меня взглянет, да и не оторвется...

Граф вспыхнул.

— Это ты, Настасья, оставь!.. Коли шутки, так со мной, сама знаешь, плохие. Аль приглянулся, парень красивый...

Настасья захохотала.

— Красивый... нашел красоту... Да нешто мне, обласканной твоею графскою милостью, нужен кто? Нешто я гляжу на кого... Ведь скажет, право, такую околесину... — припав головой к груди сидевшего рядом с ней на диване Аракчеева, в душу проникающим голосом заговорила она.

Граф успокоился.

— Я с ним и по делу-то говорить не люблю, потому не лежит мое к нему сердце... И тебя-то, отец родной, я предупредить хотела... — продолжала она.

— Ну, это ты оставь и сердце свое переломи... он мне нужен, а предчувствия эти ваши — одни бабьи бредни...

Настасья Федоровна при первом свидании передала Егору Егоровичу этот разговор её с графом и передала с тем нахальным смехом, который все более и более коробил ухо бедному Вознесенскому. Пронесся год, не принеся с собой никаких перемен в его жизни, разве усугубив тяжесть его положения; так как граф за последнее время редко навещал Грузино, а полновластная Настасья на свободе предавалась бесшабашным кутежам, требуя, чтобы

он разделял их с нею и отвечал на её давно уже надоевшие ему да к тому же ещё пьяные ласки.

В довершение несчастья, на мрачном фоне его будничной жизни стал за последнее время светлым пятном мелькать образ хорошенькой девушки, белокурой Глаши, горничной Настасьи Федоровны, сгущая ещё более окружающий его мрак.

Он знал ревнивый, бешеный нрав своей повелительницы, знал, что она зорко следит за ним, и блестящие откровенною любовью к нему добрые глазки Глаши только растревляли его сердечные раны, не принося ни утешения в настоящем, ни надежды на лучшее будущее.

Мысль о какой бы то ни было развязке так беспощадно сложившихся для него обстоятельств являлась чрезвычайно отрадной. Вернувшись из Петербурга, куда он ездил по вызову графа для доклада о происшедшем в Грузии пожаре, он привез оттуда известие, которое, казалось ему, вело к этой развязке.

О нем-то и задумался он, сидя во флигеле Минкиной и мысленно переживая всю исто-

рию знакомства с этой наводящей на него теперь только страх женщиной, — историю, рассказанную нами в четырех последних главах нашего правдивого повествования.

Х

Питерские новости

— Выпьем да закусим, чем Бог послал, а потом и рассказывай... — заговорила Настасья Федоровна, вошедшая в комнату с огромным подносом, уставленным несколькими бутылками вина и разнообразными яствами, поставила поднос на стол перед диваном и, сев рядом с Егором Егоровичем, наполнила стаканчики.

— Привез мне от графа грамотку?

— Нет, ничего писать не изволили...

— Не изволили... — передразнила его Минкина, не любившая, что Воскресенский даже заочно почтительно относился к Алексею Андреевичу. — Что же это так, не изволили...

— Уж этого я не могу знать.

— Обо мне-то все же спрашивал, о здоровье?

— Тоже ни слова не изволили спрашивать.

— Ни слова! — уже произнесла она задрожавшим от гнева голосом. — Вот как... О чем же он с тобой беседовал?

— Беседа наша коротка была. Выслушал о пожаре, покачал головой, приказал строиться.

— А письмо мое ты когда ему отдал?

— Тот же час, как я явился, вручил. Повертел он его в руках и положил на стол не распечатывая.

— Вот как... — снова сквозь зубы протянула Настасья Федоровна. — Сколько же ты раз с ним виделся?

— Всего один раз вызывать изволили. Только к ночи и домой жалуют. Мне Степан Васильевич сказывал.

— Где же это он время коротает? Не все же по делам! Баба-поганка, наверняка, какая-нибудь завелась... — уже прошипела Минкина, вся бледная и дрожащая от злобы.

Егора Егоровича, который сначала хотел исподволь подготовить её к роковому известию, вдруг охватило непреодолимое желание, что называется, ошарашить её, а затем

побесить и помучить, благо для этого представлялся теперь удобный случай. Вся злоба, накипевшая в его сердце за её торжество над ним, как он называл их отношения, заклокотала в его груди.

— Где же его сиятельству время коротать, как не у невесты! — возможно более равнодушным тоном заметил он.

— У невесты? У какой невесты? — вскрикнула Настасья Федоровна и даже выронила из рук поднесенный было ею к губам стакан вина. — Что ты несешь за околесину?

— Ничуть не околесину. Я думал это вам уже известно. Весь Петербург об этом теперь толкует. Женихом его сиятельство объявлен и обручен с дочерью генерал-майора Натальей Федоровной Хомутовой, а через месяц назначена и свадьба.

Егор Егорович, несмотря на то, что Минкина говорила ему ты, не отвечал ей тем же. Сердечное «ты» по её адресу как-то не шло с его языка.

— Женихом... свадьба... — бессознательно вперив взгляд своих глаз, горевших злобных огнем, бормотала Настасья Федоровна. — Да

ты не врешь?

— Чего же мне врать-то, я от роду не врал, да и не люблю, говорю это дело решенное и... государю известно, — шепотом добавил он.

Минкина приподнялась из-за стола и стала быстрыми шагами ходить по комнате, сначала молча, лишь по временам хватаясь за голову, а потом воскликнула:

— Что же со мной-то будет? Что же его сиятельство меня-то, как негодную собаку, за дверь на мороз! А хороша она, молода? — вдруг остановилась она перед Воскресенским, следившим за ней недобрыми глазами.

— Степан Васильевич сказывал, что очень хороша и добра, как ангел, а по летам совсем ребенок, восемнадцать минуло.

— Связался черт с младенцем! — злобно захохотала Настасья Федоровна.

— Да с чего вы-то волнуетесь? — спросил невинным тоном Егор Егорович. — Я, признаться, не ожидал, что это произведет на вас такое впечатление, графа же ведь вы не любите?

— С чего волнуетесь? Не ожидал. Не любите... — передразнила она его, злобно сверкнув

глазами в его сторону и продолжая быстро шагать по комнате. — Как с чего? Я-то куда денусь? Две волчицы в одной берлоге не уживаются.

— Да я разве говорю, чтобы уживаться. Отойти, отстраниться... Граф вас, конечно, обеспечит. ещё как заживем мы с вами, в любви да согласии, без обмана, не за углом, а в явь перед всем народом, в церкви целоваться будем... — опрокидывая для храбрости чуть не четвертый стакан вина, уже с явной ядовитой насмешкой проговорил Воскресенский.

Минкина остановилась, почти испуганно обернулась к нему и окинула его недоумевающе-вопросительным взглядом.

— Ты пьян?

— Нет, зачем пьян? Я дело говорю, ведь вы же сами мне говорили, что меня больше жизни любите, что только часы, проводимые со мной и считаете счастливыми, а теперь, когда в будущем это счастье представляется вам сплошь, не урывками, и когда я этим хочу вас утешить, вы говорите, что я пьян... — тем же тоном, наливая и опрокидывая в рот ещё стакан вина, продолжал Егор Егорович.

Настасья Федоровна подошла к нему совсем близко. Она никогда не слышала его разговаривающим с нею таким образом. Значит, положение её относительно графа изменилось окончательно, он узнал об этом, а потому и начинает с ней так разговаривать. Эта мысль подняла ещё большую бурю злобы в её сердце. Но он ошибается, она не сдастся без боя даже перед железною волею могущественного графа!

— Обеспечит! — хриплым, сдавленным голосом начала она. — И ты вообразил, что я променяю мое настоящее положение полномочной хозяйки целой вотчины на положение жены помощника управляющего. Если это так, то ты, наверное, или пьян, или просто глуп.

— Зачем же помощника управляющего, я могу отказаться от этой должности, я не крепостной.

— Ну и что же из этого? — с злобной иронией спросила она.

— Мы можем поехать в Петербург, открыть свое дело и зажить припеваючи... — набравшись храбрости от выпитого вина,

продолжал он бесить её.

— Не поставишь ли ты меня за аптечный прилавок? — захохотала она.

— Отчего же и нет, коли... любишь...

— Любишь... Дурак ты, дурак... Думал, что я, баба, глупее тебя. Приглянулся ты мне, в любовь я с тобой играю, балуюсь и, может, ещё долго баловаться буду... Пока не надо-ешь... Но потому-то и могу позволить я себе это, что власть и доверие мне даны от графа, властью-то этой я и тебя при себе держу, а то бы ты давно хвостом вильнул, насквозь я тебя вижу, и теперь уже ты на Глашку исподтишка глаза пялишь, а тогда бы и в явь беспутничал, а теперь-то знаешь, что со мной шутки плохи... боишься... И вдруг такие слова дурацкие: «коли любишь». Не спину ли свою мне тебе подставлять из-за любви-то, мне, перед которой теперь князья да графья спину гнут... и сам-то его сиятельство тише воды, ниже травы порой ходит... Шалишь!..

Она смолкла, положительно задыхаясь от злобного смеха. Слова её не произвели на Егора Егоровича особого впечатления — он знал и понимал давно смысл их отношений, неда-

ром называл её любовь к нему «тиранством». Желание злить её в нем все ещё не унималось.

— Да ведь теперь его сиятельство может тоже сказать вам «шалишь».

— Ну, это ещё вилами на воде писано, кто кому... — сверкнула она глазами, в которых отразилась дьявольская решимость.

Он понял, что она не только будет бороться за свое положение, но даже, пожалуй, останется победительницей.

Сердце его болезненно сжалось — его рабству, таким образом, не предвиделось конца. К этому чувству присоединился и страх за Глашу, которой несдобровать за любовь к нему со стороны этой мстительной женщины.

Он грустно поник головой.

Минкина чутьем догадалась, что происходило в его душе.

— Теперь можешь и восвояси идти, пока не позову, поздно, да и натолковались... — небрежно бросила она и вышла из комнаты.

Егор Егорович покорно исполнил волю властной хозяйки. Последняя же, прийдя в

свою спальню, не раздеваясь, бросилась на кровать и около часу пролежала навзничь, не переменяя позы, с устремленными в одну точку глазами.

Она обдумывала план борьбы.

Вдруг она вскочила с постели.

— Молода... добра... — вслух произнесла она.

План был готов.

XI

Мечты разбиваются

Со дня свадьбы Талечки прошло уже несколько месяцев. Попав в вихрь высшего петербургского света того времени, в водоворот шумной, с разнообразными, одно за другим сменяющимися впечатлениями придворной жизни, молодая графиня ходила первое время в каком-то полусне. У неё не было времени сосредоточиться, задуматься не только над пестрой волной новых лиц, хлынувших на неё, но даже над своим собственным мужем, которого она видела только за обедом или перед сном, и даже в первом случае

очень редко с глазу на глаз, так как почти ежедневно за столом являлся Петр Андреевич Клейнмихель и ещё несколько приглашенных. По вечерам он обыкновенно лишь вводил её в бальные залы и оставлял в кругу плеяды блестящих, но далеко не симпатичных аристократок — она чувствовала себя в этом обществе инстинктивно чужою, каковою они считали и её, допуская до себя лишь в силу исключительного положения её мужа. Наталья Федоровна, впрочем, не забывала о своих предсвадебных мечтах, мечтах, которым принесла она в жертву свою молодость, красоту, свою первую, сильную, ещё не совсем угасшую любовь, но, увы, они разбивались мало-помалу.

Принимать участие в делах всесильного своего супруга для неё оказалось только благочестивым желанием, тем *puim desiderium*, равносильным с полной неосуществимостью.

Люди, имевшие надобность в графе, а таких было тогда в Петербурге тысячи, пробовали зондировать почву со стороны влияния на него его молодой супруги, но вскоре разочаровались.

Первая же попытка молодой графини на поприще ходатайства перед мужем за одного просителя встретила со стороны графа не только решительный и бесповоротный отказ, но даже ухудшила положение дела, за успех которого ходатайствовала Наталья Федоровна.

Графиня, хотя это далеко было не в её характере, попробовала взять настойчивостью, но наткнулась на почти резкий ответ, в первый раз услышала грубый тон мужа, обращенный по её адресу.

— Знай раз навсегда, Наталья, что дела служебные и государственные не бабьего разума дело, и никакого я вмешательства в них бабы не потерплю, а тех дураков, которые с ними к тебе лазают, я от этого отучу по-своему, — заметил ей Алексей Андреевич, когда она вторично, воспользовавшись его добрым расположением духа, заговорила о каком-то чиновнике, просившем похлопотать о повышении, так как он обременен был многочисленною семьею.

Разговор происходил в будуаре графини, и граф, сказав ей эти слова, быстро вышел и

сильно хлопнул дверью.

Так окончилась общественная деятельность мечтательной энтузиастки.

Она обратилась к благотворительности. Толпы нищих стали собираться на угол Литейной и Кировой улицы к дому 2-й артиллерийской бригады, где жил граф Аракчеев, и получали щедрую милостыню из рук молодой графини, их ангела-хранителя. Слух об её благотворительности облетел все окраины тогдашнего Петербурга, где в лачугах и хижинах ютился неимущий люд. Нищие собирались обыкновенно во время отсутствия графа по делам службы, но однажды он, вернувшись ранее обыкновенного, застал выходящими со двора несколько десятков оборванцев.

— Это что такое? Отправить в полицию! — кратко и гневно распорядился он. — Кто впускал?

— По приказанию её сиятельства! — пробормотал дежуривший у ворот перепуганный насмерть солдатик.

— Отправить! — повторил граф. — Впредь не пускать к дому на выстрел.

Он прошел прямо к графине.

— Ты это что же, матушка, дармоедов разводить в Питере задумала. Полиция старается очистить столицу от проходимцев, а графиня Аракчеева, жена первого советника государя, в своем доме их прикармливает. Хорошо, нечего сказать, графское занятие.

— Но ведь это же доброе дело. По Евангелию. Они такие несчастные, полуголодные, — попробовала возразить Наталья Федоровна.

— Доброе дело... По Евангелию... Я, матушка, побольше тебя в Бога верю и, кажись, взыскан за это Его святою милостью, да и Евангелие тоже не раз читывал, знаю, что вера без дел мертва есть, только несчастье от лени и лодырничества тоже отличать могу, а твоих несчастных пороть надо да приговаривать: работай, работай — все несчастье их как рукой снимет. Доброе-то дело я и сам сделаю ближнему, коли он в настоящем несчастье — помогу, человека поддержу, коли он стоит того, а поощрять дармоедство да бездельничанье ни сам не стану, ни тебе не позволю. Так-то!

— Из них есть и действительно несчаст-

ные.

— Ко мне пришли. Бабья благотворительность — это для них только пустое времяпрепровождение, с жиру они бесятся, делать им нечего, вот они и благотворят. А различать несчастья не бабье дело, так как для бабы, кто больше да громче канючит, вот и самый несчастный. Так-то!

Наталья Федоровна замолчала, потому что убеждать графа, она уже знала это по опыту, было совершенно бесполезно.

— Так пришли же ко мне своих настоящих несчастных! — проговорил граф после некоторой паузы и, поцеловав руку жены, вышел.

Графиня Аракчеева была, таким образом, ограничена и в своей благотворительной деятельности.

Но в последнем случае она не всецело подчинялась распоряжениям графа и тайком продолжала оказывать добро обращающимся к ней, — посредником между просителями и её сиятельством был чуть не молившийся на молодую графиню камердинер графа Степан Васильев.

Среди прежних благодетельствованных

графинею лиц настоящих несчастных, которые бы решились отправиться к самому графу за помощью, не оказалось, хотя многих из них графиня не замедлила уведомить о желании его сиятельства.

Алексей Андреевич часто шутил с женой на эту тему и подтрунивал над нею, находя поддержку в очень часто бывавшей у графини запросто подруге её девичьих лет Екатерине Петровне Бахметьевой.

Последняя, очень скоро излечившаяся от своей оставшейся без ответа любви к Зарудину, с чувством злобной зависти встретила известие о выпавшей на долю её подруги Наташи Хомутовой высокой участи сделаться женою всесильного Аракчеева. То обстоятельство, что скромная и, по её мнению, далеко не красивая Наташа сделается графиней и первой дамой в империи, а она, красавица Бахметьева, должна будет, быть может, довольствоваться более чем скромной сравнительно партией, наполняло её душу почти ненавистью к самоотверженной, любившей её от всего своего честного сердца Наталье Федоровне.

Но Екатерина Петровна была слишком остра и практична, чтобы обнаружить эти чувства; напротив, она сразу смекнула, что любовь к ней графини Аракчеевой будет, несомненно, для неё полезнее любви Талечки Хомутовой и даже стала, по-видимому, ещё сердечнее относиться к своей подруге, радоваться её радостям и печалиться её печальями.

Не подозревая о существовании людского двуличия, наивная Талечка доверяла своей подруге все её волновавшие чувства, призналась, так как Катя Бахметьева объявила ей, что совершенно равнодушна к Николаю Павловичу, в том, что любила и любит Зарудина и что теперь выходит замуж за графа Аракчеева лишь для того, чтобы сжечь свои корабли и свято выполнить слово, данное ей Кате, не становиться на её дороге.

После этого, сорвавшегося с её губ признания, Талечка на несколько минут умолкла, устремив на Бахметьеву умоляющий взгляд. Она как бы ждала, что её подруга освободит её от данного слова, от клятвы, и тогда, тогда... можно ещё все поправить.

Это было недели за две до её свадьбы.

Но подруга... промолчала...

«Ну, а я не задумаюсь стать на твоей дороге!» — только злобно подумала она.

— Конечно, я буду ему верной и честной женой! — добавила Талечка, как бы в свое оправдание, поняв молчание Бахметьевой за немой укор.

— Кто же усомнится в тебе, ведь ты — ангел! — восторженно воскликнула Екатерина Петровна, нежно заключая её в свои объятия, чтобы скрыть волнение от появившихся в её голове далеко не дружелюбных мыслей.

Не знала Наталья Федоровна, что своею откровенностью давала страшное орудие в руки своей вероломной подруги.

Сделавшись графиней, она, конечно, ничуть не изменилась к ней и с согласия графа Алексея Андреевича, на которого не осталась без влияния задорная красота молодой девушки, всюду таскала её за собой в театры, на балы, и от себя не отпускала по целым неделям.

— Ты будешь тоже княгиней или графиней! — шептала она ей в уши и была уверена, что красота Бахметьевой не пройдет не заме-

ченной в высшем петербургском свете.

Она и не ошиблась — её заметил действительно граф, и это, был... граф Алексей Андреевич Аракчеев.

В голову наивной и чистой душою Натальи Федоровны не могла даже закрасться мысль о чем-либо подобном.

XII

Болезнь Минкиной

Зимний сезон уже давно окончился, балы, приемы и выезды прекратились, жизнь Натальи Федоровны после шумного медового месяца потекла более однообразно. Начался и прошел апрель, наступили первые числа мая, и граф Алексей Андреевич приказал готовиться к переезду на лето в Грузино.

Собственно, особенных сборов для этого никаких не требовалось, так как в грузинском доме была уже давно устроена и меблирована половина графини, и само приказание готовиться к отъезду, а не просто назначение времени его, как это делалось графом обыкновенно, доказывало, что Алексей Ан-

дреевич неохотно покидал Петербург.

Да и на самом деле, предстоящее переселение в Грузино довольно сильно волновало его. Он — ему стыдно было сознаться в том самому себе — боялся встречи с Настасьей Федоровной. Не раздирающих душу сцен и горьких упреков боялся он, он знал, что Настасья не решится на них, хорошо памятуя то расстояние, которое существует между ними, не боялся и предстоящего объяснения с нею, так как никаких объяснений он ей не был намерен давать, ей, холопке, взысканной его, графским, милостивым капризом. Он будет молчать. Он считал Настасью слишком умною бабою, чтобы она могла действовать или поступать иначе, и из донесений вотчинного управления он видел до сих пор, что не ошибается: все распоряжения по приготовлению половины молодой графини исполнялись домоправительницей в точности и беспрекословно, с присущей ей пунктуальностью и заботливостью. Только в одном из докладов графу помощника управляющего Воскресенского появилось краткое известие:

«А Настасья Федоровна, за последнее

время, все прихварывает».

«Врет, притворяется...» — решил граф.

Других известий о грузинской домоправительнице в течение нескольких месяцев никаких не было. Первою мыслью графа Алексея Андреевича после, вероятно, не забытого читателями разговора о Настасье с Федором Николаевичем Хомутовым, было наградить её и выслать из Грузино, вместе с маленьким Мишей, но вскоре эта мысль была им оставлена.

«Отношения мои с ней окончены навсегда, а как экономка она незаменима, жена — девочка, что смыслит в хозяйстве, и что такое связь с холопкой, разорвал и баста — пикнуть не посмеет, только благодарна будет, что в три шеи не прогнал...» — рассудил граф и решил все оставить по-прежнему, но на свидание с Минкиной перед свадьбой не решился и упорно оставался в Петербурге в течение более полугода.

Теперь же граф сожалел, что не предупредил свою экономку-фаворитку, теперь он боялся, что она, обиженная и оскорбленная, сама уйдет от него, между тем как её плени-

тельный сладострастный образ все чаще и чаще стал восставать перед графом, так как его молодая жена была далеко не такой женщиной, которая могла бы действовать на чувственную сторону мужской природы.

В силу этого-то граф плотоядными глазами стал поглядывать на Екатерину Петровну Бахметьеву, но достижение цели в этом случае было сопряжено с риском светского скандала, чего граф боялся, как огня, а там, а Грузине, жила красавица Настасья, полная здоровья и страсти и он, граф, променял её на эту, сравнительно тщедушную женщину с почти восковым, прозрачным цветом лица, «святыми», как стал насмешливо называть Алексей Андреевич, глазами, далеко не сулящими утолить жажду плотских наслаждений — такой вскоре после свадьбы сделалась Наталья Федоровна.

Такие чувства волновали графа, уже после первого месяца охладевшего к своей жене, а с другой стороны, силою своей железной воли, он старался побороть этот соблазн и остаться верным долгу, клятве, произнесенной перед алтарем, и, наконец, решил «от греха» на са-

мом деле уволить Настасью.

Несколько раз принимался он писать в вотчинную контору этот роковой приказ, но не дописав до конца, рвал бумагу и откладывал до следующего дня.

Наступило время переезда в Грузино.

— Распоряжусь на месте! — пришел граф к последнему решению.

Приезд в Грузино графа и графини Аракчевых состоялся с особою торжественностью: на пристани Волхова сиятельные владельцы были встречены всеми представителями вотчинного управления, из которых многие были в присвоенных их должности вышитых золотом кафтанах. Им были поднесены хлеб-соль на деревянном, искусно выточенном блюде, масса народа стояла шпалерами и бросала на пути графской коляски ветви деревьев и полевые цветы.

Графиня приветливо кланялась и улыбалась по сторонам. Торжественность встречи льстила её молодому самолюбию. Граф был мрачен, и на его губах при приветствиях мелькала деланная улыбка.

Настасьи Федоровны при встрече не было.

Он ожидал, что она встретит его и графиню на крыльце грузинского дома, но и там среди высыпавших навстречу слуг, с Воскресенским во главе, не было домоправительницы.

«Коли так... прогоню... сегодня же прогоню!» — неслось в голове Алексея Андреевича.

Вскоре после приезда был сервирован обед на две персоны. Граф и графиня откушали и разошлись по своим апартаментам.

Алексей Андреевич приказал разбудить себя через два часа и прислать к нему в кабинет Егора Егоровича для доклада.

В назначенный час Воскресенский явился с кипой бумаг и книгами.

Граф внимательно стал пересматривать счета.

— А где же Настасья?.. Я её не видал... — уронил Алексей Андреевич, как бы между прочим.

— Настасья Федоровна уже неделю как не встают с постели, — почтительно доложил Егор Егорович.

— Что с ней! Взаправду больна? — вскинул на него граф пронизательный взгляд.

— Больны... как только мы получили известие о прибытии вашего сиятельства, с того дня и занедужилось ей... жар, озноб, бред... Господин доктор два раза на дню посещает... а какая болезнь, ума не приложит... надо полагать, что простудилась... — объяснил помощник управляющего, видимо, повторяя заученный урок.

— А... а... — прогнусил граф и, просмотрев последние бумаги, отпустил Воскресенского.

Оставшись один, граф стал большими шагами ходить по кабинету.

— Больна... Неделю лежит... И с чего это с ней приключилось... — по временам про себя бормотал Алексей Андреевич.

«Прогнать... — снова появилась в его голове мысль. — Да как же прогнать больную... Ведь не собака, и ту не выгонит больную хороший хозяин... А это все-таки женщина, столько лет бывшая мне близкой, преданной... Нельзя прогнать!.. Пусть выздоровеет!..»

Он стал припоминать заслуги перед ним его верной домоправительницы, её обаятельный образ снова стал настойчиво носиться

перед ним. Он так давно не видал её.

«Что-то она, изменилась ли? Похудела ли?»

Граф нетерпеливо потрянул головой, как бы силясь отогнать эти мысли, вышел из кабинета и прошел к жене.

Наталья Федоровна лежала в своем роскошно мебелированном будуаре и дремала. Быстрый и шумный приход мужа заставил её встрепенуться. Она открыла глаза и удивилась необычайному выражению его лица: он был весь красный, глаза как-то особенно горели...

— Что с вами? — удивленно спросила она. Наталья Федоровна говорила мужу «вы»?

— Ничего... Я пришел к тебе... — с дрожью в голосе проговорил он и сел на кушетку.

— А я ещё не успела отдохнуть как следует, не могла уснуть никак, эта непривычная встреча так взволновала меня... я до сих пор совсем, как разбитая... с дороги верно... — слабым голосом произнесла она.

Граф нахмурил брови, быстро отнял руку, протянутую было для того, чтобы обнять жену, и сухо сказал:

— В таком случае, отдыхай, я мешать тебе не буду...

Он прошел снова к себе в кабинет, взял фуражку и вышел на двор.

Через несколько минут он уже поднимался по ступеням крыльца флигеля Минкиной.

XIII

Власть страсти

Первые комнаты флигеля были пусты, последняя, занятая под спальню, была погружена в полумрак, занавеси на окне были спущены, и только свет от двух лампад, висевших перед киотом со множеством образов в переднем углу комнаты, давал некоторую возможность разглядеть находившиеся в ней предметы.

Граф вошел тихо, стараясь не плотно ступать по полу.

— Батюшка, граф, родимый мой, вас ли я вижу... — раздался голос Настасьи Федоровны, лежавшей на постели.

Со скамейки, стоявшей у её ног, быстро поднялась Агафониха, прерванная в середине

доклада своей благодетельнице о приезде графа с графинею, сделала графу почти земной поклон и кубарем выкатилась из комнаты, не забыв, впрочем, плотно притворить за собою дверь.

— Больна? — отрывисто буркнул Алексей Андреевич, сделав несколько шагов по направлению к кровати.

— Что-то занедужилось, благодетель мой, может, и с тоски, вас, родимый, ожидаючи, свалилась я, сердце мое изныло по вас, да по графинюшке, ждала не дождалась вас, голубя с голубкою чистою, да, видно, не допустил меня Бог до того, окаянную... Все ли в исправности в доме-то, граф-батюшка, ваше сиятельство?

Настасья Федоровна стала как бы с трудом приподниматься на постели.

— Все исправно, благодарствуй... Лежи, лежи... — уже более мягким голосом произнес граф. — Что чувствуешь?

— Да теперь как будто сразу полегчало, как благодетеля моего ваше сиятельство увидала, думала уже околею, не увидя ясных очей ваших, под сердце так все и подкатывало...

— Ну, колеть-то ещё рано... поживешь... и сердце авось успокоится... — с лукавой усмешкой заметил Аракчеев.

— Хозяюшке-то, её сиятельству, как имение приглянулось, все ли в порядке нашла в своих апартаментах, — пропустила как бы мимо ушей шутку графа Минкина.

— Кажись, всем довольна, только устала после дороги, растрясло её, лежит, отдыхает...

— С чего же это растрясло, экипаж-то, как люлька, покойный...

— Хилая она у меня, Настасья, хилая... — как бы жалобным тоном заметил граф.

— Х-и-и-и-лая! — протянула Минкина и с соболезнованием покачала головой.

Алексей Андреевич, освоившись с полумраком комнаты, различил теперь вполне черты лица своей домоправительницы. Ему показалось, что она на самом деле похудела, хотя это не уменьшало её красоты, а мягкий свет лампад, полуосвещаая её лицо с горевшим лихорадочным огнем, устремленными на графа глазами, придавал этой красоте нечто фантастическое, одеяло было наполовину откинута и высокая грудь колыхалась

под тонкою тканью рубашки.

Граф присел на край кровати.

В глазах Настасьи Федоровны мелькнул чуть заметный огонек торжества.

— Может, спать хочешь, я уйду, коли беспокою... — заметил граф сдавленным голосом, видимо, лишь для того только, чтобы что-нибудь сказать.

— И что ты, батюшка, граф, родимый мой, свою верную рабу обижать вздумал; беспокоишь, да я нонешний день светлым праздником почитаю, что пришел ты, милостивец, навестил меня, болящую.

Настасья Федоровна совершенно неожиданно для графа схватила его руку и стала покрывать её жаркими поцелуями.

— Перестань, перестань! — смущенно бормотал он, стараясь выдернуть руку, но Минкина крепко держала её в своих руках.

— Уж дай хоть на часок отвести душеньку... — почти сквозь слезы проговорила она.

Граф не выдержал и, наклонившись, поцеловал её в голову. Несколько минут оба молчали.

— Ты как же приняла известие, что я... же-

нился?.. — с трудом, еле выговаривая слова, произнес Алексей Андреевич.

— Известное дело как, порадовалась, что по сердцу себе нашел из своего круга, от души пожелала счастья моему благодетелю. Сказывали, что графиня и красавица писаная, и доброты ангельской. Чай, не солгали мне, ваше сиятельство?

— Нет, она ничего, хорошенькая и добрая... — довольно равнодушно заметил он.

— Ну, о наследнике или наследнице, не слыхать ещё? — с дрожью в голосе спросила Настасья.

— Нет, — мрачно ответил граф, — да ка- жись и не будет, говорю, она хилая.

— Не будет, вот грех какой, а может, Бог и пошлет, поправится её сиятельство, летом на вольном воздухе. Знаю ведь я, граф милостивый, сердцем чую, что ты женился из-за ребеночка, тогда ещё мысль эта в голову тебе за- пала, когда открылся обман мой окаянный относительно Мишеньки.

— А что он? — спросил Алексей Андреевич, чтобы переменить разговор.

— Растет сиротинушка, все папу вспоми-

нает, несмышлелыш ещё, так я, прости мне, Господи, ему не сказывала, что нет у него ни отца, ни имени, а привязалась я к нему, как на самом деле к сыну... уж так привязалась.

— И дело, что не болтаешь вздору ребенку, что он поймет теперь, вырастет, будет ещё время растолковать ему, — задумчиво отвечал граф.

Снова произошла довольно длинная пауза.

— Я не то хотел знать... радовалась ты или не радовалась. Я хотел спросить тебя, что ты о себе-то подумала, когда узнала, что я женюсь, — начал Алексей Андреевич.

— О себе? Да что же мне о себе думать-то, разве я своя, я твоя, благодетель мой, до конца живота твоя, что захочешь ты, то с верной холопкой сделаешь, захочешь — при себе оставишь, а захочешь — на двор с Мишей выкинешь или, может, одну — твоя воля графская, а мне чего же о себе думать.

— Вот ты какая!

— А то какая же, разве не знаешь!.. Раба, до гроба раба твоя, хочешь — со щами ешь, хошь — с маслом пахтай... ни слова не скажу, все снесу безропотно и ласку, и побои от руки

твоей, родимый мой.

Она снова стала покрывать поцелуями его руку, которую он по забывчивости оставил в её руке. От сильного движения ворот её рубашки расстегнулся, и перед глазами графа мелькнула её обнаженная грудь. Она заметила это, выпустила его руку и стала торопливо застегиваться, но он уже привлек её к себе.

— Только вот что... ведь больна ты.

— Здорова, голубчик мой родимый, здорова, поглядела на тебя и выздоровела... люблю ведь я тебя так, что кажись мертвая от ласки твоей воскресла бы.

Она обвила его своими горячими руками...

С веселой, почти торжествующей улыбкой вышел граф Алексей Андреевич из флигеля Минкиной. Забыты были и долг, и клятва перед церковным алтарем. Изгнание властной домоправительницы, так недавно бесповоротно решенное графом, отличавшимся во всем другом железною волею и непоколебимою решимостью, таким образом, не состоялось. Минкина снова царствовала в его сердце. Такова была власть страсти над этим замечательным человеком.

XIV

Первая житейская грязь

Чудная майская ночь спустилась над Грузи-
ным.

После ужина вдвоем с графом, за которым последний был очень весел и оживлен, подробно говорил о проекте нового каменного дома, который он намеревался начать строить в Грузии нынешним летом, супруги разошлись по своим комнатам.

Графиня, отдохнув днем, не могла заснуть и, раздевшись и отпустив горничную, накинула на себя легкий капот и, потушив свечу, села к окну и отворила его, подняв штору.

Окно выходило в сад. Волшебный белый свет майской ночи ворвался в спальню. Наталья Федоровна с жадностью вдыхала чистый свежий воздух, смешанный с ароматом трав и цветов. Причудливо распланированный сад с его роскошной растительностью, вековыми деревьями, переплетенные ветви которых в этом таинственном полусвете принимали фантастические формы, лежал перед ней, воз-

буждая в её экзальтированной душе чувство какого-то боязливого благоговения. Крутом царило торжественное спокойствие, ни один листок не колыхался и не шелестел, и лишь изредка удары в чугунную доску церковного сторожа гулко отдавались в воздухе, ещё более оттеняя окружающую тишину.

Наталья Федоровна тоже сидела совершенно неподвижно, она, казалось, замерла вместе с природою и боялась малейшим движением разрушить это обаяние величественно спящей природы.

Прошло около часу. Вдруг в соседней комнате раздались чьи-то осторожные шаги, слышался шелест платья, скрипнула дверь, которую Наталья Федоровна оставила не запертой.

Последний звук вывел из оцепенения графиню Аракчееву, она быстро и испуганно обернулась.

На пороге спальни, одетая вся в черном, стояла высокая, полная, красивая женщина, с небрежно свитой, черной как смоль косой и с блестящими, искрящимися в полусвете комнаты глазами.

Наталья Федоровна вскочила, но не произнесла ни звука; страх сковал ей уста.

— Простите, голубушка, ваше сиятельство, что не в урочный час вас беспокоить осмелилась, слава Создателю, что спать лечь не изволили, ночью чудною залюбовались, а то разбудить мне пришлось бы вас, потому дело у меня очень спешное... — заговорила вошедшая.

— Кто вы, и что вам надо? — оправившись от первого испуга, все ещё дрожащим голосом выговорила графиня.

— Верная слуга вашего сиятельства, здешняя экономка Настасья. Может, слышать изволили?

Минкина остановилась.

— Нет, не слыхала... что ж тебе надо? — все продолжая стоять, судорожно сжимая спинку кресла, отвечала Наталья Федоровна.

Это властное «ты», с которым обращался к Настасье Федоровне в грузинском доме только один граф Алексей Андреевич, как бичом ударило гордую экономку. Она даже слегка вздрогнула, и между её густыми, точно нарисованными бровями появилась маленькая

складка, а в глазах на мгновение блеснул недобрый огонек.

Графиня не заметила произведенного на вошедшую впечатления от изменения её тона и молча ожидала ответа.

— Присядьте, ваше сиятельство, потому что речь моя будет долгая... — тоном фамильярной, тоже почти властной просьбы начала Настасья.

Наталья Федоровна машинально послушалась и опустилась в кресло.

Она, впрочем, и сама еле стояла на ногах, взволнованная неожиданным таинственным визитом.

Сердце её томительно сжалось в предчувствии чего-то недоброго.

Минкина тихо приблизилась к ней, но молчала.

— Я слушаю! — с трудом произнесла графиня.

— Дайте мне, ваше сиятельство, с мыслями собраться... Как и речь свою начать, не придумаю... К приезду-то вашему да к беседе этой я уже с полгода, как к исповеди готовилась, даже слегла в постель, истомившись, думала пе-

ред вами во всех моих прежних грехах покаяться, да и в сторону... а тут ноне ещё грех прибавился, так и не соображу...

Наталья Федоровна пристально смотрела на говорившую, не понимая положительно значения её слов; у ней мелькнула даже мысль, что это сумасшедшая, и от этой мысли холод пробежал по её спине, и она испуганно подвинулась в глубину кресла.

— Так о Настасье Минкиной, экономке его сиятельства, графа Алексея Андреевича, говорите вы, ваше сиятельство, и слыхом не слышали?

— Нет, не слыхала.

Наталья Федоровна говорила совершенно искренно, она действительно даже не подозревала о существовании среди графской дворни женщины, заслуживающей её исключительного внимания, в чем, видимо, так настойчиво сомневалась её странная поздняя гостья, имевшая, по крайней мере, по её внешнему виду, полное право на такое внимание.

Графиня Аракчеева поняла, что перед ней стоит далеко не обыкновенная служанка, что

с присутствием этой красавицы в доме графа соединена какая-то тайна, которая касается и её, Натальи Федоровны.

Тому, что Наталья Федоровна не знала о существовании знаменитой фаворитки своего мужа, о чем знала и говорила вся тогдашняя Россия и даже Европа, она была обязана замкнутости своей девичьей жизни; отец и мать не решились посвятить её в это, даже когда она сделалась невестою графа, причем первый ограничился, как мы видели, коротким объяснением с Алексеем Андреевичем, две горничные Натальи Федоровны, перешедшие с нею в дом графа, также находились относительно Минкиной в полной неизвестности. Степан же Васильев, с которым с одним среди графских слуг имела разговор молодая графиня, из уважения к последней — он называл её не иначе, как «небесным ангелом» не решался при ней произнести имя этой негодницы и, кроме того, считал, что с женитьбою граф покончил с «цыганкой», чему старый слуга очень радовался.

Потому-то появление Минкиной и было поражающим для графини Аракчеевой.

— Вижу, матушка, ваше сиятельство, что нет в вас ни на столько хитрости, — Минкина показала на кончик мизинца своей правой руки. — Хорошо, значит, я сделала, что поспешила предстать перед ваши ясные очи, пока люди обо мне вам ни весть чего наговорить не успели... Все равно, не нынче-завтра узнали бы вы, кто здесь до вас восемь лет царил да властвовал, кого и сейчас в Грузине, в Питере, да и по всей Россее называют графиней...

Она остановилась и пристально посмотрела на сидевшую неподвижно и молча Наталью Федоровну.

— Меня, ваше сиятельство, меня, холопку, мещанку Минкину!..

Графиня, уже насмерть перепуганная, широко раскрытыми глазами смотрела на неё. То, что она имеет дело с сумасшедшей, казалось ей непреложной истиной.

Настасья как бы угадала её мысли.

— Может, вы думаете, ваше сиятельство, что я полоумная... Не бойтесь, в полном рассудке, хотя за последнее время вся исстрадалась я да измучилась, но видно родилась я та-

кая крепкоголовая... Простите меня, ваше сиятельство, окаянную, поведаю я вам тайну великую, все равно от людей услышали бы, бремя с души своей сниму тяжелое... Слушайте, как на духу, ни словечка не солгу я вам...

Настасья совершенно неожиданно для графини опустилась перед ней на колени.

— Встань, встань... что ты... — заторопилась было она, приподнимаясь с кресла.

— Сидите, ваше сиятельство, и слушайте! — дотронулась до неё рукой Минкина.

Наталья Федоровна повиновалась.

Медленно, тихим голосом начала Настасья свой рассказ об отношениях к графу Алексею Андреевичу с самого начала возникновения этих отношений, входя в мельчайшие, томительные, как она видела, для слушательницы подробности.

По мере того, как она говорила, Наталье Федоровне становился все яснее и яснее весь ужасный смысл её рассказа, форма которого и тон исключали всякую возможность недоверия.

Настасья Федоровна именно и рассчитывала на это впечатление, чтобы в конце своей

исповеди представить некоторые обстоятельства и изобразить свое положение в ином свете, нежели они были на самом деле, заранее гарантируя себе полное доверие графини. Она кроме того хотела пробудить в ней сочувствие к себе. Она вполне достигла и того, и другого. Графиня Аракчеева внимательно слушала стоявшую на коленях Минкину, и в её чудных глазах отражалось испытываемое ею внутреннее волнение, несколько крупных слезинок блестели на её длинных ресницах.

— Загубил он мою молодость и красоту, какую, не вольной волюшкой сошлась я с ним первый раз, улестил он меня подарками да ласками, да и страху вдоволь натерпелась я, ребеночек у меня от него есть, сынишка, седьмой год мальчишке, Миша зовут, не признает он себя отцом его, да и мне не велит сказываться матерью, подкидыш, да и весь сказ, а что я с его графским сиятельством поделаю... Привязалась же я к графу страсть как, характер у меня уж такой привязчивый, да и девятый год — не девятый день, матушка графинюшка.

Настасья Федоровна умолкла.

— А где же он... этот... Миша? — прерывающимся голосом спросила Наталья Федоровна.

— Здесь, в Грузине, при мне, ваше сиятельство, это граф дозволили, и с первоначально очень с ним сам забавлялся... а потом, с год уже...

Минкина тяжело вздохнула.

— Что же потом?

— А потом в Питере граф запропастился, вас, ваше сиятельство, увидал, присватался... уж не до меня и не до сынишки ему было... — чуть не со слезами в голосе ответила Настасья.

Графиня молчала, но её лицо приняло какое-то совершенно несвойственное ей строго-вдумчивое выражение. Видимо, в ней происходила какая-то внутренняя ожесточенная борьба; безыскусный, правдивый во всех его частях, как по крайней мере была убеждена она, рассказ Минкиной разрушил созданные воображением Натальи Федоровны книжные идеалы. Брызнувшая на неё первая житейская грязь причинила ей не только нравственное, но и чисто физическое страдание.

В её светлых глазах появилась мрачная

ть, а по лицу забежали легкие судороги, симптомы физической невыносимой боли.

Настасья, зорко следившая за графиней, не могла не заметить этого и продолжала убитым голосом:

— Горько мне было, ох, как горько, как узнала я про графскую женитьбу, не то горько, что женился он, его это дело, и дай ему Бог счастья, совета да любви, не я, холопка, его не стоящая, могла ему быть помехою, а то горько, что не сказал мне напрямки, что обзавестись хочет законной хозяйшкой, а сделал это как-то тайком да крадучись... И решила я тогда, что дождусь я приезда вашего, свой грех прошлый с ним вам, как на духу, выложу, возьму Мишутку, да и попрощаюсь с его сиятельством, не показав ему горя моего тайного... Ан судьба-то мне иная выпала, не в одних прошлых грехах каяться перед вами, графинюшка, приходится, а и в настоящем грехе, сегодняшнем, граф-то у меня был под вечер...

Минкина остановилась и пристально взглянула на Наталью Федоровну.

— Сегодня? — спросила та, глядя на неё каким-то блуждающим взором.

— Сегодня, матушка, ваше сиятельство, пришел он ко мне прежний, ласковый, о вас и не заикнулся, да и я спросить побоялась, побоялась и супротивничать...

Настасья Федоровна стыдливо опустила глаза. Графиня молчала, глядя куда-то в сторону.

— Как-то легче стало мне, как перед вами я открылась, — снова начала Минкина, — теперь вам ведомо, так как прикажете?

Она замолкла, как бы ожидая ответа.

— То есть что, как прикажете? — после продолжительной паузы спросила Наталья Федоровна.

— Жить ли мне здесь или сбежать тайком, так как волею граф не выпустит, сегодня ещё сказал мне, что не расстанется со мной до смерти, боюсь, и коли сбегу я, на дне морском сыщет, власти-то ему не занимать стать.

— Зачем же сбегать, живите, коли на то графская воля, — твердым, с чуть заметною дрожью, голосом сказала графиня.

— Нет, воля тут, ваше сиятельство, не графская, а ваша! — низко наклонив голову, почти прошептала Настасья. — Коли вам я во всем

открылась, значит, вашу волю мне и знать желательно, потому, коли узнает его сиятельство, что все я вам поведала, со света сживет меня, и сбежать мне куда сподручнее. Без вашей воли да без слова вашего, что все, что я здесь вам ни говорила, в четырех стенах останется, я не жилища здесь, ваше сиятельство!

— Живите! — с видимым усилием почти вскрикнула Наталья Федоровна и, поднявшись с кресла, отодвинула его назад и пошла, шатаясь, по направлению к кровати.

Минкина несколько секунд осталась стоять на коленях среди комнаты; затем встала и тихо, с опущенною головою, вышла из комнаты. На пороге она полуобернулась и бросила на графиню злобный торжествующий взгляд. Последняя его не заметила: она лежала ничком на кровати, уткнувшись лицом в подушки, и беззвучно рыдала, о чем издали красноречиво свидетельствовало конвульсивно приподымавшееся её худенькое тельце.

XV

Прозревшая идеалистка

Слезы и рыдания лишь отчасти облегчили эту неожиданную тяжесть, которая упала на душу несчастной Натальи Федоровны при рассказе Минкиной. В её сердце заклокотало какое-то до сих пор неведомое ей чувство горечи относительно всей окружающей её обстановки и живущих около неё людей. Вокруг неё вдруг образовалась какая-то роковая пустота, и ей казалось, что она задыхается в безвоздушном пространстве. Голова её горела, по телу пробежал озноб, и эти её нравственные страдания вылились в форму мучительного бреда. Наталье Федоровне грезилось также ясно, как наяву, что она разломила пополам земной шар, обе половинки которого лежат перед ней, находящейся в совершенном одиночестве, в каком-то пространстве, без всякой точки опоры. «Жить более нельзя, — мелькала в её голове мысль, — разве спастись, уйти», — подсказывал ей какой-то внутренний голос. Она бессознательно встала с постели,

поставила стул на стол, ловко вскарабкалась на него, и в таком положении нашла её горничная, проснувшаяся от шума передвигаемой мебели в спальне графини.

Горничная спала в соседней комнате.

Бесчувственную Наталью Федоровну осторожно сняли с её оригинального сидалища и уложили в постель. Явившийся домашний доктор графа холодными компрессами привел её в чувство и, не постигая ни причин, ни формы болезни, предписал лишь безусловный покой. Все в доме заходили на цыпочках.

Назначенное на другой день народное празднество, по случаю прибытия графа и графини в Грузино, было отменено.

— Ужели её так взволновала вчерашняя встреча? — догадывался граф. — Уж и неженка же, — недовольным тоном ворчал он сам про себя.

Ему и в голову не приходило, что эта, взволновавшая его жену встреча, была не встреча на пристани с народом, а неожиданная встреча с другой грузинской графиней — Настасьей Минкиной.

— Молодая-то графиня — порченая! — ше-

потом передавали друг другу грузинские крестьяне.

— Настасья хоть кого испортит! — умозаключали многие. В данном случае это была роковая правда.

Граф Алексей Андреевич несколько раз на дню заходил к больной, но та лежала с закрытыми глазами, спала или притворялась спящей.

Последнее было верней. Наталья Федоровна, очнувшись от своего тяжелого бреда, решила воспользоваться предписанным ей покоем, чтобы всесторонне обдумать свое положение, образ своих дальнейших действий и до окончательного решения не желала разговаривать с мужем.

Ночь свидания с Минкиной была ночью перерождения молодой женщины — идеалистка прозрела. Розовый флер, закрывавший от неё видимый мир, был безжалостно разорван в клочки рукой неумолимой действительности, и резкие формы окружающих её предметов выступили перед ней во всей своей ужасающей безобразной наготе, клочки розового флера, там и сям ещё покрывав-

шие расстилающуюся перед ней картину, придавали остальным её частям ещё более уродливый вид.

Наталья Федоровна начала срывать и эти последние ключья своих розовых грез недавней юности.

Эта работа, граничившая с самобичеванием, доставляла ей жгучее наслаждение.

Нет наслаждения выше пытки самого себя, хотя это наслаждение несчастья. Молодая женщина теперь испытывала это.

В течение трех дней, наедине сама, с собою, испытующим духовным взором вглядывалась Наталья Федоровна в свою прошлую и будущую жизнь.

Первая представлялась ей сплошным рядом ошибок в людях и в поступках, само её отречение от своей первой искренней любви для Кати Бахметьевой, да и сама эта Катя получила в глазах Натальи Федоровны совершенно иную окраску. Она почти раскаивалась. Только четверо лиц светлыми точками блестели на темном горизонте её прошлого: это был её отец, мать, Зарудин и Кудрин, несмотря на то, что последнего она видела

всего несколько раз. Вторая картина, картина её будущей жизни, была сплошь затянута непроницаемой серой дымкой: что ожидало её впереди? Какая цель теперь её безотрадного существования? Она достигла высокого положения в обществе! Что ей дало оно? От общественной деятельности, о которой она мечтала, она должна отказаться навсегда — волею всесильного графа, её мужа, у ней связаны руки более, нежели у жены самого простого человека. Надежда быть матерью для неё, слабой здоровьем, является неосуществимою. В хозяйстве она ничего не понимает, да и её высокое положение не позволяет входить в эти мелочи — дело слуг. Так сказал ей сам Алексей Андреевич. Быть верной женой? Увы, она должна будет в этом случае делить с другой ласки неверного мужа. Это выше её сил! Что же остается ей? «Ничего!» — подсказывает ей единственный ответ какой-то внутренний голос.

Мысли графини переносятся на Настасью Минкину.

«Как неизмеримо эта женщина счастливее, чем я! — думает Наталья Федоровна. —

Она любит и любима! Хотя эта любовь и не удовлетворила бы меня, но она не знает иной и... довольна. У ней есть ребенок! Надо непременно посмотреть его. У ней есть, наконец, деятельность».

«Что же делать?» — восстает в уме молодой женщины вопрос.

«Разве спасись, уйти!» — проносится в её голове мысль недавнего бреда.

Куда, зачем?

В родительский дом, но отец и мать полагают, что она, их дочь, так счастлива. Зачем разрушить их иллюзию! Николай Павлович Зарудин потерян для неё навсегда. Он не простит ей оскорбленного чувства. Нет, увы, вступив в брак с графом Аракчеевым, она сожгла свои корабли, возврата нет. В монастырь! Но это серьезный шаг, хотя и единственный сообразный с обстоятельствами — его надо обдумать. Какие причины выставит она теперь своему мужу? Выдать Минкину — женщину, доверившуюся ей и искренне перед ней раскаявшуюся в своем невольном грехе, невольном несомненно, она достаточно знает графа. Нет, на это она не способна.

Она будет молчать и постепенно удаляться от мужа, на это у ней есть причина — она больна. А там — Божья воля. Так решила Наталья Федоровна.

«А если эта женщина лжет, клеветает на графа, если она сумасшедшая?» — мелькают в голове графини вопросы.

«Нет, не может быть, так не лгут!» — тут же раздается ответ.

А впрочем, у ней будет время проследить, убедиться.

XVI

Фаворит графини

И Наталья Федоровна убедилась. Оправившись от болезни, она приняла, наконец, Алексея Андреевича.

Он холодно поцеловал её в лоб.

— Ну, что, как себя чувствуешь?

— Мерсі, теперь много лучше, думаю сегодня встать, но все ещё чувствую себя слабой.

— Н-да... — прогнусил граф довольно равнодушно.

— Настолько слабой, — продолжала графини-

ня, — что даже не знаю, как теперь примусь за хозяйство.

Она исподлобья пристально посмотрела на мужа.

— За хозяйство... — повторил он, не глядя на неё, — в хозяйство тебе соваться нечего, не барыни это дело, у меня есть ключница, восемь лет уже живет, хорошая, аккуратная женщина, знает грузинское хозяйство и мои вкусы. Настасьей её зовут, может, слышала?

Граф остановился.

— Нет... не... слышала... — с трудом, вся покраснев от первой лжи, отвечала Наталья Федоровна.

Он этого не заметил, продолжая смотреть куда-то в сторону.

— Да, я и позабыл, она нас не встречала, так как больна была. Когда встанешь, прикажи её позвать, потолкуй с ней. Будь только поласковой, она преданная и честная.

Граф с видимым усилием взглянул на жену.

Она уже успела оправиться и отвечала совершенно спокойно:

— Хорошо, это меня радует, а то я думала,

что все это будет лежать на мне и боялась, справлюсь ли я.

— Нет, нет, ты поговори с ней, но ни во что не мешайся, это вредно для твоего здоровья... — как-то особенно заспешил граф и, посидев ещё немного, ушел из спальни жены.

Графиня проводила его долгим взглядом.

В этом взгляде видна была скорее жалость, нежели раздражение.

От неё не ускользнуло его смущение — оно явилось первым подтверждением рассказа Настасьи.

Часа два спустя, Наталья Федоровна встала с постели и, одевшись с помощью своей горничной, села в кресло и сказала:

— Позовите ко мне Настасью.

— Настасью Федоровну? — сделала та испуганно-удивленное лицо.

Горничная, видимо, уже успела проникнуть в тайну посещения Минкиной.

— Ну да, Настасью Федоровну, если её так зовут по-батюшке... одним словом, ключницу... — резко заметила графиня и бросила на свою служанку непривычный строгий взгляд, заставивший последнюю проглотить фразу,

видимо, бывшую на её языке и ограничиться стереотипным.

— Слушаю.

Горничная вышла.

«И эта знает все... всю эту грязь!» — мелькнуло в голове графини.

Не прошло и четверти часа, как в спальню Натальи Федоровны уже входила скромно одетая в черное платье, с опущенными долу глазами Настасья Минкина.

— Звать изволили меня, ваше сиятельство?

— Да, я пригласила вас, чтобы, во-первых, с вами познакомиться, — Наталья Федоровна подчеркнула это слово, как бы давая понять, что она даже сама позабыла о ночном визите к ней Настасьи, — так как граф сказал мне, что по нездоровью, вы не могли представиться мне в день нашего приезда и, кроме того, заявить вам, что с моим приездом ваши обязанности не изменяются, так как хозяйством я заниматься не буду... Надеюсь, что граф будет по-прежнему вами доволен.

— Постараюсь угодить вашему сиятельству... — скромно ответила Минкина.

— Можете идти... — отпустила её графиня.

Настасья Федоровна тихо вышла, по-прежнему не поднимая на Наталью Федоровну своих полуопущенных глаз.

Выйдя из комнаты, она гордо подняла свою красивую голову, и на её красных, как кровь, губах появилась улыбка торжества: она поняла, что графиня сдалась, вследствие каких причин, какое ей было до этого дело!

Она чувствовала лишь, что она осталась все тою же могущественной домоправительницей, все тою же властной Настасьей-графинюшкой.

Прошла неделя.

Граф Алексей Андреевич, войдя в полную ничем не нарушаемого порядка колею грузинской жизни, занятый начавшимися постройками, не заметил перемену в отношении к нему молодой графини, да и перемена эта, кстати сказать, не была резка, так как отношения между супругами были уже давно холодны. Наталья Федоровна проводила дни в своей комнате, гуляла и, встречаясь с мужем во время утреннего и вечернего чая, завтрака, обеда и ужина, была по-прежнему лас-

кова и только чаще прежнего жаловалась на свое нездоровье, но эти жалобы, ввиду близости Минкиной, не особенно трогали графа.

Оба супруга, видимо, были довольны установившимся положением дел.

Наталья Федоровна с радостью видела, что может избежать рокового объяснения с мужем относительно дальнейших условий их совместной жизни. Бедняжка, она недоумевала, как начать такое объяснение.

Граф первые дни также был в некотором смущении, он ожидал каждый день, что сплетни грузинских кумушек, на роток которых, согласно русской пословице, нельзя было накинуть платок никакой строгостью, дойдут до его молодой жены и ему придется, быть может, давать ей неприятное объяснение, но ровное расположение духа графини, о чем последняя тотчас же сообщила ему, постепенно его успокоило, и он начал надеяться, что его привычки и порядок жизни ничем не будут нарушены.

Алексей Андреевич стал чрезвычайно весел, доволен и очень предупредителен и любезен с женою.

Сначала это её испугало, как признак близости объяснения, но затем мало-помалу она успокоилась.

В одну из своих прогулок в саду Наталья Федоровна столкнулась с бегущим ей навстречу очень чисто одетым маленьким мальчиком.

«Это Миша! Его сын!» — мелькнуло в её голове.

Предчувствие не обмануло её — это был действительно Миша. Графиня остановилась и подозвала к себе ребенка.

Мальчик без робости, бойко смотря в глаза нарядной молодой тете, подошел к ней.

Таково было начало знакомства молодой женщины с сыном её мужа, как, по крайней мере, со слов Настасьи, полагала Наталья Федоровна.

Последняя излила на ребенка всю скрытую ласку своей нежной натуры, повела его к себе, накормила сладостями, и душа ребенка быстро отозвалась на призыв нежности.

С этого дня Миша был почти неразлучен с «молодой тетей», как звал он графиню.

Граф и Настасья знали это, но не препят-

ствовали этому сближению, или лучше сказать, не решались ему препятствовать. Первый по-прежнему старался избегать встречи с мальчиком, но при близости последнего к графини, избежать её совершенно было невозможно, и встреча состоялась.

Это было в будуаре графини. Алексей Андреевич неожиданно вошел вечером и увидел Мишу, сидевшего на коленях его жены.

— Папа! — робко произнес ребенок. Аракчеев вспыхнул.

Это не ускользнуло от мельком взглянувшей на него Натальи Федоровны, и она объяснила это в смысле отцовского смущения.

— Глупый, какой я тебе папа! — дрогнувшим голосом, после некоторого молчания, заметил он и двумя пальцами правой руки стал щекотать шею ребенка.

— Папа! — настойчиво повторил тот.

— Вот Бог послал сынка неожиданного! — деланно улыбнулся Алексей Андреевич.

— Это ключницы Настасьи забава! — кивнул на мальчика головой граф после двойной паузы. — Скучно ей по зимам в Грузине, вот и завела себе сироту, подкидыша... Кого не уви-

дит, все папа кричит — такая уж его сиротская доля.

Графиня с усилием улыбнулась и погладила ребенка по курчавой головке.

— Бедный мальчик! Я хотела просить вас, Алексей Андреевич, нельзя ли что-нибудь сделать для него, не оставаться же ему без роду и племени... Я измучилась, думая, что с ним будет, когда он вырастет...

— Есть из чего, матушка, мучиться... вырастет, выучится, человеком будет... — равнодушно заметил граф.

Наталья Федоровна укоризненно посмотрела на него.

— Мне бы очень хотелось, чтобы его судьба была обеспечена... — тихо произнесла она, — я его так любила...

— А коли тебе хочется, так и будет обеспечен, подумаем, сделаем, — поспешно согласился граф, встал и вышел, поцеловав руку жены.

Миша, меж тем, сладко заснул на коленях неожиданного ходатая за его будущность.

XVII

Томительные дни

Время в Грузии тянулось для Натальи Федоровны с томительной медленностью. Единственным её утешением был маленький Миша, почти безотлучно находившийся при ней.

Вокруг неё, между тем, кипела усиленная деятельность. Перед задним фасадом старого деревянного графского дома, несколько отступя от последнего, уже высился передний фасад вновь строящегося каменного нового дома — это сравнительно небольшое, каменное здание возводилось это лето с невероятной быстротою, под наблюдением самого графа, массою рабочих, привлеченных щедростью грузинского владельца. Над его порталом предполагалось заменить скромную надпись старого дома «мал, но покоен» не менее скромным девизом баронского герба Аракчева: «Без лести предан». По постройке нового дома старый предполагалось сломать, отчего глубина и без того огромного двора должна

была увеличиться.

Невдалеке от барского дома шла другая спешная работа — окончательная отделка новой каменной церкви во имя святого апостола Андрея Первозванного, освящение которой назначено было графом на 20 сентября, в годовщину рождения императора Павла I.

Вся дворня и все село находились в тревожном ожидании этого торжества; одна молодая графиня безучастно переживала день за днем с удручающим душу однообразием, даже приезжавшие на поклон к всевластному графу петербургские гости не вносили оживления в жизнь молодой женщины, все ещё находившейся под мучительным кошмаром несбывшихся грез и мечтаний, — кошмаром, который, казалось, продолжится бесконечно.

У Натальи Федоровны мелькнула даже однажды мысль пригласить погостить к себе Катю Бахметьеву, которая в довольно частых и длинных письмах жаловалась на скуку и однообразие жизни летом в Петербурге и весьма прозрачно намекала, что не отказалась бы провести даже месяц где-нибудь в деревне. «В Грузине у вас, говорят, совсем

рай», — писала хитрая девушка, не забывавшая в каждом письме посылать свой сердечный привет графу Алексею Андреевичу.

Мысль эта, впрочем, была тотчас же отброшена графинею.

Во-первых, ей далеко не улыбалось постоянное присутствие постороннего человека, разделяющего с ней томительно-однообразную жизнь в Грузине, не улыбалась перспектива вопросов, выпытываний, догадок, до которых так падка Бахметьева; а во-вторых, эта же самая Бахметьева, как мы уже упомянули вскользь, представлялась Наталье Федоровне теперь в ином, далеко не привлекательном освещении. Поневоле в продолжение этого лета умудренная житейскою опытностью молодая женщина, припоминая взгляды, которыми перекидывались зимой гостившая у ней подруга и её муж, брезгливо содрогалась.

«Этого бы ещё не доставало!» — мелькало в голове графини Аракчеевой.

Лето, к удовольствию Натальи Федоровны, уже прошло, наступила осень, но дни стояли настолько хорошие, что так называемое «бабье лето» сулило быть очень продолжитель-

ным. Промелькнула и первая половина сентября. День, назначенный для освящения церкви, быстро приближался, приближалось и 10 октября, когда граф решил переехать снова в Петербург, куда всем сердцем стремилась графиня. Хотя она очень часто получала известия из родительского дома, где все обстояло благополучно, но, несмотря на это, Наталья Федоровна мучилась каким-то тяжелым предчувствием, и каждый раз, когда она вскрывала письмо, полученное из Петербурга, руки её дрожали и сердце переставало биться.

«Это не к добру, что-нибудь, да над ними стряется», — решила она, платя дань обычному, господствовавшему в то время суеверию, наряду с занесенным с запада безусловным неверием.

Известно, что суеверие неизбежный суррогат веры, хотя может существовать и наряду с последней, как было и в данном случае, так как Наталья Федоровна была очень набожна.

Время, как мы уже заметили, хотя и томительно медленно, но шло вперед, день за днем уходил в вечность, чтобы не возвращаться никогда со всеми его прошлыми тре-

волнениями, выдвигая за собою другие дни, также разительно не похожие друг на друга, хотя с первого взгляда подчас чрезвычайно однообразные. Понятие об однообразии жизни есть результат нравственной близорукости людей.

Срок пребывания графини Натальи Федоровны в Грузии все уменьшался и уменьшался. Это, как мы заметили, чрезвычайно радовало её, хотя жизнь в Петербурге не сулила ей ничего утешительного, но она находилась в том состоянии нервного возбуждения, когда всякая предстоящая перемена в жизненном строе, хотя бы даже к худшему, встречается с удовольствием.

Не ведала графиня, что приближение столь желанного для неё дня её отъезда из Грузии заставляло тревожно биться сердца двух в том же Грузии людей, готовых отдать многое, чтобы по возможности отдалить этот далеко для них нежеланный роковой день.

Эти двое, со страхом ожидавшие отъезда графини, были Егор Егорович и Глаша.

Надежды Воскресенского, что власти его «варвара» и «тирана», как он мысленно обы-

вал Минкину, с женитьбою графа придет конец, и он будет иметь возможность разорвать так опрометчиво завязанные им с этой женщиной отношения, с часу на час становившиеся для него все тягостнее и тягостнее, как мы видели, не оправдались. Егор Егорович с ужасом увидал, что и в присутствии графини влияние Настасьи Федоровны на графа не только не уменьшилось, но пожалуй даже увеличилось, и молодая законная жена Алексея Андреевича, казалось, совершенно ступала перед экономкой-любовницей. Не будучи посвящен в хитросплетенную интригу Минкиной, он только недоумевал и поневоле стал разделять мнение большинства грузинских старожил, что Настасья — колдунья.

По улыбке надменного торжества, игравшей на губах последней при встрече с ним, он видел, что не только её ставка в игре с графом выиграна, но что она догадывается, что эта её победа далеко ему не приятна. Несколько, будто шутя, брошенных ею слов в разговор с ним окончательно его в этом убедили. Он понял, что это открытие не пройдет ему даром со стороны мстительной женщины и не толь-

ко отзовется на его дальнейшей судьбе, но и на участи горячо любимой им девушки Глаши.

Несколько подмеченных им взглядов Настасьи Федоровны на последнюю красноречиво свидетельствовали о её затаенной непримиримой ненависти.

Слабый духом, не решавшийся на открытую борьбу с внушавшей ему почти мистический ужас женщиной, Егор Егорович покорно ждал ударов судьбы, олицетворенной для него в чернокудрой Настасье.

Минкина, видимо, тоже чего-то выжидала. Дворня положительно не узнавала её: из флигеля перестали раздаваться вопли избитых ею до полусмерти девушек, прекратились любимые ею экзекуции на конюшне, она осталась строгой, бдительной хозяйкой, но казалось в ней умерла жестокая домоправительница, и при имени её трепетали лишь по кровавым воспоминаниям прошлого.

Но дворовые и крестьяне были дальновидны.

— Это затишье перед бурей! — догадывались они.

Также понимали эту перемену в Настасье Федоровне Егор Егорович и Глаша, которых она тоже оставила в покое: первого она очень редко призывала к себе, а с последней была даже ласкова. Эти ласки не предвещали хорошего.

Оба они, повторяем, понимали это, но любовь и молодость брали свое, а общность несчастья, общий висевший над ними роковой приговор, исполнение которого только замедлялось, чего они не могли не чувствовать, сблизили их скорее, чем это было бы при обыкновенном положении вещей, и они с какой-то алчностью брали от жизни все то, что она могла им ещё дать, следуя мудрой русской пословице обреченных на неизбежную гибель и вследствие этого бесшабашных людей — «хоть день, да наш».

Время неслось для них чрезвычайно быстро, наступила вторая половина сентября; пронесся слух, что 10 октября граф и графиня покинут Грузино и отправятся в Петербурге.

«Гром не грянет — мужик не перекрестится», а это известие было положительно громом для Воскресенского и Глаши, оно не толь-

ко ошеломило их, но как и в природе, грозою очищается воздух, так и на них этот жизненный гром произвел просветляющее впечатление. Они как-то вдруг поняли, что грозная домоправительница выжидала именно этого отъезда, чтобы начать с ними должную расправу.

И они не ошиблись.

XVIII

Нежданная гостья

Наступило 18 сентября, на другой день ждали приезда многих приглашенных на торжество освящения храма. В доме графа не было заметно особой сутолоки, так как все было приготовлено исподволь, и в нем царил образцовый, обычный порядок.

После завтрака графиня Наталья Федоровна отправилась на свою ежедневную прогулку в парк, где вскоре услышала звон колокольчиков въехавшего на двор экипажа. Она не обратила на это особенного внимания, так как граф Алексей Андреевич ни на минуту, даже живя в Грузине, не оставлял личного

управления государственными делами и имел ежедневное сношение с Петербургом, откуда то и дело взад и вперед неслись курьеры и даже высокопоставленные лица, стоявшие во главе того или другого правительственного учреждения, для личного доклада всесильному графу о делах экстренной важности. Без скрепы графа Аракчеева не выходил ни один высочайший указ, и государь Александр Павлович был в постоянной переписке со своим подданным другом.

Слышно было по внезапно прекратившемуся звону, как кучер осадил лошадей у подъезда графского дома, а через несколько минут один из лакеев торопливо бежал по дорожкам парка вслед медленно удалявшейся графини.

Услыхав за собою шаги, последняя остановилась и вопросительно посмотрела на запыхавшегося слугу.

— Екатерина Петровна Бахметьева изволили прибыть из Петербурга к вашему сиятельству... — почтительно доложил он.

Наталья Федоровна почувствовала, что у ней вдруг закололо в сердце.

— Бахметьева... Где она?.. — растерянно спросила графиня.

— В гостиной, с его сиятельством...

Графиня нервной походкою возвратилась в дом, сопровождаемая лакеем, шедшим в почтительном отдалении.

— Катя, какими судьбами?.. — все ещё совершенно не придя в себя от изумления, произнесла графиня, обнимаясь с подругой.

— Это я тебе, Наташа, сюрприз сделал, послал Екатерине Петровне приглашение посетить нас и присутствовать на торжестве освящения, а внизу собственноручно приписал, чтобы приезжала пораньше, да и уехала бы попозже...

— Да, уж это совсем сюрприз, радостный сюрприз... — все ещё растерянно лепетала молодая женщина.

— Хитрить вы что-то изволите, ваше сиятельство, — с комичной почтительностью заметила Бахметьева, усаживаясь на диван рядом с хозяйкой. — Кажется, вы мне не очень-то рады, так как в письмах ни слова не вымолвили о желании меня видеть...

— Ах, что ты, Катя, — заволновалась гра-

финя, — я просто боялась, что ты здесь соскучишься; в Петербурге веселее, разнообразнее, то-то порасскажешь мне новостей. А у нас здесь что?..

— Как что? Да у вас здесь прелесть как хорошо, да, впрочем, там везде хорошо, где умица-граф руку свою приложит, при нем и в России стало хорошо...

Она обожгла Алексея Андреевича красноречивым взглядом. Тот довольно улыбнулся.

— Хотелось бы, Екатерина Петровна, такой же и во всей России порядок устроить, как у меня в Грузии, да руки коротки... — скромно заметил он.

— Это у вас-то коротки... — засмеялась гостья. — Да вы с неба все звезды снимите, как захотите... Не я одна это говорю, а все... уж на что Марья Антоновна не любит вас, а побаивается...

— Пустая женщина! — прогнусил граф и встал. — Однако, мне надо кое-чем заняться, а вы до обеда поговаривайте с Наташей, апартаменты вам отведены на её половине, и завтрак там вас ждет.

Алексей Андреевич вышел.

Подруги отправились на половину графини. Время до обеда пролетело незаметно. Екатерина Петровна без умолку болтала о петербургских новостях, светских сплетнях.

— А Сергей Талицкий, помнишь, мой кузен... офицер... — между прочим заметила она, — вышел в отставку.

— Что так?

— Хорошенько сама не знаю, не поладил с начальством... его очень теснили...

— Что же он будет делать?

— Уже этого я совсем не знаю, знаю только, что штатское платье к нему очень идет... — захохотала Бахметьева.

После обеда, за которым граф был очень любезен с гостьей, кофе подали в гостиную.

— А profos, я забыла сказать тебе, Талечка, — с невинным выражением лица начала Екатерина Петровна, — ведь молодой Зарудин сошел с ума...

— С ума... — могла только повторить Наталья Федоровна.

— Это какой Зарудин... Павла Кирилловича сынок?.. — спросил граф.

— Да, — ответила Бахметьева и снова обра-

тилась к графине.

— Разве ты не слыхала, это случилось ещё в феврале...

— Нет, что же с ним случилось?

— Какая же, граф, ваша жена хитрая, люди по ней с ума сходят, а она невинно спрашивает, что с ним случилось...

Граф метнул на жену пронизательный взгляд. Та сидела бледная, как смерть.

Бахметьева сделала вид, что крайне смущена.

— Что с тобой, Талечка, прости, я не знала, что графу неизвестен наш глупый прошлый роман... Я думала, что ты, как жена... рассказала ему и вместе... посмеялась... — деланно взволнованным тоном заговорила она.

— Посмеяться никогда не ушло время, расскажите вы... хотя, вы правы, должна бы рассказать она, — прогнусил граф.

Во взгляде Алексей Андреевича, брошенном снова на сидевшую, как истукан, графиню, мелькнул огонек злобного торжества.

Он был доволен, что нашел, наконец, вину за женщиной, перед которой сам был виноват и которая подавляла его превосходством

своих нравственных качеств.

— Я, право, не знаю... имею ли я право без согласия Талечки... — начала вилять хитрая девушка.

— Рассказывайте, рассказывайте... — почти крикнул на неё граф, — видите, она молчит, а молчание знак согласия, — кивнул он в сторону Натальи Федоровны.

Бахметьева повиновалась.

Она с неподражаемым комизмом рассказала свое увлечение Николаем Павловичем Зарудиным, свою исповедь Наталье Федоровне, неудачное сватовство последней и, наконец, неожиданное открытие, что подруга приносила для неё в жертву свое собственное увлечение тем же Зарудиным.

— Все, оказалось, устроилось к лучшему, — закончила она. — Талечка счастлива, да и я, слава Богу, давно вылечилась от этой любовной болезни...

По мере рассказа подруги, Наталья Федоровна постепенно приходила в себя. Это открытие, почти циничное глумление молодой девушки над тем светлым прошлым, которое графиня оберегала от взгляда непосвященных

посторонних людей, от прикосновения их грязных рук, как за последнее время решила она, производило на неё ощущение удара кнутом, и от этой чисто физической боли притуплялась внутренняя нравственная боль, и она нашла в себе силы деланно-равнодушным тоном заметить, когда Бахметьева кончила свой рассказ.

— Я не думала, что эти пустяки, это ребячество могли заинтересовать графа...

— Гм! — издал тот неопределенный звук. — На чем же он помешался?.. — обратился граф к Екатерине Петровне.

— Да ведь я не знаю, правда ли это, люди ложь и я тож, рассказывают, что когда он получил приглашение на вашу свадьбу, разосланное всем гвардейским офицерам, то покушался на самоубийство, но его спас товарищ... Это скрыли, объявили его больным... Теперь, впрочем, он поправился... и, как слышно, просится в действующую армию...

— В какую действующую армию, наши войска давно возвратились... — недовольным тоном буркнул граф.

— Ну, значит, когда будет война... — сме-

ьясь сообразила Бахметьева.

— Разве когда будет, — невольно улыбнулся граф, — тогда, пожалуй, хоть и не просись, пошлют...

Графиня сумела по наружности совершенно равнодушно принять и это известие о покушении на самоубийство любимого ею человека, покушении, доказывавшем ей силу отвергнутой ею его любви.

Такою часто силою управления собой обладают нервные люди. Эта сила укрепилась в молодой женщине в данном случае нежеланием допустить этих теперь уже прямо ненавистных ей людей в святилище её сердца.

Разговор перешел затем на другие темы; граф предложил пройтись в парк и, идя рядом с немного отставшей от Натальи Федоровны Екатериной Петровной, наклонился к ней и тихо сказал:

— Мне бы хотелось поподробнее слышать от вас рассказанную историю, вы не имеете обыкновения тотчас после ужина ложиться спать?..

Бахметьева лукаво посмотрела на Алексея Андреевича и, в свою очередь, прошептала:

- Нет, я долго не сплю...
- Позвольте зайти к вам сегодня...
- Милости просим...

XIX

Новая соперница Минкиной

Было два часа ночи на 19 сентября.

Екатерина Петровна Бахметьева лежала в постели, но не спала, она, впрочем, только что успела лечь, так как не более получаса тому назад от неё вышел граф Алексей Андреевич. На её губах ещё горели его поцелуи, в ушах раздавались его клятвы и уверения.

Она отдалась ему. И этот шаг не был для неё неожиданностью. Она была к нему подготовлена, скажем более, она давно решила на него, убеждаемая доводами своего красивого кузена Сергея Дмитриевича Талицкого.

Пусть поэтому не удивляются дорогие читатели, что это совершилось так, с первого взгляда, неожиданно быстро.

Несмотря на то, что с момента нашего знакомства с обеими девушками, Хомутовой и Бахметьевой, не прошло и двух лет, время это

успело сильно изменить их обеих, и если брызги житейской грязи только недавно коснулись молодой графини Аракчеевой и совершили в её внутреннем мире внезапный мучительный переворот, то что касается её подруги, она, увы, сравнительно, гораздо ранее окунулась с головой в грязный житейский омут.

Единственная, балованная дочка, далеко не воспитанная в строгих нравственных правилах, с пылким темпераментом, дурно направленным самолюбием и необузданным характером, Катя Бахметьева в этих своих душевных свойствах носила причину своего раннего падения. Увлечшись Николаем Павловичем Зарудиным, она капризно и настойчиво шла к цели, приняла, как должную дань, жертву подруги, а когда цель эта не была достигнута, поплакала, как ребенок над сломанной игрушкой, но вскоре утешилась и занялась подвернувшейся ей под руку новой, но эта новая игрушка стала для неё роковой, она сама обратилась в игрушку человека, блиставшего ещё более, чем она, отсутствием нравственных принципов.

Этой новой, поработившей всецело Екатерину Петровну игрушкой был её кузен, Сергей Дмитриевич Талицкий.

Мы только мельком познакомим читателя с этим молодым офицером, рельефным представителем типа тогдашних петербургских «блазней». Его мелкая личность, впрочем, и не стоит, да и не выдержала бы глубоко психического анализа, — это был, в полном смысле, «внешний человек»; красивая, но шаблонная наружность прикрывала его мелкие пороки и страсти, и всю гаденькую натуру не разборчивого на средства кутилы и игрока.

На вид, повторяем, он был смазливый, хорошенький мальчик — ему шел в то время двадцать четвертый год — но этим он лишь подтверждал правило, что наружность обманчива.

Он был любимцем и баловнем Мавры Сергеевны Бахметьевой, смотревшей на него, как на родного сына и брата своей дочери, с которой часто и беспрепятственно оставляла наедине. За эти-то любовь и доверие он, как истый «блазень», отплатил черною неблагодарностью.

Вскоре по выходе в офицеры и достижении совершеннолетия он быстро прокутил доставшееся ему после родителей незначительное состояние и стал жить неведомо чем, частью на счет своих товарищей, а частью в кредит, пока последний не иссяк, но не оставлял своих привычек и своей страсти к игре.

«Кубышка» тетенки, как он звал Мавру Сергеевну, не давала ему покоя, но он не видел возможности легко завладеть ею. Жениться на своей кузине — отдаленность их родства не мешала этому — но практический юноша не хотел так дешево продать свою свободу, тем более, что с этой кузиной можно было, по мнению Талицкого, спокойно и без свадьбы проволочить время. Надо было измыслить другой план и как можно скорее, так как кредиторы усиленно его одолевали.

И план был измышлен. Известно, что солнце счастья редко светит для честных людей. Сергею Дмитриевичу удалось даже подстрелить двух зайцев.

Это было вскоре после, вероятно, памятного читателям визита Талечки к своей подруге с вестью о неудачном ходатайстве за неё пе-

ред Зарудиным. Отвергнутая самолюбивая девушка была в отчаянии, оскорбленная в своем, казалось ей, искреннем чувстве, она искала забвения. Талицкий явился счастливым утешителем, и Екатерина Петровна, в состоянии какого-то нравственного угара, незаметно поддалась его тлетворному влиянию и также незаметно для себя пала.

Она опомнилась, но было уже поздно, да и страсть взяла свое, она привязалась к своему любовнику со всею силою пробужденной им в ней чисто животной страстью. Она стала его верной рабой, его верной собакой, смотрящей в глаза. Такую чувственную любовь умеют пробуждать в женщинах одни мерзавцы.

Уничтожив таким образом возможность противиться его планам со стороны дочери, он принялся за мать, которая, как он знал, имела обыкновение советоваться во всех делах со своей «Катиш», которую она считала чрезвычайно умной и рассудительной.

— Вот, милая тетенька, если бы у меня было в распоряжении несколько десятков тысяч, можно бы нажить хорошие деньги без всякого труда и заботы... — закинул он удочку

на старушку.

— Это, то есть, как так нажать — торговлей?

— Фи, торговлей, не дворянское это дело... нет, надо выручить одного человечка, с которого можно получить большие проценты, а вскорости возвратить и капитал.

— Такому же, может быть, как ты франту, блазню... — усмехнулась Мавра Сергеевна.

— Ну, нет, ошиблись, ma tante.

Сергей Дмитриевич наклонился к ней и что-то прошептал на ухо.

Старушка Бахметьева даже вытянулась.

— Что ты, такая особа, и не врешь?

— Зачем врать, пес врет, как говорила моя нянюшка.

— Да ты-то почему это знаешь?..

— Я приятель с одним близким к нему человеком.

Талицкий снова зашептал на ухо Мавре Сергеевне.

— Он выдаст и заемное письмо.

— А не сам?

— Вот чего захотели.

На этом разговор окончился.

Это было за чаем. После него Сергей Дмитриевич посвятил в предстоящее выгодное дело Екатерину Петровну.

— Ты уговори мать, — заметил он ей, — это меня может сильно подвинуть по службе, капитал твой увеличится, и тогда мы можем обвенчаться, а теперь что же плодить нищих.

Катя кивнула головой в знак согласия, так как в это время в комнату входила мать.

Совершилось все так, как и предполагал практичный Талицкий. Через несколько дней Мавра Сергеевна, посоветовавшись с дочерью, первая начала разговор о предложенном им выгодном деле.

— Я что же, я бы почла за долг выручить... Скоплено у меня на приданое Кате десять тысяч рублей, я говорила с ней, она согласна.

— Десять тысяч... — поморщился Сергей Дмитриевич. — Это очень мало.

— Больше у меня нет... — тоном сожаления, исключаящим возможность лжи, заявила старуха Бахметьева.

«Стоило из-за этого хлопотать, этой суммы не хватит на уплату и половины долгов, ведь надо отдать ей проценты, поделиться с дру-

гим, — пронеслось в голове офицера, — впрочем, все-таки лучше, чем ничего».

— Я сообщу... — хладнокровно сказал он вслух.

Прошло ещё несколько дней. Талицкий приехал утром за Маврой Сергеевной, попросил её захватить с собой деньги и повез к «особе», которую, кстати сказать, старушка никогда не видала в глаза.

«Особа» милостиво приняла её услуги, взяла деньги, а вексель был выдан её доверенным лицом, причем, Мавра Сергеевна, убежденная доводами Талицкого, согласилась присписать очень значительную сумму процентов за год, на какой срок было выдано заемное письмо к сумме последнего, и торжествующая удачной аферой, лицезрением и милостивым обращением «особы», вернулась домой.

Рассказам старушки дочери не было конца.

Читатель, без сомнения, догадался, что «особа» существовала лишь в воображении Сергея Дмитриевича, а доверчивая и жадная старушка была обобрана Талицким и его до-

стойными товарищами-сообщниками.

Нахально и развязно сообщил он обо всем этом Екатерине Петровне. Они были вдвоем в её комнате.

— Ну и облопошили же мы твою маменьку... — с хохотом заключил он.

— Зачем же ты это сделал? За что ты обокрал меня! — вскочила она, задыхаясь от волнения.

— Тебя! — протянул он. — Вот как, а я, дурак, думал, что если ты моя, то и твои деньги тоже мои. Впрочем, если так, я могу уйти, ты сообщи все своей дорогой мамаше, подложный вексель в её руках, она может подать на меня в суд, если я до завтра останусь в живых. У меня есть верный друг, он сослужит мне последнюю службу.

— Так попроси этого друга и возврати деньги.

— Ха, ха, ха... как обрадовалась, но ты меня не поняла, этот верный друг — пистолет... Прощай!

Он встал.

Его импонирующий тон поколебал её, она снова села на стул и заплакала.

— Ты не любишь меня.

— Напротив, я из любви к тебе хотел спасти себя от бесчестия, от позора, мне оставалось два выбора: или добыть деньги, или покончить с собою, я выбрал последнее, так как ты одна меня привязываешь к жизни, я думал, что ты любишь меня, что я дорог тебе.

— Отчего ты не сказал мне заранее все откровенно?

— К чему бы это послужило? Ведь ты не могла бы достать у матери этих денег, а больше мне взять было негде. Но что тут толковать, ты, видимо, совсем не любишь меня, зачем же мне жить? Прощай!

Он направился к двери. Она бросилась за ним.

— Останься, сумасшедший, ведь я люблю тебя!

Он как бы нехотя вернулся.

— Надо подумать лучше, что делать? — заговорила она.

— Что делать, я уже придумал; надо добыть у неё вексель.

Он тихо и хладнокровно начал развивать ей свой план. Недели через две после этого

разговора, во время отсутствия из дому Мавры Сергеевны, неизвестные злоумышленники каким-то неведомым путем забрались в её спальню, сломали шифоньер и похитили заемное письмо в десять тысяч рублей. Прислуга была в это время в кухне, а Екатерина Петровна, и Сергей Дмитриевич находились все время в противоположном конце дома, и никто ничего не слышал.

Так значилось в заявлении в квартал, писанном рукой Талицкого, по просьбе обезумевшей от горя старухи.

— Не упоминайте о заемном письме, нехорошо.

— Нет уж, батюшка, пиши, пиши, а то пропадут мои денежки.

Началось дознание. Оказалось, что пропавшее, по словам потерпевшей, заемное письмо подписано каким-то никогда не существовавшим князем. Когда же сама Мавра Сергеевна заявила, кому она будто бы отдала свои деньги, то на неё удивленно и с недоумением вытаращили глаза. «Старуха кажется спятила!» — решил следователь. К допросу были вызваны поручик Талицкий и Екатерина Бах-

метьева. Оба они подтвердили, что давно замечали, что с Маврой Сергеевной творится что-то неладное и даже полагают, что ода сама как-нибудь сломала замок у шифоньерки, а заявила о пропаже у ней заемного письма в припадке сумасшествия.

Содержание заявления и словесное объяснение потерпевшей подтверждало все это, и дело о краже заемного письма было замято.

От понесенного потрясения Мавру Сергеевну Бахметьеву разбил паралич, но, несмотря на это, с её дочери взяли подписку в том, что она обязуется наблюдать, чтобы её душевно больная мать не беспокоила «известную особу» своими нелепыми требованиями.

Исполнить это было нетрудно, так как Мавра Сергеевна была очень слаба и медленно угасала. Она, впрочем, на самом деле стала заговариваться. Сергей Дмитриевич утешал её, что он похлопочет и деньги ей возвратит.

Связь несчастной Кати с Талицким укрепилась общим преступлением.

Она всецело находилась в его власти.

Наступил январь месяц 1806 года. По Петербургу разнесся слух о предстоящей свадьбе

графы Аракчеева с Натальей Федоровной Хомутовой — Екатерина Петровна знала об этом, конечно, ранее всех.

— Мы можем тут с тобой обстряпать хорошее дельце. — заметил Талицкий. — Эта идеальная дура Хомутова графу совсем не под пару, он, слышно, любит бойких баб. Теперь, конечно, в ней ему нравится её наивность, но помяни мое слово, она ему скоро надоест, тебе бы самый раз быть графиней Аракчеевой... чай, не отказалась бы...

Глаза Екатерины Петровны блеснули злобыным огоньком. Она уже давно завидовала судьбе своей подруги.

— Что ты за вздор болтаешь, разве мне об этом можно мечтать, да я и не променяю тебя ни на какого графа.

— Зачем менять, я останусь все тем же для тебя, жениться мне нечего и думать, а тебе пристроиться пора...

— Да ты серьезно? — удивленно посмотрела на него Бахметьева.

— Совершенно серьезно...

— Но как же расстроить брак Талечки?..

— Зачем расстраивать, пусть выходит, а

ты постарайся сблизиться с графом, тебе что терять, нечего... — с откровенным цинизмом заметил он.

Екатерина Петровна даже не дрогнула, а только внимательно насторожила уши.

Ученица была достойна своего учителя.

Сергей Дмитриевич долго развивал перед ней программу её будущих действий.

— Главное, увлечь и надуть этого сладострастного солдафона, а там мы сумеем заставить его развестись и жениться на тебе, ты девушка из хорошей дворянской семьи, а твоя идеальная дура сама тебе поможет в этом, если ты представишь ей жертвой его обольщений или даже его силы...

Читатель уже видел, как Екатерина Петровна была послушна своему ментору.

Цель её была достигнута — граф Аракчеев пойман и, видимо, не догадался о её прошлом.

Долго не спала она в эту ночь, лежа с открытыми глазами и обдумывая, удастся ли ей и её Сержу вторая главная часть их гнусного плана.

Не спал и граф Алексей Андреевич, он мыс-

ленно взвешивал достоинства своей новой фаворитки с достоинствами Настасьи Минкиной.

Одна графиня Наталья Федоровна, измученная тревожностями дня, спала сном людей со спокойной совестью.

XX

Роковая весть

19 сентября, графиня Наталья Федоровна проснулась довольно рано, но медлила с туалетом и выходом и даже приказала подать себе отдельно утренний чай, а затем и завтрак. Ей хотелось побыть одной в это утро, а главное, с каким-то странным чувством брезгливости она отдаляла встречу с глазу на глаз с мужем и подругой.

— А его сиятельство у гостя нашей почитай до самой зари просидели! — не удержалась, чтобы не сообщить с особенной таинственностью графине, её горничная.

Та вспыхнула, но тотчас же смерила её строгим взглядом и почти надменно сказала:

— Разве я тебя просила докладывать мне,

когда и где бывает граф? Пошла вон!

Горничная сконфуженно удалилась.

К обеду набралось уже множество гостей. Наталья Федоровна вышла, с холодной любезностью поздоровалась с мужем, Бахметьевой и гостями и заняла место хозяйки за столом после обычных представлений некоторых ещё незнакомых ей лиц.

День прошел в праздничной сутолоке, после обеда стали съезжаться остальные приглашенные, и графиня имела возможность держаться в стороне от подруги, которую окружала толпа кавалеров.

На другой день за обедней, отслуженной с необыкновенным благолепием, с участием новгородского и даже петербургского духовенства, совершилось торжественное освящение вновь выстроенного храма, после чего всем присутствующим был предложен роскошный завтрак, а крестьянам на дворе барского дома устроена обильная трапеза с пивом и медом.

Природа как бы гармонировала с торжеством: стоял теплый, яркий, солнечный осенний день.

После завтрака графине подали письмо от матери, присланное с нарочным. Она побледнела, как бы предчувствуя его содержание, её уже два дня беспокоило отсутствие в Грузине родителей, тоже, конечно, приглашенных на торжество и обещавших приехать даже с Лидочкой, о чем отдельным письмом просила графиня.

Предчувствие молодой женщины оправдалось. Мать писала, что Федор Николаевич, накануне уже совсем собравшийся в Грузино, вдруг почувствовал себя худо и слег, к вечеру слабость увеличилась, а потому она и просила дочь немедленно приехать, если она хочет застать отца в живых.

«Он очень плох, и доктора не ручаются за исход болезни. Приезжай немедленно»,

— оканчивала письмо Дарья Алексеевна. Наталья Федоровна молча подала мужу полученное письмо.

Тот прочел и поморщился.

— Вели запрягать и поезжай, я приеду на днях, на завтра у меня назначен осмотр Гру-

зина; матушка как женщина, вероятно, преувеличивает... Гости тебя извинят...

Он передал сидевшим с ним причину, заставлявшую его жену ехать немедленно в Петербург.

Они рассыпались в соболезнованиях.

Весть об отъезде графини по случаю болезни её отца быстро разнеслась между присутствующими.

Граф, между тем, подошел к группе, где сидела Екатерина Петровна и что-то тихо сказал ей.

Бахметьева встала и подошла к Наталье Федоровне.

— Ты в Петербург?

— Да, хочешь ехать со мной?

— Нет, меня граф просил остаться, помочь ему занять гостей...

— Вот как! — почти с оттенком презрения кивнула ей графиня. — Прощай!

Она прошла в свои комнаты.

«Она догадалась... — мелькнуло в голове Бахметьевой. — Пусть!..»

Наталья Федоровна отчасти была даже рада, что подруга её осталась. Перспектива по-

ездки с нею вдвоем далеко ей не улыбалась.

Скоро стук колес и звон колокольчиков возвестил об отъезде графини.

Наталья Федоровна вихрем, «по-аракчеевски», прискакавшая в Петербург, застала отца уже без памяти, он не узнавал окружающих, не узнал и дочери.

Два дня и две бессонные ночи провела она у постели умирающего.

Наконец, на третий день утром больной пришел в сознание, слабым, полупотухшим взором обвел комнату и находившихся в ней жену, дочь и Лидочку, движением руки подзвал их к себе и поочередно положил свою исхудалую руку на головы близких ему людей.

Последние беззвучно и горько плакали.

Больной с немою укоризною посмотрел на них, возвел глаза к небу, как бы давая тем знать, где искать им утешение в их утрате, или же давая понять, куда лежит его путь, затем набожно сложил руки крестообразно на груди, вытянулся и закрыл глаза.

Среди подавляющей, ничем не нарушаемой тишины комнаты послышался тяжелый, продолжительный вздох.

Этот вздох был последний — Федора Николаевича не стало.

Дарья Алексеевна и Наталья Федоровна с раздирающими душу рыданиями упали на труп дорогого им человека. Испуганная Лидочка с криком, обливаясь слезами, бросилась вон из комнаты.

Когда первое впечатление невозвратимой утраты и тяжелого горя прошло, обе женщины занялись печальной обрядовой стороной обрушившегося на них несчастья.

В Грузино был послан нарочный с извещением о кончине Федора Николаевича Хомутова.

Граф Алексей Андреевич прибыл на другой день к утренней панихиде, сочувственно отнесся к горю, постигшему его тещу и жену, и даже милостиво разрешил последней остаться при матери до похорон, после которых — объявил ей граф — ей не надо возвращаться в Грузино, так как все её вещи и её прислуга уже находятся в их петербургском доме.

Наталье Федоровне все это было безразлично. Потрясенная до глубины души смер-

тью отца, для неё почти неожиданной, хотя за несколько дней доктора очень прозрачно намекнули на бессилие науки и близость роковой развязки, она не обратила внимание на такое поспешное удаление её горничной из Грузина, что, впрочем, объяснилось и тем, что до 1 октября — срок, назначенный самим графом для переезда в город, — было недалеко.

Не спросила она мужа и о том, уехала ли из Грузина Екатерина Петровна Бахметьева. Не видя, впрочем, на панихидах Мавры Григорьевны, она вскользь выразила матери свое недоумение по этому поводу, а та ей на скорую руку рассказала о болезни старухи и о ходивших слухах о поведении молодой девушки.

Мы знакомы уже со всем происшедшим в это время в доме Бахметьевых.

— Я к ним и ходить бросила — мерзость одна! — резко заключила свой рассказ Дарья Алексеевна.

— Не может этого быть! — ужаснулась графиня. — Просто зря люди языками треплют.

В первый раз какой-то внутренний злоб-

ный голос подсказывал Наталье Федоровне, что болтают не зря, но она старалась заглушить его.

Граф Алексей Андреевич присутствовал на всех панихидах, к которым, ввиду последнего обстоятельства, аккуратно и неукоснительно собирались почти все высокопоставленные лица, даже и не знавшие при жизни покойного. Они считали своей обязанностью отдать последний долг «тестю всесильного Аракчеева».

Граф, по обыкновению, оглядывал эту подобострастную, заискивающую перед ним толпу с презрительною усмешкою.

Похороны произошли тоже с надлежащею помпой. Дубовый гроб вынесли из дому на руках и поставили на погребальные дроги, кругом шли факельщики. Это было в то время привилегией первых сановников, а простой класс, по обыкновению, носили на руках. В числе сопровождавшего гроб духовенства были два архиепископа. Печальный кортеж, сопровождаемый множеством карет и колясок, двинулся через Исаакиевский мост, Морскую и Невский проспект в Александро-Невскую

лавру, где после соборно отслуженной заупокойной литургии и отпевания, гроб был опущен в могилу на Лазаревском кладбище, близ церкви святого Лазаря, устроенной, по преданию, Петром I над прахом любимой сестры своей Натальи Алексеевны, тело которой в последствии было перенесено в Благовещенскую церковь.

Граф Алексей Андреевич всю дорогу от дома Хомутовых до кладбища шел пешком, ведя под правую руку Дарью Алексеевну, а под левую — свою жену.

Когда могила была засыпана, граф подал руку Наталье Федоровне и повел её к карете. Садясь в неё, она обернулась, чтобы посмотреть на рыдающую мать, поддерживаемую под руки двумя незнакомыми ей генералами, и вдруг перед ней мелькнуло знакомое, но страшно исхудавшее и побледневшее лицо Николая Павловича Зарудина. В смущенно брошенном на неё украдкой взгляде его прекрасных глаз она прочла всю силу сохранившейся в его сердце любви к ней, связанной навеки с другим, почти ненавистным ей человеком.

Она быстро вошла в карету и буквально упала в её угол. Сердце её, казалось, хотело выскочить из высоко колыхавшейся груди, дыхание сперло, и она громко, истерически зарыдала.

Эти рыдания были не по мертвому, а по живому.

Граф остановился у дверцы, как бы недоумевая, что предпринять, но Наталья Федоровна, заметив это, переломила себя, быстро успокоилась и только продолжала тихо плакать.

Граф сел рядом и приказал ехать домой. Карета покатила.

По приезде на Литейную, графиня удалилась в свои апартаменты и там, на свободе, вся отдалась горьким воспоминаниям о двух для неё навсегда потерянных дорогих людях.

Вечером ей доложили, что граф уехал на несколько дней в Грузино.

Наталья Федоровна только горько улыбнулась.

XXI

Письмо

Прошло несколько дней. Граф Алексей Андреевич все продолжал находиться в Грузине. Графиня Наталья Федоровна, ввиду траура, не принимала никого и ежедневно половину дня проводила у матери. Отсутствие графа даже радовало её, образовавшаяся между ними за последнее время с той роковой ночи, когда она выслушала исповедь Настасьи, по день похорон её отца, когда она впервые после долгой разлуки увидела Николая Павловича Зарудина, пропасть делала постоянное общение с ним почти невыносимым. У ней мелькала даже мысль совершенно покинуть мужа и переехать к матери, но от этого шага удерживала её не боязнь светских сплетен, а с детства привитая религиозность и развитое до крайности чувство долга.

«Я не смею об этом и думать, я поклялась быть ему верной женой перед церковным алтарем, и его пример не может служить извинением, это мой долг... Если Бог в супруже-

стве послал мне крест, я безропотно обязана нести его, Он наказывает меня, значит, я заслужила это наказание и должна смиренно его вынести», — думала молодая женщина.

«Быть может, это... за него!» — мелькало в её голове, и ей невольно вспоминался бледный, исхудалый Зарудин, с устремленным на неё полным беззаветной любви взглядом глубоких глаз.

Тяжелей всего было то, что несчастной Наталье Федоровне не с кем было поделиться своими душевными муками, не перед, кем было открыть свое наболевшее, истерзанное сердце.

Единственным близким её сердцу человеком была её мать, она не считала свою любимицу Лидочку — ещё ребенка, но графиня откинула самую мысль поделиться своим горем с Дарьей Алексеевной, хотя знала, что она не даст её в обиду даже графу Аракчееву. Её удерживало от этого с одной стороны нежелание усугублять и так глубокое горе матери, потерявшей в лице Федора Николаевича не только любимого мужа, но и искреннего друга, а с другой — она знала, что открытие тай-

ны её супружеской жизни Дарье Алексеевне было равносильно неизбежности окончательного разрыва с мужем, на последнее же Наталья Федоровна, как мы видели, ещё не решалась.

Она обрекла себя на терпение, пока это будет в её силах.

Плача на груди матери, она не давала ей в настоящее время повода для расспросов о причине, так как старуха думала, что они вместе оплакивают дорогого усопшего. Не знала Дарья Алексеевна, что её дочь плачет вместе с тем и о похороненном её счастье.

Шел уже пятый день после похорон Федора Николаевича Хомутова, когда графине Наталье Федоровне, только что успевшей вернуться от матери, таинственно подала её горничная письмо.

— От кого? — спросила графиня.

— Не могу знать, ваше сиятельство! Нищая странница какая-то на двор нынче зашла, меня вызвала и просила передать эту грамотку вашему сиятельству под великим секретом.

Наталья Федоровна несколько секунд испытующе посмотрела на служанку.

«Лжет или не лжет? Кажется, не лжет» — пронеслось в её голове.

Молодая женщина уже изверилась в людях.

— Хорошо, ступай!.. — сказала она.

Оставшись одна, она несколько времени вертела полученное письмо, как бы боясь его распечатать. Адрес на конверте был написан какими-то полуграмотными каракулями.

— Чего я боюсь, какая я стала слабая, верно, просто просьба о помощи! — ободряла себя графиня.

Она быстро сломала сургучную печать с каким-то затейливым рисунком и вынула письмо, писанное тем же почерком, что и адрес.

Письмо было сложено так, что первое, что бросилось в глаза Наталье Федоровне, была подпись:

*«Вашего сиятельства покорная раба
Настасья Минкина»,*

— разобрала графиня, и вся кровь бросилась ей в лицо.

«Что могла, что осмеливалась писать ей

эта женщина?»

Графиня порывисто перевернула письмо и начала читать.

«Милостивая госпожа моя и всепресветлейшая графиня Наталья Федоровна!

Простите меня, окаянную, что осмеливаюсь я утруждать ваше сиятельство моим письмом, но дело касается чести вашей, светлейшая графинюшка, которая мне, холопке вашей верной, дороже жизни, а потому и молчать мне зазорно было бы.

Высказала я напрямки вашему сиятельству грех мой подневольный с графом Алексеем Андреевичем, и поняли меня вы своею ангельскою душою и простили, даже сыночка моего, сиротинку несчастного, ласкать изволили. Так будь я, анафема, проклята, коли за ваше сиятельство душу свою не положу.

Меж тем, ныне в грузинском доме творится неладное, подруженька вашего сиятельства, что осталась здесь после отъезда вашего, в явную интригу с графом вступила, полюбовницей его сделавшись, забыв свой дворянский род

и девичество. Что мне, холодке подневольной, простить не грешно, то ей ни в каких смыслах. Ходит же она, бестыжая, по дому хозяйкою, да и бестыжий граф ходит гоголем.

Лицемер триклятый в знак верной моей службы приказал на днях поставить невдалеке от барского дома чугунную вазу и тут же от жены своей и от меня, рабы его многолетней, завел любовницу.

Не я отписываю к вам, ваше сиятельство, а горе мое горькое, да и жалость сердечная к вам, голубке чистой, моей благодетельнице. Терпеть ли вы, ваше сиятельство, все будете по своей доброте ангельской, али властью вашей как ни на есть накажете её, озорницу и охальницу — все в руках вашего сиятельства, только я, по крайности, спокойна, не оставив вас в неведении. Вашего сиятельства покорная раба Настасья Мишина».

Бледная, как смерть, Наталья Федоровна замерла на кресле и бессильно опустила руки.

«Что делать? Что делать?» — неслось в её

голове.

Наконец, она встала, изорвала полученное письмо в мелкие клочки и стала порывистою походкою ходить по комнате.

«Терпеть, терпеть!..» — мысленно твердила она, повинуюсь какому-то внутреннему голосу.

XXII

В церкви святого Лазаря

Бессонная ночь и тревожный, почти болезненный сон ранним утром был результатом полученного накануне графиней Аракчевой письма грузинской домоправительницы.

Встав после полудня, Наталья Федоровна некоторое время все ещё не могла прийти в себя от пережитых душевных тревожений, машинально выпила она поданную ей чашку кофе и вдруг приказала подать ей одеваться как можно скорее.

У неё явилась внезапная мысль:

«Да, там, на свежей могиле отца-друга, в горячей молитве, может она почерпнуть си-

лу, найти утешение... Ему, отошедшему в тот мир, где нет ни печали, ни воздыхания, может поверить она свою земную печаль, открыть свою душу, он поймет её и помолится за неё пред престолом Всевышнего».

«Туда, туда, скорей, скорей!»

Торопливо одевшись, она приказала подавать экипаж и уехала на Лазаревское кладбище. На кладбище было тихо и безмолвно, не было ни одной души человеческой, так как монахи предавались послеобеденному сну.

Выйдя из экипажа у главных ворот лавры, Наталья Федоровна быстро прошла на дорожную могилу.

Набожно склонилась она перед свежим могильным холмом и устремила полные слез прекрасные глаза на этот клочок земли, под которым был скрыт дорогой для неё человек. Она почувствовала всем своим существом, что не только под землей лежит его бездыханное тело, но что и душа его здесь близко около неё, что эта близкая её, родная душа понимает, зачем она пришла сюда, слышит её страдания, не требуя слов, да она, быть может, и не нашла бы этих слов. Эта немая бесе-

да с отошедшим в другой мир, это все-таки разделение скорби облегчило её; она даже как-то успокоилась, но это спокойствие было роковым. Появившаяся душевная крепость, выразившаяся в ослаблении нервного напряжения, вместе с тем, вдруг ослабила весь её физический организм, она пала ниц перед могильною насыпью и глухо зарыдала.

Сколько времени длились эти рыдания, она не помнила, она очнулась в притворе церкви святого Лазаря, лежа на деревянной скамье, а около неё, близко наклонившись, стоял Николай Павлович Зарудин.

Несколько времени она смотрела на него широко открытыми глазами. Видимо, ещё находясь в состоянии полубеспамятства, она не могла дать себе ясного отчета, стоит ли перед ней живой человек, или же это игра её болезненного напряженного воображения.

— Как вы себя чувствуете? — тихим, ласковым голосом произнес он.

Она поняла, что она не грезит.

— Где я, и как вы очутились около меня? — спросила она и быстро поднялась со скамьи, но тотчас же почти упала на неё, бережно

поддержанная им.

— Посидите, вы ещё слабы!

— Где я? — повторила графиня.

— На Лазаревом кладбище, в церкви, нынче годовщина смерти моей матушки, я приехал помолиться на её могиле и случайно увидел вас, распростертую, без чувств, у могилы вашего батюшки, кругом не было ни души, я положительно растерялся и, не зная, что делать, взял и принес вас сюда, так как на дворе дождь...

— Да, да, я помню, я так горячо молилась... Но я стала так слаба... — смущенно заговорила она.

Она снова сделала усилие подняться, но не могла.

— Отдохните! Побудьте ещё... со мной... — видимо, невольно, с мольбой, вырвалось у него.

Она окинула его взглядом, полным какого-то безотчетного страха.

— С вами? — упавшим голосом произнесла Наталья Федоровна.

— Да, со мной... — нежно повторил он и взял её руку.

На него напала смелость отчаяния. Он с ужасом думал, что вот сейчас промчатся эти чудесные мгновения, когда она, его бывшая Талечка, здесь, рядом с ним. Он глядит в её дивные глаза, он чувствует её дыхание.

Она, между прочим, тихо высвободила свою руку.

— Я не должна... не смею... — произнесла она, и на глазах её заискрились слезы.

Он побледнел, и на его исхудалом лице появилось выражение такой нестерпимой душевной боли, что она, взглянув на него, порывисто вскочила со скамьи и, схватив его за руку, почти простонала:

— Пойдемте туда, в церковь...

Она быстро вошла в храм, он послушно последовал за нею.

— Помолимся, чтобы Бог простил нам нашу грешную беседу... — как-то особенно торжественно сказала она, опускаясь на колени посреди пустынного храма.

Он окинул её недоумевающим взглядом, но все-таки последовал её примеру.

Она уже тихо молилась и плакала, но это уже были не те слезы, которые она проливала

на отцовской могиле, не слезы накопившегося тяжелого горя, а тихие сладкие слезы душевной мольбы и надежды на благость Провидения.

Искренние молитвы действуют заразительно.

Не прошло и нескольких минут, как рядом с Натальей Федоровной искренно молился и Николай Павлович. Наталья Федоровна встала первая с колен и пошатнулась. Силы снова начали оставлять её.

Вскочивший Николай Павлович быстро поддержал её и бережно довел до стула, стоявшего в глубине церкви. В последней царил таинственный полумрак, усугубляемый там и сям мерцающими неугасимыми лампадами, полуосвещающими строгие лица святых угодников, в готические решетчатые окна лил слабый сероватый свет пасмурного дня, на дворе, видимо, бушевал сильный ветер, и его порывы относили крупные дождевые капли, которые по временам мелкою дробью рассыпались по стеклам, нарушая царившую в храме благоговейную тишину.

Сидевшая на стуле графиня Аракчеева и

стоявший перед ней Зарудин некоторое время молчали, как бы подавленные окружающей обстановкой, и невольно вздрагивали, когда дробь крупного дождя раздавалась то в том, то в другом окне.

— Я весь внимание, графиня!.. — прервал первый Николай Павлович тягостное для них обоих молчание.

— О, не называйте меня так, — воскликнула она, — пусть я буду для вас прежней Натальей Хомутовой, вы не можете себе представить, какую дороною ценою купила я этот громкий титул, и как мало цены придаю ему я именно вследствие этой ужасающей для меня дороговизны... Слушайте, я расскажу вам горькую повесть этих сравнительно немногих дней моей новой жизни...

Зарудин тихо опустился на колени возле её стула. Его лицо было обращено не к ней, а к тонувшему в церковном полумраке алтарю...

Больше всего его поразило то одинаковое значение, которое она и он придавали этой встрече в храме.

Она поняла, что он стал на колени не пе-

ред ней, не подчиняясь какому-либо земному чувству, но, видимо, под наплывом иного, высшего, благоговейного, охватившего и её саму в эту минуту... Но все-таки она остановилась и молчала...

— Я слушаю... — тихо промолвил он.

Она медленно начала свой рассказ. Подробно останавливалась она на своих мечтах, разбившихся мечтах... воспроизвела свое свидание с Минкиной, вероломство Бахметьевой и письмо Настасьи, полученное ею вчера... Она ни одним словом, ни намеком не дала понять ему о своей прошлой, не только настоящей любви к нему, но он понял это душою в тоне её исповеди и какое-то почти светлое, радостное чувство охватило все его существо.

— Мне теперь легко, я высказалась, я облегчила свою наболевшую душу, поклянитесь же мне, что ни одна живая душа не узнает врученной вам мною тайны... — заключила она и с мольбой посмотрела на него.

Он скорее почувствовал, нежели видел этот взгляд, так как все продолжал смотреть на отдаленный алтарь.

— Разве нужны для этого клятвы... — с

чуть заметным сердечным упреком произнес он. — Но если это вас успокоит, клянусь!..

— Простите! — чуть слышно прошептала она.

Наступило продолжительное молчание.

— Что же вы намерены делать? — начал он, встав с колен.

— Что делать? — грустно повторила она. — Терпеть... ведь я не могу винить его, всякая другая на моем месте могла быть счастлива, но только не я, да ведь он совсем и не знал меня...

— Вашей чистой душе лучше знать это... — уклончиво заметил он. — Но знайте, Наталья Федоровна, что во мне вы найдете всегда искреннего друга, готового пожертвовать для вашего счастья и спокойствия самую жизнь. Я жил и живу только вами и для вас...

Он сказал эту почти банальную фразу таким торжественным, искренним тоном, что слова его проникли в её душу и она невольно, почти моментально протянула ему руку. Он взял её и благоговейно поцеловал.

— Пора! — сказала она почти с грустью. — Прощайте, вероятно, навсегда.

— Прощайте... да будет над нами воля Божья...

В его голосе слышались слезы. Он подал ей руку и проводил до экипажа.

По приезде домой, Наталья Федоровна узнала, что граф во время её отсутствия вернулся из Грузина и, не раздеваясь, немедленно поскакал во дворец.

XXIII

Возвращение войск

Граф Алексей Андреевич Аракчеев был прав, заметив, если припомнит читатель, Екатерине Петровне Бахметьевой, что Зарудин опоздал со своей просьбой о переводе его в действующую армию, так как участие в союзнической войне со стороны России окончено и наши войска возвратились. Наивное возражение молодой девушки: «Значит, когда будет война» — тоже оказалось пророческим, так как Николаю Павловичу действительно не пришлось ждать долго объявления новой войны; но не будем забегать вперед, а сделаем краткий обзор положения России относи-

тельно западно-европейских держав в описываемый нами период.

После несчастной битвы под Аустерлицом, австрийский император Франц, как мы уже говорили, вступил с Наполеоном в переговоры о мире, перемирие было подписано 26 ноября 1805 года, а на другой день император Александр Павлович уехал в Петербург. Воображение его было чересчур потрясено ужасными сценами войны; как человек он радовался её окончанию, но как монарх сказал перед отъездом следующую фразу, достойную великого венценосца:

— Я привел мою армию на помощь Австрии и отправлю её назад, если австрийский монарх желает обойтись без моей помощи[9].

Русское войско двинулось в Россию, Кутузов вел его через Венгрию и Галицию, и везде оно было встречено местным населением с радушием и гостеприимством; нередко даже весь корпус офицеров угощали без денег, а за больными русскими ухаживали, как за родными.

На пути присоединились к русской армии отставшие и затерявшиеся солдаты; кто при-

носил знамя, оторванное от древка, кто привозил длинными и непроходимыми дорогами спасенную от врагов пушку. Нельзя не упомянуть, кстати, о подвиге унтер-офицера азовского полка Старичкова. Во время полного разгрома колонны Прибышевского, он был сильно изранен, но перед самым пленом своим успел оторвать порученное ему знамя от древка и спрятать под своей одеждой. Находясь в плену и чувствуя приближение смерти, он передал свою тайну рядовому Чайке и заклинал его беречь знамя, как святыню, и возвратить полку, если Бог приведет ему вернуться из плена. Чайка исполнил поручение.

Когда гвардейские полки прибыли в Петербург и подошли церемониальным маршем к Зимнему дворцу, все офицеры получили в награду за поход третное жалованье, а солдаты по рублю; конногвардейскому полку, как отбившему французское знамя в битве, пожалован георгиевский штандарт. Георгиевские кресты были даны великому князю Константину Павловичу, Багратиону, Милорадовичу, Дохтурову и другим генералам. Кутузов за все время похода получил Владимира I степени и

фрейлинский вензель для дочери.

Аустерлицкая победа и пресбургский мир, унизившие Австрию, сделали Наполеона ещё высокомернее. Стараясь поработить Германию и Италию, он сделал братьев своих королями: Иосифа — неаполитанским, Людовика — голландским, а другим своим родственникам и даже маршалам роздал во владение мелкие графства, княжества и баронства, образованные из захваченных у соседей земель; затем из Баварии, Вертемберга, Бадена, Гессен-Дармштадта и других германских земель устроил так называемый Рейнский союз, которому подчинил все мелкие германские земли («медиатизовал» их), чтобы самому под именем протектора (*protecteur de la confederation du Rhin*) распоряжаться их вооруженными силами. Государства Рейнского союза должны были выставлять для него более 60 000 войска. С Германией он более не церемонился и на регенсбургском сейме объявил решительно, что не признает более существования германской римской империи. Франц должен был сложить с себя титул императора священной римской империи.

Во время войны союзников с Наполеоном Пруссия держалась нейтралитета, и хотя общественное мнение было за войну, а войско ненавидело Наполеона, осторожный и малодушный король Фридрих Вильгельм держал себя робко и употреблял все средства, чтобы отклонить разрыв с сильным завоевателем. Страна ровная, с открытыми границами со всех сторон, Пруссия не представляла даже в середине таких преград, за которыми после уничтожения армии, можно было укрыться на время и организовать народное восстание, к тому же французская армия была почти у границ Пруссии и Наполеону не нужно было в войне с нею побеждать даже расстояния. Несмотря на все это, нерешительность короля была побеждена, когда Наполеон нанес Пруссии сильнейшее оскорбление: заняв некоторые её земли, он объявил, что желает отдать Ганновер Англии. Начиная готовиться к войне, Фридрих-Вильгельм обратился за помощью к другу своему императору Александру, и когда тот, отвечая ему, «что не только союзник пребудет верен своему союзнику, но и друг явится в числе многочисленной и отлич-

ной армии на помощь своему другу», король объявил Наполеону войну.

XXIV

Поражение Пруссии

Минута объявления войны Наполеону со стороны Пруссии, казалось, была самая благоприятная, так как необыкновенное оживление охватило все прусское общество. Пылкий принц Людовик, симпатичная королева не уезжали из лагеря; профессора на кафедрах, поэты в стихах призывали народ к оружию и даже философ Фихте в речах своих к германскому народу просил как милости принять его в ряды прусской армии.

Несмотря на это патриотическое возбуждение, с первого взгляда на силы Пруссии можно было видеть, что она проиграет. Действительно, что могла выставить она против 200 000 превосходной и закаленной в боях армии Наполеона?

Пруссия могла выставить только 150 000 человек, считая в этом числе 20 000 саксонцев; и эти солдаты не воевали со времен Фри-

дриха Великого, были одеты в неуклюжие мундиры, делавшие их удивительно неповоротливыми, не имели шинелей, на головах носили косы и употребляли пудру; стреляли дурно; к тому же все главные начальники и генералы были люди старые, например, главнокомандующему, герцогу Брауншвейгскому было 71 год, а принцу Гогенлоэ и Блюхеру более 60 лет; кто-то сосчитал года 19 генералов магдебургского округа, и в сумме получилось 1 300 лет[10].

Гордые преданиями, эти старинные тактики не хотели допустить никаких нововведений в военном искусстве и твердо держались правил Семилетней войны. Лазаретов и магазинов в армии было мало, а между тем, обозы с ненужными вещами генералов и офицеров затрудняли движение армии; редкий из офицеров имел одну лошадь; один офицер возил с собой фортепьяно, другой не мог обойтись без француженки. Такая-то армия с криками «побьем французов» выступила в поход.

Семидесятитысячный корпус герцога Брауншвейгского пошел из Магдебурга на Веймар и Эрфурт, другой корпус, под началь-

ством принца Гогенлоэ, пошел на Саксонию, взяв здесь 20 000 саксонцев и отправился через Эйзенах до конца Тюрингенского леса, чтобы увлечь также курфюрста Гессен-Кассельского.

Наполеон со свойственною ему быстротою и с огромными силами отрезал прусскую армию от Берлина и в двух сражениях при Иене и Ауерштадте разбил её наголову. Последнюю битву можно бы назвать по справедливости бойнею. Прусскими войсками овладел панический страх: целые дивизии без выстрела бросали оружие, и сильные крепости сдавались французским гусарам. По следам разбитых и отступавших в беспорядке прусских отрядов Наполеон двинулся к Берлину и занял его. Здесь он потребовал от всех чиновников и служащих, чтобы они присягнули ему на верность службы, а вскоре особым декретом обложил Пруссию и её германских союзников чрезвычайной контрибуцией в 159 миллионов франков.

Прусский король, потерявший столицу, большую часть королевства, лишенный армии и лучших крепостей, находился в это

время в Кюстрине и здесь, рассчитывая на помощь императора Александра, отказался от мира, предложенного ему Наполеоном.

Тогда последний, раньше подстрекавший патриотизм поляков, быстро двинулся на Познань, где польские патриоты, мечтавшие о восстановлении королевства, встретили его с особенным восторгом. На Висле он объявил армии о начале войны с Россией.

Таким образом, Россия, только что окончившая войну с Наполеоном в союзе с Австриею, должна была начать её снова.

16 ноября 1806 года Наполеону была объявлена война. Все французы, не желавшие принять русское подданство, были высланы за границу, с Францией прекращены торговые сношения.

Ещё по возвращении русской армии после Аустерлицкого разгрома зимой начались преобразования по военной части; императору Александру Павловичу хотелось сейчас же привести наши боевые силы в такое положение, которое допускало бы сопротивление Наполеону. Одним из главных и усердных его помощников в этом деле был граф Алексей

Андреевич Аракчеев, и, кроме того, с этой целью, под личным председательством его величества, был составлен военный совет из фельдмаршалов: графа Салтыкова и графа Каменского, военного министра Вязмитинова, генералов Кутузова, Сухтелена и других. Графа Аракчеева среди них не было, он стоял особняком, так как вообще не одобрял никаких коллегиальных учреждений.

Совет обязан был приискать средства к удобнейшему и скорейшему формированию войска и начертать план военных действий на случай войны с теми государствами, от которых её можно было по разным обстоятельствам ожидать. В это же время начались деятельные приготовления к войне. Сделано было два рекрутских набора: один по четыре, другой по одной человеку с пятисот душ, и оба с уменьшенной мерой роста рекрут; сформировано 29 полков; артиллерия пополнена и преобразована — это было дело уже исключительно графа Аракчеева; усилена выделка оружия, заведены магазины, собраны фуры, вozy и прочее.

По объявлении войны, когда сделаны бы-

ли военные распоряжения и русские войска двинулись к прусской границе, вдруг получено было известие о полном поражении Пруссии. Обстоятельство, неприятное само по себе, было для нас тем более неприятным, что придавало делу другой оборот. Не отказываясь от войны с Наполеоном, русские из союзников должны были обратиться в главных деятелей, и вместо того, чтобы прогнать Наполеона за Рейн, должны были заботиться о защите своих собственных границ.

XXV

Тайна любви

Ряд нравственных потрясений, обрушившихся на несчастного Николая Павловича Зарудина со дня злополучного свидания его с Натальей Федоровной на 6 линии Васильевского острова до получения им рокового пригласительного билета на свадьбу графа Аракчеева, довели его, как мы уже знаем, до неудавшегося, к счастью, покушения на самоубийство и разбили вконец его и без того хрупкий и нервный, унаследованный от ма-

тери организм.

В ту же ночь, следовавшую за днем катастрофы, после отъезда спасшего ему жизнь Кудрина с Николаем Павловичем сделался страшный жар, и он начал метаться в горячечном бреду.

Призванные доктора констатировали начало сильнейшей нервной горячки. Около двух месяцев пролежал в постели Зарудин, так как после благополучно разрешившегося кризиса восстановление сил шло очень медленно по вине самого больного, продолжавшего находиться в угнетенном состоянии духа.

«Нет худа без добра», говорит русская поговорка. Оправдалась она и в данном случае: болезнь Николая Павловича оказалась очень кстати, она помогла скрыть его покушение на свою жизнь от начальства, так как за время её от незначительного поранения виска не осталось и следа, хотя, как мы знаем из слов Бахметьевой, это не совсем осталось тайной для петербургского общества, и рассказ об этом с разными прикрасами довольно долго циркулировал в гвардейских полках и в вели-

косветских гостиных, но затем о нем забыли, на сцену выступили другие злобы дня, главная из которых была предстоящая вновь война с Наполеоном, как бы предугаданная русским обществом и войском ранее, нежели она стала известна правительственным сферам.

Мы видели это из слов Кудрина, сказанных у постели раненого Николая Павловича.

Наконец, последний окончательно выздоровел и явился в свой полк, пунктуально и аккуратно, как и прежде стал исполнять свои обязанности, но сдержанный и до своей болезни относительно большинства своих товарищей, он стал теперь окончательно от них отдаляться, перестал бывать в обществе и сидел дома, погруженный в чтение или в свои горькие думы.

На него напала чисто болезненная меланхолия.

Его верный друг Андрей Павлович зорко следил за ним и один умел втянуть его в оживленную беседу по отвлеченным вопросам и осторожно, не давая ему заметить этого, поднимал упавший в нем дух.

Он не упрекал и не стыдил его, он даже, казалось, не замечал угнетенное положение его друга и в силу этого гораздо вернее приближался к цели, с особою чисто женскою нежностью и необычайным искусством вливая целительный бальзам утешения в душевные раны Зарудина.

Он не касался «тайны сердца» несчастного Николая Павловича, не требовал от него во имя дружбы, зачастую становящейся деспотической, откровенности в этом направлении, он, напротив, ловко лавировал, когда разговор касался тем, соприкасавшихся с недавно так мучительно пережитым им прошлым. Николай Павлович хорошо понимал и высоко ценил эту сердечную деликатность своего друга, а потому не только не уклонялся от беседы с ним, но с истинным удовольствием проводил в этой беседе целые вечера.

Поступление в масоны было окончательно решено, и Зарудин деятельно и благоговейно под руководством Кудрина готовился к этому решительному шагу. Посвящение назначено было на октябрь месяц.

Не изменил Андрей Павлович своему де-

ликатному отсутствию любопытства даже тогда, когда приехал к своему приятелю вечером того дня, в который состоялось неожиданное для обоих свидание Николая Павловича с графиней Аракчеевой, описанное нами в одной из предыдущих глав, хотя застал своего приятеля в исключительно возбужденном состоянии духа.

Таким он не видал его давно.

Действительно, это свидание на мистически настроенного Зарудина произвело отрадное впечатление, он был почему-то глубоко убежден, что оно, несмотря на последние слова Натальи Федоровны, далеко не последнее, он, проводив графиню, снова вернулся в церковь святого Лазаря и там горячо благодарил Бога за неизреченную благодать, явленную ему избранием его другом-охранителем несчастной, безумно любимой им женщины, он видел в этой встрече в храме доказательство именно этой воли Провидения. В его уме ни на одну секунду, при воспоминании об этой встрече, не появлялась мысль о Наталье Федоровне как о женщине, и это очищенное горнилом страданий чувство возвысило его в

собственных глазах, доставляло ему чисто райское наслаждение и подтверждало запавшую в его голову мысль о его роли в жизни графини Аракчеевой.

Таким образом, цель его жизни была им наконец отыскана.

Мы увидим далее, что он не ошибался.

Кудрин пришел в этот вечер, как он сам выразился, с полным коробом новостей.

— Война будет объявлена очень скоро; если гвардия и останется в Петербурге, то тебе можно будет сейчас же просить о переводе в действующую армию; в этом, конечно, не откажут, я сам думаю сделать то же, нас с тобой не особенно жалует начальство и с удовольствием отпустит под французские пули, а там, там настоящая жизнь... Жизнь перед лицом смерти!.. — с одушевлением воскликнул Андрей Павлович.

Зарудин довольно хладнокровно принял известие о близком осуществлении его заветной мечты — вырваться из ненавистного ему Петербурга.

Кудрин удивленно и долго посмотрел на своего приятеля, но не выразил вслух своего

удивления и продолжал:

— На днях ты будешь принят в ложу, а затем мы рука об руку как духовные братья пойдем смирать расходившегося европейского буяна, которому, сдается мне, суждено погибнуть от русской нагайки...

В конце концов восторженные, огненные речи друга возымели свое действие на Николай Павловича; в нем проснулся тот русский богатырь-солдат, который скрыт под тонким мундиром всякого честного офицера, и он с воодушевлением стал рисовать Андрею Павловичу картины их будущей бивачной жизни, заранее предвкушая сладость несомненной победы над «общевропейским врагом», «палачом свободы», «насадителем военной тирании» Наполеоном, этим воплощенным зверем Апокалипсиса.

Зарудин далеко не был трусом, но при первых словах приятеля о предстоящей войне его вдруг неожиданно посетил страх смерти, не за себя, а за неё.

«Она лишится единственного друга...» — пронеслось у него в голове.

«Нет, я не буду убит... Бог не допустит это-

го».

Последнюю фразу подсказал ему какой-то внутренний голос.

Приятели пробеседовали далеко за полночь. Кудрин увидел, что друг его вдруг окончательно выздоровел. Он не старался доисследовать причины этому — он только от души за него порадовался.

XXVI

Кто виноват?

Фраза, полная всепрощающей христианской любви и кротости, по отношению к её мужу, сказанная Натальей Федоровной Аракчеевой Николаю Павловичу Зарудину в церкви святого Лазаря: «Ведь я не могу винить и его, всякая другая на моем месте могла быть счастлива, но только не я, да ведь он совсем и не знал меня», — была совершенно справедлива.

Трудно было найти два более противоположные существа, злосчастливым роком связанные между собою на всю жизнь, чем граф и графиня Аракчевы.

Говорят, что крайности сходятся, но в данном случае это было неприменимо, так как подобные союзы крайностей все-таки основаны на взаимных уступках, а в железном характере графа не было и не могло им быть места.

Быть может, он и сделал бы в этом отношении исключение для своей жены, но его ум не мог понять необходимости какого-либо послабления в супружеской жизни, этого прообраза монархического правления. Он был, кроме того, искренно убежден, что, женись на девице Хомутовой, сделав её первой, после высочайших, дамой в империи, введя её в высшие придворные сферы, окружив богатством, комфортом и роскошью, он доставил ей все, что могло составлять идеал женской доли и удовлетворять женскому честолюбию. Чего, на самом деле, не доставало ей? «Разве птичьего молока?» — с усмешкой думал он, замечая порой страдальческое, недовольное выражение лица молодой женщины в первые месяцы их супружества. Это выражение прямо оскорбляло его, раздражало и постепенно отдаляло от жены.

«Женской блажи», как называл он первые попытки вмешательства её в его дела и приостановленную вовремя благотворительную деятельность графини, он не придавал ни малейшего значения.

«Блажит от скуки, с жиру бесится!» — решал он с присущею ему быстротою, хотя хорошо видел, что жиру, в буквальном смысле этого слова, не было и тени в исхудавшей после замужества Наталье Федоровне.

«И с чего ей скучать? — недоумевал он, всю свою жизнь не знавший скуки и считавший её уделом лентяев и шаркунов. — Баба, а скучает!»

В применении ко всякой другой девушке тогдашних дворянских семей все эти рассуждения графа были бы совершенно правильны — каждая из них была бы счастлива судьбою жены всемогущего Аракчеева, и недаром все маменьки и дочки с злобным завистливым ропотом встретили весть о замужестве Наташи Хомутовой, но, увы, для этой последней, воспитанницы m-lle Дюран, было мало наружного блеска, материального довольства, возможности исполнения дорогих ка-

призов, её стремления были иные, увь, неосуществимые.

Граф, действительно, совершенно не знал своей жены, он, впрочем, даже не понял бы, если бы кто взял на себя труд растолковать ему эти мечты и стремления; мужчину с подобными идеями он бы не потерпел около себя как опасного вольтерианца, женщине же он прямо отказывал в возможности иметь такие мысли, как и в праве на скуку, что мы видели ранее.

«Что баба? Её царство — кухня или бальная зала, её дело — щи варить да языком чесать или рядиться да „шуры-муры“ строить, и коли в какое она дело замешается — пиши пропало, известно, там ум короток, где волос долог».

Под «шуры-муры» граф подразумевал светское кокетство.

Других горизонтов и не открывалось ещё тогда для деятельности русской женщины, за единичными исключениями, а потому взгляд Алексея Андреевича был совершенно в духе его современников, и не его, конечно, можно винить в этом, если, скажем кстати, и в на-

стоящее время вопрос о пресловутых женских нравах является очень и очень спорным.

Все это привело к быстрому охлаждению между супругами и даже почти полному отчуждению их друг от друга.

Графа раздражала апатичность Натальи Федоровны, он сознавал, что она чище, лучше его, что он все-таки виноват перед нею, и ему порой казалось, что она является воплощенным упреком его совести. В особенности он не мог выносить светлого взгляда её чудных, страдальческих глаз.

— Точно она душу разглядывает! — ворчал он про себя, после беседы с женою.

Её непорочность, покорность и безответность давили его.

Точно тяжелое бремя свалилось с его души, когда он узнал от Бахметьевой о романе Натальи Федоровны перед замужеством. Подруга не поскупилась на краски, а Алексей Андреевич наложил ещё более теней.

«Спихнули дочку против воли, породниться со мной захотели! — думал он со злобой о стариках Хомутовых. — Тоже святошей прикидывается, а сама сохнет под кровлей закон-

ного мужа по любви к другому, чай, сбежала бы давно, кабы не страх да не стыд, который видно не весь потеряла... — продолжал он свои размышления уже по адресу своей жены. — Надо за нею глаз да глаз, недаром поговорка молвится: „в тихом омуте черти водятся“».

Сознание вины перед Натальей Федоровной сменилось в сердце графа обвинением её во всем, даже в его сближении с Минкиной и Бахметьевой, да кроме того в это же сердце змеей вползло чувство ревности, той мучительной ревности, которая является не результатом любви, а только самолюбия.

От графини не укрылось это изменение в отношении к ней её мужа, но не в её натуре было оправдываться, она считала себя выше взводимой на неё кем бы то ни было клеветы, тем более её бывшей подругой, о чем она тотчас же догадалась.

— С кем это вы изволили сегодня прогуливаться по кладбищу?.. — глядя на неё в упор, спросил вернувшийся из дворца граф за вечерним чаем, когда они остались с глазу на глаз.

Графиня вспыхнула, она поняла, что окружена шпионами, но не потупила глаз и спокойно ответила:

— Я случайно встретила с сыном друга моего покойного отца Николаем Павловичем Зарудиным...

— Гм!.. — прогнусил Алексей Андреевич.

— Я бы попросил вас по возможности избегать подобных случайностей! — добавил он после некоторой паузы, сделав весьма красноречивое ударение на последнем слове.

Наталья Федоровна промолчала. Граф вскоре ушел к себе в кабинет.

Мучительно потянулась однообразная жизнь молодой женщины. Начался зимний сезон, но и в шумных великосветских петербургских гостиных, среди расфранченной толпы, она чувствовала себя настолько же одинокой и несчастной, как и у себя дома, вечно под подозрительным, почти враждебным взглядом своего сурового мужа. Зарудина она не встречала нигде.

Наталья Федоровна положительно изнемогала под непосильным бременем этой жизни, полной светских сплетен, мелких дрызг, ин-

триг и нравственной грязи. Она находилась в положении цветка без почвы, рыбы без воды, она буквально задыхалась от отсутствия малейшей струи свежего воздуха.

Чаша человеческого терпения готова была переполниться; недоставало только одной капли. Ожидать её пришлось не особенно долго.

XXVII

В служебном ослеплении

Семейный разлад, все более и более обострившийся, казалось, не замечался графом Алексеем Андреевичем, жившим исключительно государственною жизнью и считавшим и дом свой только частью той государственной машины, управление которой ему вверено Высочайшею властью.

Страсть к строгому порядку и дисциплине с расчетливостью составляли исключительную заботу Аракчеева по службе и в жизни домашней. Село Грузино, где сосредоточены памятники доверенности и благодеяний императоров Павла и Александра, походило бо-

лее на военную колонию, чем на имение помещика, даже в то время, когда он сошел уже с поприща государственного. Как в Петербурге, так и там, он был строг и взыскателен по службе, точно также не извинял ни одного упущения и беспорядка, где бы он ни появлялся, и всякая вина была в его глазах виною неизвинительною.

«Где нет суровости, там нет службы», было его любимым изречением, а служба была его жизнью.

К тому же он был человеком, скрывавшим от самых близких ему людей свои мысли и предположения и не допускавшим себя до откровенной с кем-либо беседы. Это происходило, быть может, и от гордости, так как он одному себе обязан был своим положением, но граф не высказывал её так, как другие. Пошлого чванства в нем не было. Он понимал, что пышность ему не к лицу, а потому вел жизнь домоседа и в будничной своей жизни не гнался за праздничными эффектами. Это был «военный схимник среди блестящих собраний двора».

Масса государственных дел положительно

отнимала у него все время, совершенно поглощала его и не давала возможности, даже при желании, следить за внутренней жизнью близких ему людей, а быть может он и не подозревал о существовании такой жизни.

В 1803 году император Александр Павлович сделал его инспектором всей артиллерии и командиром лейб-гвардии артиллерийского батальона, но, кроме того, он постоянно призывал его к себе для советов, и все важнейшие дела государственного управления, не исключая и дел духовных, рассматривались и готовились при участии графа Аракчеева.

Естественно, что при таких усиленных и разносторонних занятиях, поглощавших дни и часть ночей графа Алексея Андреевича, он, весь отдавшись исполнению священного долга служения государю и отечеству, в своем служебном ослеплении и не подозревал нравственных страданий своей молодой жены.

Если мы припомним к тому же его взгляд на женщин вообще и его отношение к ним, то нам станет совершенно ясна возможность того, что совершавшаяся в его доме глухая,

скрытая житейская драма прошла для него совершенно незамеченною.

Весь строй его домашней жизни продолжал оставаться по своей внешности в той же заранее строго определенной им форме, всюду царил образцовый порядок, все исполняли возложенные на них обязанности, в приемные дни и часы гостиные графини были полны визитерами, принимаемыми по выбору графа, графиня аккуратно отвечала на визиты — все, следовательно, обстояло, по мнению Алексея Андреевича, совершенно благополучно.

Чего же ему надо было желать, до чего попытываться, да и где было найти для этого время?

XXVIII

У постели умирающей

— Ну, что и как? — встретил тревожным вопросом Сергей Дмитриевич Талицкий свою кузину, вернувшуюся из Грузина. Он знал также, что она оставалась там одна, без графини, приехавшей в Петербург к умирающему отцу.

Екатерина Петровна как бы нехотя удовлетворила его любопытство.

— Вот и прекрасно, молодец!.. — одобрительно воскликнул он.

— Я все же виновата перед Талечкой, она была ко мне так добра, — как бы про себя проговорила она.

— Ну, это пустяки, сентименты... — пренебрежительно отозвался он. — Поговорим лучше о деле... Старухе-то скоро капут...

— Какой старухе? — не поняла Екатерина Петровна.

— Какой, известно какой, твоей матери; очень она плоха стала последние дни, третьего дня уже её соборовали и причащали, ле-

жит теперь без памяти второй день, доктор говорит, что каждую минуту надо ожидать конца...

Бахметьева побледнела.

В её душе шевельнулось нечто вроде угрызания совести. Жалость к матери, всю жизнь боготворившей её, здоровье и самую жизнь которой она принесла в жертву греховной любви к сидевшему против неё человеку, приковавшему её теперь к себе неразрывными цепями общего преступления — на мгновение поднялась в её зачерстневшем для родственной любви сердце, и она почти враждебно, с нескрываемой ненавистью посмотрела на Талицкого.

Он не заметил этого взгляда.

— Почему же ты меня не уведомил?.. — упавшим голосом спросила она.

— К чему, помочь ей ты не могла, так зачем же было тебя по пустякам отрывать от серьезного дела... — с циничным спокойствием ответил он.

— По пустякам... Смерть моей матери, по твоему, пустяки... — простонала она.

— Всякая смерть пустяки, а если она при-

ходит в старости, то тем более, не два же века жить было старухе, пора и на покой...

Екатерина Петровна не выдержала и зарыдала. Сергей Дмитриевич вскочил со стула и стал быстрыми шагами ходить по комнате, проворчав довольно громко:

— Разнюнилась!

Бахметьева не слыхала этого замечания и продолжала плакать.

Первою её мыслью было броситься к постели больной матери, но почти панически обуявший её страх остановил и как бы приковал её к креслу. Вся вина её перед этой, там, за несколько комнат лежащей умирающей женщиной, готовящейся ежеминутно предстать на суд Всевышнего, Всеведующего, Всемилостивейшего судьи и принести ему повесть о её земных страданиях, главною причиною которых была её родная дочь, любимая ею всею силою её материнской любви, страшной картиной восстала перед духовным взором молодой Бахметьевой, а наряду с тем восстали и картины её позора и глубокого безвозвратного падения.

Слезы неудержимым градом лились из её

очей.

Её привел в себя резкий голос Талицкого.

— Если ты сейчас не перестанешь реветь, как корова, то я уйду и только ты меня и видела. Ты знаешь, я этого не люблю, слезы не внушали мне никогда чувства жалости, напротив, они всегда бесили и злили меня, бесят и злят и теперь... Если я не уйду, то не ручаюсь, что я исколочу тебя... Плачут только бесхарактерные, слабые люди, а они не стоят ни сожаления, ни пощады... Ты знала, на что шла, сходясь со мной, смерть матери входила в наши расчеты, она умирает вовремя, иначе она связала бы наши руки. Чего же плакать? С этой дороги, по которой ты пошла со мной, поворота нет.

Молодая девушка расслышала только последние слова своего страшного руководителя.

Они ударили её, как обухом по голове. Она быстро отерла слезы.

— Ты прав, сняв голову, по волосам не плачут, — заметила она почти спокойным голосом, но при этом окинула Сергея Дмитриевича таким взглядом, полной непримиримой

ненависти и бессильной злобы, каким арестант глядит на своего тюремщика, или дикий зверь на своего властного укротителя.

От него не ускользнул этот взгляд, но он только презрительно усмехнулся.

— Умные речи приятно слушать! — сквозь зубы заметил он. Несколько минут оба молчали.

— После смерти матери ты выдашь мне верящее письмо на управление всеми своими делами и домом, и имением, квартиру нашу мы разделим, и я займу заднюю половину, мы с тобой, таким образом, не будем расставаться, в глазах же света будет весьма естественно, что ты как девушка не можешь жить одна и пригласила к себе своего ближайшего родственника.

Она слушала его безучастно, она понимала, что он не советовался с ней, а только излагал свои окончательные решения.

— Что же ты молчишь, разве ты не одобряешь этого плана? — спросил он все-таки её, видимо, для проформы.

— Делай, как знаешь, я во всем полагаюсь на тебя... одной, конечно, мне жить неудобно.

— Значит, это решено, мне пора, а ты иди к матери, но только не плачь, слезы не помогут, она все равно их не увидит, да и едва ли узнает тебя.

Он взял шляпу и вышел.

Все сказанное им о состоянии здоровья старухи Бахметьевой оказалось вполне справедливым. Мавра Сергеевна была совершенно без памяти, она поводила вокруг себя бессознательным взглядом своих полузакрытых глаз и слабо стонала.

В комнате при больной, пригорюнившись, сидела на сундуке старая нянька Екатерины Петровны Акулина. Она неотлучно ухаживала за своей больной барыней и благодетельницей, хотя слабые силы старушки подламывались от проводимых ею бессонных ночей.

Она и теперь, сидя, вздремнула.

Молодая девушка опустилась на колени перед постелью матери и горько, искренне заплакала.

Умиравшая не узнала её и даже, видимо, не обратила внимания на её присутствие у постели.

Плач Екатерины Петровны потревожил

лишь дремоту Акулины; последняя вздрогнула, отерла глаза и зевнула, три раза перекрестив свой беззубый рот.

Несколько минут она молча смотрела на свою воспитанницу.

— Чего ревешь белугой, матери спокойно и умереть не даешь, сама во гроб вогнала сердечную, а теперь ишь заливаешься... — сердито молвила старуха.

— Прости, Господи, мое великое согрешение! — добавила она.

Екатерина Петровна быстро встала с колен и, повернувшись лицом к няньке, поглядела на неё широко раскрытыми глазами.

— Чего глазища-то на меня свои уставила, за правду рассердилась, непутевая... Мать при смерти лежит, а она невесть где по чужим людям слоняется... домой вернулась, чем бы прямо к матери, она с этим охальником, прости Господи, шуры-муры разводит, бесстыжая.

— Да как ты смеешь... — с какой-то дрожью в голосе вскрикнула Екатерина Петровна и сделала несколько шагов по направлению к Акулине.

— Чего сметь-то... правду-то тебе в глаза сказать, завсегда скажу, не закажешь... — невозмутимо продолжала старуха, не трогаясь с места. — Ударить думаешь, так бей, убей, пожалуй, как вон и её убила.

Старуха вся выпрямилась и торжественным жестом указала на умирающую.

Екатерина Петровна отступила.

— Чего пятишься... бей!.. — продолжала Акулина. — Тебе что... все равно ты... проклятая!

Бахметьева вспыхнула.

— Погоди, ужо, я с тобой на конюшне велю расправиться... — глухо проворчала она и вышла, так сильно хлопнув дверью, что даже умирающая испуганно повела взором в сторону ушедшей.

Старуха стремительно бросилась к постели, но больная по-прежнему была без всякого сознания.

— На конюшню... — ворчала Акулина, — молода старых людей на конюшне учить, тебя бы вот так поучить следовало с твоим любовником.

Между тем, Екатерина Петровна вошла к

себе в комнату и бросилась, совершенно разбитая нравственно и физически, в кресло.

«Проклятая... — неслось в её голове. — Действительно, я проклятая, Акулина права, с избранной мною дороги поворота нет! — припомнились ей слова Талицкого. — И он прав! — подумала она. — Значит, надо идти вперед, рука об руку с ним, только с ним, так как он один и остался около меня».

Недавнее, мгновенно посетившее её, раскаяние, при известии об опасной болезни матери, так же мгновенно было заглушено опрометчивыми словами старой няньки, и прежняя эгоистическая злоба стала царить в её уже теперь вконец испорченном сердце, в котором потухла последняя тлевшаяся в его глубине искра добра.

С хладнокровием и спокойствием, достойными лучшего применения, присутствовала Бахметьева на похоронах своей матери, умершей через два дня после возвращения Екатерины Петровны из Грузина.

Отпевание и погребение тела покойной происходило на Смоленском кладбище.

Злобным взглядом проводила издали Бах-

метьева графиню Наталью Федоровну Аракчееву и её мать Дарью Алексеевну Хомутову, садившихся в экипаж после погребения Мавры Сергеевны, но ни за обедней, ни после неё не подошедших к искусно притворившейся убитой горем дочери покойной, во все время похорон поддерживаемой её троюродным братом.

— Чего тебя корчит? — злобно шептал он ей по временам. — Все ты мне руки оттянула.

Но она не унималась и то и дело впадала в притворные обмороки.

— Покажу я вам себя, покажу... — прошептала она по адресу уехавших дам.

Вскоре после похорон старухи Бахметьевой, в доме начались переделки, квартира была разделена на две совершенно отдельные половины, большую из которых заняла Екатерина Петровна, а меньшую, заднюю, Сергей Дмитриевич, облеченный полным доверием молодой помещицы и домовладелицы.

Старуха Акулина, конечно, избегла конюшни, но, к великому удовольствию её бывшей воспитанницы, отпросилась на богомо-

лье по святым местам, на что и получила тотчас согласие барышни.

Последняя даже не спросила, когда она думает воротиться. Присутствие, хотя совершенно безмолвной после сцены в спальне, старой няньки было очень тяжело Екатерине Петровне. Она была очень рада от неё отделаться, не возбуждая нарекания знакомых...

Барышня предложила ей на дорогу денег, но Акулина отказалась.

— Как же ты пойдешь без денег? — с недоумением спросила Екатерина Петровна.

— А Христос-то на что? Весь мир обойду Его именем... — степенно отвечала старуха.

XXIX

Без матери

Образ действий Дарьи Алексеевны Хомутовой и графини Аракчеевой по отношению к молодой Бахметьевой не остался без подражателей среди знакомых Екатерины Петровны. Все они постепенно отшатнулись от неё вскоре после похорон её матери и в особенности, когда слух о том, что она будет жить под одной кровлей со своим «кузеном» Талицким, пользовавшимся весьма нелестной репутацией, подтвердился на деле.

Переделка квартиры не принесла результатов, предсказанных Сергеем Дмитриевичем, и никого не убедила в чистоте отношений этих «родственников». «Шила в мешке не утаишь», — говорит русская пословица, в данном случае блистательно подтвердившаяся. Сплетня о Бахметьевой и Талицком росла, как снежный ком, среди обитателей Васильевского острова, и даже проникла в «город», как называли в то время центральную часть Петербурга. Сергей Дмитриевич, впрочем, не осо-

бенно дорожил честным именем своей кухни и даже под влиянием Бахуса, нередко среди пьяной компании своих товарищей-субу-тыльников хвастался этою связью.

Ему, впрочем, терять было нечего. Принужденный выйти в отставку за растрату казенных денег, пополненных офицерами, он безвозвратно испортил свою карьеру и всецело предался своей страсти к вину и картам. Игру он вел довольно счастливо и даже, как поговаривали, не особенно чисто, а недостатка в партнерах в то время не было, как и недостатка в домах, где можно было поесть и попить на даровщинку.

Понятно, что подобный общественный строй порождал массу прихлебателей, лизоблюдов, бездельников и шулеров; к категории этих общественных паразитов принадлежал и Сергей Дмитриевич Галицкий.

В долгу, как в шелку, он вечно нуждался в деньгах, кредит же почти исчез после того, как он принужден был снять военный мундир, имевший большое значение в глазах и поставщиков, и ростовщиков того времени. Бесконтрольное и безотчетное распоряжение

хотя и незначительным состоянием его кухни было ему на руку; он, что называется, оперился и пошел чертить, так что домой не появлялся подчас по нескольку дней.

Екатерина Петровна по целым дням сидела совершенно одна; злобная тоска грызла её, она срывала свою злость на своих крепостных служанках и на возвращавшемся «кузене». От последнего, впрочем, всегда получала энергичный отпор, и их ссоры оканчивались тем, что молодая девушка чуть не на коленях вымаливала себе прощенья и ласку. По странному свойству её чисто животной природы, грубость и даже побои Талицкого — случилось и это — все более и более укрепляли её чисто собачью к нему привязанность.

Казалось, этим путем женского унижения добытые ею ласки были для неё приятней и слаще, казалось, она и затевала ссоры для того, чтобы потом молить о прощении и примирении.

Кто разгадает эту мировую загадку, которая называется женщиной?

Вскоре, впрочем, некоторые из отшатнувшихся от неё знакомых вернулись и у неё об-

разовался свой кружок, внесший в её жизнь некоторое разнообразие.

Этим она была обязана графу Алексею Андреевичу Аракчееву.

Первые визиты были сделаны к Бахметьевой на другой же день после того, как коляска могущественного графа довольно долго стояла у подъезда её квартиры.

Посещения графа были хотя редки — он отговаривался делами — но все же приятно щекотали самолюбие Екатерины Петровны, и сладость этой связи для неё увеличилась ещё тем, что ей казалось, что она мстила её бывшей подруге Талечке и старухе Хомутовой, поведение которых на похоронах её матери она не могла ни забыть, ни простить.

В силу этого же она продолжала настойчиво лелеять в своей тщеславной голове мысль сделаться в будущем графиней Аракчеевой.

Каким образом это случится, она не знала, но на возможности осуществления этой идеи продолжал настаивать Сергей Дмитриевич, и она ему верила, главным образом потому, что хотела верить, так как в подробности его плана он её ещё не посвящал.

Он, если говорить откровенно, и сам ещё не создавал никакого плана, ему надо было занять чем-нибудь ум скупающей девушки, отвлечь её от матери, всецело привязав к себе, чего он и достиг, играя на слабой струне её мелкого тщеславия и не менее мелкой зависти к счастью, выпавшему на долю Талечки Хомутовой. Кроме того, он полагал, что сблизив её с Аракчевым, он может через неё исправить свою карьеру, получить хорошее место, но, увы, ошибся в этом, так как Алексей Андреевич наотрез отказал Екатерине Петровне при первой попытке её протезировать своему родственнику.

— У меня есть правило, никогда не определять на службу тех, за кого просят женщины... — прогнул ей в ответ Аракчев, когда она чрезвычайно осторожно начала разговор о вышедшем в отставку и находящемся без места её родственнике.

Граф, впрочем, не оставался совершенно глух к её просьбе и, видимо, приказал собрать справки о Талицком.

— Уж и хорош молодец, твой родственник... не советовал бы я не только хлопотать

за него, а и знаться с ним, его повесить мало... — заметил ей Алексей Андреевич при следующем посещении.

Он, понятно, не только не знал их отношений, но и того, что этот, родственник живет в её доме, так как Сергей Дмитриевич избегал встречи с могущественным обожателем своей кузины.

Екатерина Петровна передала ему отзыв о нем графа.

Талицкий злобно заскрежетал зубами.

— Погоди же ты, дуболом неотесанный, солдафон, кто кого!.. Меня-то тебе повесить не удастся, а вот я тебе повешу на шею кузинушку, и будет тебе это хуже всякой петли...

Но и после этого Сергей Дмитриевич не позаботился о плане дальнейших действий, надеясь на случай, тем более, что ему было не до того. Он только что продал без ведома Бахметьевой её маленькое имение, и в его кармане были деньги, а с деньгами разве думают о делах?

Сергей Дмитриевич, по крайней мере, решил этот вопрос отрицательно.

Екатерину Петровну он успокаивал общи-

ми фразами.

— Говорю, будешь графиней, значит, будешь, спешить не надо, можно все дело испортить, поспешишь, людей насмешишь, необходимо, чтобы он к тебе привык, привязался... Надо подождать...

И Бахметьева ждала.

Время, между тем, шло и обстоятельства складывались для неё, по-видимому, очень благоприятно.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Своим судом

I

Адский замысел

В то время, когда в доме графа Аракчеева разыгрывалась глухая драма скрытых страданий его молодой жены, задрапированная блеском и наружным деланным счастьем и довольством беспечной светской жизни, в то время, когда на Васильевском острове, в доме Бахметьевой, зрело зерно другой светской драмы будущего, село Грузино служило театром иной грубой, откровенной по своему цинизму, кровавой по своему исполнению, возмутительной драмы, главными действующими лицами которой были знакомые нам Настасья Минкина, Агафониха, Егор Егорович и Глаша.

Прошла уже неделя после окончательного отъезда из Грузина графа Алексея Андреевича, а в нем, между тем, продолжала царить, как и летом, «тишь, гладь и Божья благодать».

«Тишина перед бурей», — догадывались некоторые скептики из дворовых.

Настасья Федоровна, казалось, совсем изменилась и ходила такая тихая, добрая да ласковая.

Все окружающие диву давались, смотря на неё, и даже в сердце Егора Егоровича запала надежда на возможность объяснения с присмирившей домоправительницей, на освобождение его, с её согласия, от тягостной для него связи и на брак с Глашей, которая через несколько месяцев должна была сделаться матерью и пока тщательно скрывала свое положение, что, к счастью для неё, было ещё возможно.

Не ускользнуло, впрочем, это положение от зоркой и опытной Агафонихи, которая не преминула доложить своей благодетельнице Настасье Федоровне.

К удивлению старухи, та приняла известие довольно равнодушно.

— Знаю, — сказала она, — все знаю.

Агафониха замолчала.

Она, по своему ежедневному обыкновению, сидела у кровати отходившей ко сну

Минкиной и занимала её грузинскими сплетнями.

— Жаль Павлушку, парень первый сорт и как по ней, непутевой, убивается, — после некоторой паузы начала Агафониха.

— Какого Павлушку?

— Конюха, чернявый такой, парень непьющий, обстоятельный...

— Знаю, что ж?

— Да вот и говорю я, очень он по Глашке этой самой убивается, сколько разов ко мне на поклон приходил.

— К тебе, зачем?

— Приворожи, говорит, бабушка, век твоим холопом буду, совсем я по ней измаялся, да и по лицу видно, исхудал, глаза горят, как уголья; я ему, грешным делом, давала снадобья, да не помогают, вишь, потому все туча тучей ходит.

— Да разве есть такие приворотные зелья? — со смехом спросила Минкина.

— Коли правду сказывать, благодетельница, — своим беззубым ртом в свою очередь усмехнулась Агафониха, — настоящих нет, только людей морочим, а бывает удается, так

случается. Конечно, есть одно снадобье, если его в питье положить да дать испить девице или бабе...

Агафониha наклонилась к уху Минкиной и что-то зашептала.

— Только в здорoвьи большой изъян от него делается, — продолжала она вслух, — трех дней после того человек не выживает, потому и дать его — грех на душу большой взять надо, все равно, что убивство... Баба-то делается совсем шалая, в умопомрачении, видела я однорядь ещё в своей деревне, одна тоже девка на другой день после этого снадобья Богу душу отдала... Говорю, что все равно, что убивство, грех, большой грех.

У Настасьи Федоровны блеснула мысль.

— Ты о грехе не толкуй, старая, — с усмешкой заметила она, — не первый он, чай, на твоей душе и не последний, так один не в счет... У тебя снадобье-то есть?

— А вам зачем, благодетельница? — вздрогнула старуха и устала на лежащую Минкину свои слезящиеся глаза.

— Надобно, значит, коли спрашиваю, — с сердцем крикнула Настасья Федоровна и да-

же привскочила на постели.

Старуха присмирела и потупилась.

— Есть, спрашиваю?

— Есть, благодетельница, есть!

— Угости-ка завтра по вечеру Глашку в людской чайком с этим снадобьем, да и Павлушку настрой.

— Благодетельница, да ведь у ней под сердцем ребеночек, — почти взмолилась старуха.

— Молчать, исполняй, как приказывают, а то, знаешь меня, со света сживу! — вся красная от прилива злобы воскликнула Минкина.

Агафониха молчала, низко опустив голову.

Настасья Федоровна несколько успокоилась и через минуту начала другим тоном.

— Не ожидала я от тебя этого, Агафониха, чтобы ты мне так супротивничала, или ты недовольна мной, или мало награждала я тебя за службу твою верную, не поскуплюсь я, коли исполнишь, что приказываю, вот и задаточек.

Минкина вынула из ящичка, стоявшего у постели шкафчика, крупную ассигнацию и протянула её сидевшей с поникшею головою старухе.

Последняя подняла голову. При виде денег глаза её засверкали алчностью, она вздрогнула, выпрямилась и быстро схватила её своей костлявой рукою.

— Будет исполнено, благодетельница!

— Так-то лучше, — с усмешкой заметила Настасья, — а то, что задумала, со мною ссориться, не советую.

Последние слова она снова сказала угрожающим тоном. Далеко за полночь перешептывались две сообщницы о подробностях гнусного их плана.

II

Измена Глаши

Тихо наступил и прошел следующий день. Был уже поздний вечер. Настасья Федорова в своем флигеле угощала Егора Егоровича, позванного для обсуждения хозяйственных дел. Вся прислуга по обыкновению была отпущена.

Хозяйка была тиха, приветлива и ласкова. Воскресенский уже подумывал воспользоваться её настроением и начать разговор на

тему, к которой он так долго и так мучительно готовился.

Вдруг в соседней комнате послышался старческий кашель.

Глаза Минкиной засверкали злобною радостью.

— Агафониху принесло не вовремя! — заметила она деланно равнодушным тоном и, встав из-за стола, подошла к окну.

— Вечер-то какой распречудесный, не пройтись ли нам по селу, Егорушка? — ласково сказала она.

Октябрьский вечер был действительно великолепен; в природе царила какая-то особенная ясность и тишина, полная луна обливала всю землю своим молочным светом.

«Вот и хорошо, без помехи поговорю с ней во время прогулки!» — пронеслось в голове Егора Егоровича.

— Пройдемтесь! — покорно ответил он ей. Старческий кашель за стеной продолжался.

Настасья Федоровна быстро оделась и вышла вместе с Егором Егоровичем.

Проходя мимо людской и тянувшихся за

ней сараев, чтобы выйти на село через боковые ворота, Минкина вдруг остановилась и стала внимательно прислушиваться.

В крайнем из сараев, дверь которого была не на замке и он служил складочным местом для пожитков графской дворни, слышался какой-то странный шепот и стон.

Егор Егорович тоже насторожился, но не успел дать себе ясного отчета, откуда именно слышатся эти странные звуки, как его спутница быстро распахнула дверь сарая. Луна осветила его внутренность и глазам присутствовавших представилась картина нарушенного, несомненно преступного свидания.

Из сарая выскочила Глаша в растерзанном платье, с растрепанными волосами, с горящими каким-то демоническим блеском глазами и растерянно остановилась на пороге.

Вслед за ней показалась и быстро скользнула по освещенной, луною стене сарая испуганная фигура, мгновенно скрывшаяся за постройками.

— И с кем это она, непутевая, тут якшается? — невинным тоном воскликнула Настасья Федоровна.

— Егорушка! — бросилась на шею к Воскресенскому, видимо, обезумевшая девушка.

— Прочь, гадина! — с силой оттолкнул он её от себя.

Несчастливая Глаша, как пласт, упала на землю, ударившись головой о стену сарая.

На происшедший на дворе шум сбежалась дворня, молодую девушку подняли и унесли в людскую.

Совершенно ошеломленного неожиданным зрелищем Егора Егоровича Минкина увела в свой флигель.

Он как-то машинально вошел в комнату, разделся и сел к столу.

— Чего это ты так расстроился из-за непутевой этой, тебе-то что? — тоном соболезнования и недоумения спросила Настасья Федоровна.

Он тупо посмотрел на неё блуждающим, почти безумным взглядом, но молчал.

— Выпей-ка лучше, это помогает! — продолжала Минкина, наливая в стакан Егора Егоровича рому, который имела обыкновение пить с чаем.

Воскресенский быстро схватил стакан и

опорожнил его.

За одним последовал другой, и в этот вечер Егор Егорович первый раз в своей жизни мертвецки напился.

Предсказание Агафонихи сбылось. Над несчастной Глашей было действительно совершено «все равно, что убийство».

В ночь у ней сделался страшный жар и бред, она металась и билась в таких судорогах, что её принуждены были связать, а на утро отправить в больницу.

Через четыре дня она умерла.

Егор Егорович пил почти без просыпу, поощряемый Настасьей Федоровной, охотно разделявшей ему компанию.

«И ещё уведомляю вас, батюшка, ваше сиятельство, Алексей Андреевич, что на днях заболела моя дворовая девка Глафира и, отправленная в больницу, вскорости умерла, а от какой причины — неизвестно»,

— писала между прочим Минкина в Петербург графу Алексею Андреевичу, требовавшему от неё еженедельных отчетов обо всем происходящем в Грузине.

III

Обнаруженная тайна

Прошло около месяца.

Егор Егорович Воскресенский сидел у себя в комнате и занимался сведением каких-то счетов. Работа, видимо, ему не удавалась, так как от ежедневного пьянства голова была тяжела, как чугун, и отекавшие руки не с прежней быстротой перекидывали косточки на лежавших перед ним конторских счетах.

Да он был к тому же изрядно пьян, так как зимний короткий день уже давно склонился к вечеру.

Нагорелая сальная свеча освещала его опухшее лицо и какие-то посоловелые, остановившиеся безжизненные глаза, устремленные в раскрытую испещренную рядом цифр страницу большой книги, лежавшей рядом со счетами на столе, под которым был привинчен железный сундук.

Вдруг дверь комнаты тихо отворилась и в неё робко вошел конюх Павел.

Егор Егорович не заметил вошедшего.

Тот несколько времени нерешительно потоптался у порога и откашлянулся.

— Тебе что? — оглянулся на вошедшего помощник управляющего.

— К вашей милости, Егор Егорович, выслушайте меня, окаянного... — сделал вошедший несколько шагов и вдруг неожиданно опустился на колени...

Егор Егорович вскочил.

— Чего ты, что с тобой? — бросился он поднимать Павла.

— Не замайте, так мне сподручнее, только выслушайте, Христа ради!

— Говори!.. — остановился перед ним ничего не понимавший в этой сцене Егор Егорович.

— Глашина-то смерть, ведь, мой грех... да проклятой Агафонихи... — почти простонал Павел. — Третью неделю и во сне, и наяву мерещится она, Глаша-то, с ребеночком... покоя не дает, туда зовет... на муку мученическую... руки я на себя решил наложить, да вот перед смертью вам открыться, казните вы её, покойной, ворогов, ведьму Агафониху да Настасью, отродье цыганское, треклятое...

Павел проговорил все это серьезно и вдумчиво.

— Как же это так, расскажи толком, — растерянно пробормотал Воскресенский.

Молодой конюх начал свой рассказ. Подробно рассказал он о своей любви к Глаше, от невнимания последней обратившейся в неудержимую страсть, о приворотных кореньях, которые он получил от Панкратьевны и носил на кресте в ладонке...

— Ничего не действовало, — с грустью заключил он, — а тут раз, с месяц тому назад, подозвала меня к себе Агафониха, да и говорит: «Помочь я тебе, парень, всерьез задумала, не помогают, видно, коренья-то приворотные в сухом виде, я твою зазнобушку попою сегодня вечером, сама к тебе на шею бросится... А ты, парень, возле людской посторожи вечером». Обрадовался я, окаянный, сердце затрепетало во мне, насилу дождался вечера... Похаживаю около людской с час, смотрю, выходит Глаша да такая из себя сменившаяся, глаза, как угли, горят, кругом никого, я её в охапку сгреб, не соврала старая карга, не по-прежнему, не противится... Я её в сарай и по-

ташил... Остальное сами знаете... А как умерла она, домекнулся я, окаянный, что опоила её Агафониха и отдалась она мне сама не своя, заглодала с тех пор тоска меня змеей лютою!.. Да и покойница мне все, как живая, мерещится... вон она и здесь стоит и глядит на меня строго-настрога...

Павел, весь бледный, вскочил с колен, несколько мгновений стоял, устремив свой взгляд в темный угол комнаты и вдруг стремительно бросился вон.

Старая Агафониха, случайно увидавшая его вошедшим в дом с заднего крыльца, последовавшая за ним и подслушивавшая у двери, едва успела отскочить в сторону.

Гонимый паническим страхом, конюх не заметил её.

Егор Егорович остался стоять, как вкопанный, среди комнаты. Неожиданность открытия страшной тайны смерти горячо любимой им девушки, в связи с полной невиновностью её перед ним, положительно ошеломила его.

Весь утар разом выскочил из его головы.

В искренности и правдивости этого человека, так бесповоротно, что было видно по то-

ну его голоса, решившегося покончить свои расчеты с жизнью, сомневаться было нельзя, да и рассказ его всецело подтверждался мельчайшими обстоятельствами происшедшего, а главное характером и способностью решиться на такое гнусное дело обвиняемых им Агафонихи и Настасьи.

Припомнил Воскресенский и те злобные взгляды последней, которые она бросала на покойную Глашу, взгляды, уже давно подмеченные им, по которым он ещё тогда догадался, что от Минкиной не скрылись его отношения к покойной.

— Погоди же ты, подлая убийца, отомщу я тебе за мою голубку неповинную, отольются тебе её слезы и кровь сторицею. По твоей же науке все сделаю, подольщусь к тебе, притворюсь ласковым да любящим и задушу тебя, чародейку подлую, задушу в грехе, не дам и покаяться... — с угрожающим жестом проговорил он вслух.

За дверью послышался какой-то шорох и как бы шум быстро удалявшихся шагов.

Воскресенский бросился к двери и распахнул её. В следующей комнате не было никого.

— И мне, кажись, стало мерещиться! — про себя проговорил Егор Егорович и вернулся к себе.

Взгляд его упал на почти полную бутылку рому, стоявшую на столике около его постели. Он налил себе полный стакан, выпил его и грузно сел на свою постель.

Ром произвел свое действие на разбитый пережитыми волнениями организм. В голове его помутилось.

Он, тем не менее, налил и выпил ещё стакан.

Голова его бессильно опустилась на грудь. Глаза устремились в какую-то одну видимую только им точку.

Он думал горькую думу.

Через несколько минут весь разговор конюха Павла с Егором Егоровичем и угрозы последнего были уже почти слово в слово известны Настасье Федоровне Минкиной.

Воскресенскому далеко не померещилось: за дверь его комнаты и после стремительно-го ухода конюха осталась подслушивать Агафониха.

Минкина, услышав рассказ своей взволно-

ванной и испуганной наперсницы, и сама первые минуты не на шутку перетрусилась.

— Убьет, шалый да пьяный, убьет меня, как пить дать! — застонала она, страшно боявшаяся смерти. — Вернись, родимая, вернись, милая Агафониха, последи за ним, охальником, что он там у себя делает...

— И-и смертушка моя приходит, — заняла в свою очередь старуха, — боюсь я его, окаянного, глазищи у него огнем горят, как у дьявола, заприметит он меня, неровен час, живую не выпустит.

— А ты потихоничку, на цыпочках...

— Уж только для тебя, королевна моя прекрасная, попытаюсь, головы своей грешной не жалеючи...

Старуха тихо, неслышными шагами, вышла из комнаты.

IV

Расправа

Настасья Федоровна осталась одна и, как подстреленный зверь, забегала по комнате.

— Убьет, окаянный, убьет, злобный он такой стал, огоньки так в глазах и бегают... Извести его надо скорей, а как? Агафонику не подошлешь, и её пристукнет, и сюда ко мне придет... из людей никто за меня и не заступится, знаю я их, холопов подлых, все, все до единого зубы на меня точат, самой надо, да как? Я с ним, кажись, минуты вдвоем не останусь...

Минкина даже вздрогнула, продолжая быстро ходить по комнатам, боязливо прислушиваясь ко всякому малейшему шороху.

Прошло около часу.

Дверь неслышно отворилась, и перед все ещё продолжавшей свои бесплодные размышления грузинской домоправительницей, как из земли, выросла Агафониха.

— Ну, что? — с тревогой спросила Настасья

Федоровна.

— Дрыхнет пьяный поперек кровати, и свеча горит вся заплывши... при мне рома из этой бутылки страсть выдул, да так и свалился, ошеломило видно.

— Спит, говоришь, крепко?

— Страсть, как дрыхнет, сопит...

Минкина снова несколько раз прошлась по комнате.

— Иди себе, завтра поговорим! Благодарствуй! — обратилась она к Агафонихе. — Да скажи, что девки могут идти в людскую.

Та низко поклонилась и вышла.

Настасья Федоровна провела несколько раз рукою по лбу и медленно прошла к себе в спальню. Там она открыла ларец вычурной работы и что-то стала торопливо искать в нем.

Через несколько секунд в её руках очутилась бритва. Это была бритва Егора Егоровича, случайно забытая им с месяц тому назад во флигеле Минкиной, когда он, по её просьбе, обрезал сухие листья и ветви растений, наполнявших комнаты грузинской домохозяйки.

Она открыла её, попробовала острие — бритва оказалась остро отточенной.

Настасья Федоровна взглянула в окно: на дворе было совершенно темно.

Она осторожно вышла из спальни, прошла в переднюю комнату и, как была в одном платье, вышла на двор и пошла по направлению к дому, обогнула его и направилась к заднему крыльцу. Мелкий, недавно выпавший снег хрустел у неё под ногами и знобил ноги, одетые в легкие туфли, резкий ветер дул ей в лицо, но она не чувствовала холода. Твердою поступью вошла она на заднее крыльцо, открыла не запертую дверь и вошла в заднюю переднюю, через две комнаты от которой находилась комната помощника управляющего.

Чуть касаясь пола, как кошка, добралась она до двери этой комнаты и приложила свой глаз к замочной скважине. Представившаяся ей картина вполне подтвердила доклад Агафонихи. Еле мерцающая, сильно нагоревшая свеча полуосвещала комнату и спавшего крепким сном поперек кровати Егора Егоровича. Он даже сполз с перины и лежал, закинув голову назад. Богатырский храп гулко

раздавался среди окружающей тишины.

На столе, у кровати, стояла опорожненная бутылка.

Минкина несколько минут простояла в нерешительности, затем осторожно скинула туфли и в одних чулках, полуотворив дверь, как змея, проскользнула в комнату.

Как будто по воздуху, еле скользя по полу, она через мгновение уже очутилась возле лежавшего Воскресенского. Он безмятежно и крепко спал сном пьяного человека.

Быстро вынула она бритву, раскрыла её и что есть силы полоснула его по горлу. Он сделал конвульсивное движение, глухо простонал и замолк.

Кровь фонтаном брызнула из горла, но Настасья Федоровна, как серна, отскочила в сторону, и ни одна капля её не попала на неё. Выпущенная ею из рук бритва со звоном упала на пол.

Она несколько раз боязливо оглянулась.

Кругом все было тихо.

На постели лежал бездыханный труп, весь залитый кровью.

Минкина вздохнула полной грудью, как

бы сбросив со своих плеч непомерную тяжесть.

Затем она, осторожно приподняв платье, подняла бритву и бросила её около постели под свесившейся правой рукой трупа.

Взгляд её упал на стол, где возле раскрытой конторской книги лежала связка ключей. Она подскочила к столу, взяла ключи и одним из них — она, видимо, хорошо знала которым — отперла стоявший под столом сундук.

При звоне замка она снова вздрогнула и инстинктивно обернулась к постели; труп лежал недвижимо. Она сунула руку в сундук, вынула объемистую пачку ассигнаций, бережно уложила её в карман, снова заперла сундук и положила ключи на прежнее место.

Догоревшая свеча начала трещать и гаснуть. Настасья Федоровна быстро выскользнула из комнаты, надела туфли и через несколько минут была уже в своей спальне.

На другой день ей доложили о двух самоубийствах.

Помощник управляющего Егор Егорович Воскресенский найден зарезавшимся в своей

комнате, а в том самом сарае, где месяц тому назад она накрыла на любовном свидании свою горничную, покойную Глашу, усмотрен повесившимся на вожжах конюх Павел.

Обо всем этом аккуратная домоправительница в тот же вечер отписала в Петербург его графскому сиятельству, благодетелю и другу Алексею Андреевичу.

«При осмотре конторского сундука, находившегося в комнате зарезавшегося слуги вашего сиятельства Егора Воскресенского, денег, каковые должны были быть по книгам, более тысяч рублей, не найдено».

В следующем за этим рапортом вторичном письме Настасья Федоровна, касаясь этого вопроса, не без гордости писала:

«Недаром я, батюшка, ваше сиятельство, вас против него упреждала, чуяло мое вещун-сердце, что хотя тихоня он был, царство ему небесное, а вор».

В пещере масонов

Наступил, наконец, день, назначенный для принятия Николая Павловича Зарудина в масоны.

Это было в половине октября месяца.

Андрей Павлович Кудрин привез его в шесть часов вечера в ложу вольных каменщиков и, введя в небольшую комнату, оставил одного.

Там Зарудин дожидался более часа, пока окончился обряд принятия другого профана.

Наконец, в комнату вошел человек, одетый просто во фрак. Он завязал ему глаза и повел через большой ряд комнат, но вдруг остановился. Зарудин услышал гром запоров, заскрипели двери, и они переступили через порог.

Провожатый посадил его на стул и сказал:

— Когда я уйду — скиньте повязку и углубитесь в книгу, которая развернута перед вами.

Скрип двери и гром запоров возвестил его

об удалении провожатого.

Николай Павлович снял повязку.

Черные стены мраморной пещеры окружали его; при слабом свете лампы, висевшей над ним, глаза его встретили мертвую голову и близ неё развернутую библию на бархатной голубой подушке, обшитой золотым галуном. Вверху темное мерцание изображало также мертвую голову с двумя внизу накрест костями и надписью: «*Memento mori*».

Зарудин взял библию и стал читать её про себя.

Через несколько минут двери снова отворились и явился человек с обнаженным мечом; на шее его висела широкая голубая лента с золотым треугольником, такой же треугольник, но только гораздо менее, на алой ленте, с серебряными каймами, украшал левую сторону его груди.

Он важно спросил Зарудина по-французски:

— Какое намерение ваше, вступая в со-
братство вольных каменщиков?

Тот, заранее подготовленный к ответам, отвечал:

— Открыть вернейший путь к познанию истины.

— Что такое истина?

— Свойство той первоначальной причины, которая сообщает движение всей вселенной.

— По силе и возможности дастся вам понятие о тех путях; но теперь следует вам знать, что послушание, терпение и скрытность суть главнейшие предметы, которые требует от вас в начале общество, в которое вы вступить намерены. Чувствуете ли вы себя способными облечься сими первоначальными добродетелями?

— Я употреблю к тому все свои силы, но знайте также, что меня привлекает не любопытство к наружным обрядам общества; я хочу увериться в том, чего жаждет, но не постигает душа моя; хочу иметь средства утвердиться в добродетели и усовершенствоваться теми, которыми обладаю, хочу знать, бессмертна ли душа моя?

— Можно ли сомневаться в том? Ничто не исчезает в мире.

— Но будучи часть предвечной души мира сего, каким образом душа человеческая,

оскверненная пороками, соединится с чистейшим источником своим? — спросил Зарудин.

— Ищите и найдете, толкните и отверзется, — отвечал ему вошедший, — но начните повиновением.

Затем, позвав брата-прислужника, он приказал ему снять с Николая Павловича мундир, жилет и сапог с левой ноги, перевязать ногу крепко платком выше колена, завязать глаза и, спустив с левого плеча рубашку, обнажить грудь. Вывел его, приставя обнаженный меч к груди, из мрачного убежища.

VI

Посвящение

Долго он с Зарудиным делал различные обороты по комнатам, не переменяя позы и, наконец, остановясь, сказал:

— Ударьте три раза кольцом.

Он положил на это кольцо руку Николая Павловича.

Последний исполнил.

Через минуту за дверями послышался голос.

— Кто нарушает спокойствие беседы братской?

Путеводитель Зарудина отвечал:

— Профан, он желает вступить в члены священного братства.

— Не тщетное ли любопытство влечет его к тому?

— Нет, он жаждет озариться светом истины.

— Какое имя его? Звание, лета, месторождение?

Со стороны путеводителя последовали над-

лежащие ответы. По окончании этого вопроса двери отворились, и Зарудин переступил порог, все ещё имея на глазах крепкую повязку. Важный, тихий голос спросил его:

— Настоятельно ли желаешь ты, профан, вступить в священное сословие братства?

— Да! — отвечал Николай Павлович.

— Имеешь ли довольно твердости, чтобы перенести испытания, тебе предлагаемые?

— Да.

— Брат-учредитель порядка, начни испытания, соверши с ним путь продолжительный и трудный, — воззвал тот же голос.

Тогда брат-учредитель порядка, приставя меч к груди Зарудина и взяв другою его за руку, начал исполнять повеление.

Он начал с Николаем Павловичем путь с востока на запад и тихо малыми шагами продолжал водить его, и говорил громко и внятно о жизни и смерти; потом остановился, потрепал его по плечу и воскликнул:

— Venerable! Профан сделал первое испытание, твердость его подает надежду к перенесению дальнейших испытаний.

Эта речь была повторена двумя голосами,

и голос повелевающего сказал:

— Начни второй путь.

Когда и он был окончен, так как и третий, когда брат-наблюдатель порядка поставил Зарудина на место, потрепал по плечу и отдал отчет; когда тоже повторили два голоса, то голос тихий, сострадательный произнес:

— Возлюбленные братья! Профан окончил с похвалою испытания свои, он достоин вступить в общество наше, позвольте ли ему приобщиться к лику вашему?

Глухое рукоплескание братьев изъявило согласие; Зарудину велено было приблизиться, его повели прямо, направляя его ноги, чтобы он ступал на известные места; взвели на ступени, поставили коленом на подушку и положили руку на Библию и меч.

Кто-то положил на неё свою руку и повелел клясться в сохранении тайны, потом задом отвели его на прежнее место.

Тогда кто-то возле него сказал:

— Выстави язык! — и приложил к нему какое-то железо.

В то же самое время послышался голос:

— Да спадет повязка с глаз его, да удостоит-

ся видеть свет лучезарный!

Она упала.

VII

Без повязки

Огонь вспыхнул перед глазами Николая Павловича и исчез, и он увидел перед собою в освещенной круглой зале около сорока человек, сблизившихся в полукружии к нему с устремленными прямо против него мечами.

За ними в возвышении, на престоле под зеленым балдахином, усеянном звездами, стоял великий магистр. По его мановению сонм братьев занял свои места. Все они были покрыты шляпами и имели лайковые передники; но одни просто белые, другие обшитые розовыми и голубыми лентами, по степеням своих достоинств. По степеням же их достоинств были они украшены различными знаками, повешенными на голубых или красных с серебряными каймами лентах, на шее и в петлицах. Великий магистр был в шляпе с такими же знаками, но только кроме треугольника отличался угольником, висящим на го-

лубой ленте.

Перед ним находился стол, покрытый до самого пола. На этом столе возвышались три подсвечника на трех углах стола и лежали на подушках библия, меч, циркуль, треугольник и белый молоток.

Когда все заняли свои места, великий магистр велел подвести Зарудина к своему престолу. Посреди зала лежало изображение храма Соломонова, через которое Николай Павлович проходил с завязанными глазами. Теперь он мог видеть, что ноги его переставляли для того, чтобы ступать на изображения, последовательно на те места, которые ведут постепенно к святилищу.

Вступив на ступени и подойдя к налою или столу, он преклонил колено. Великий магистр взял циркуль, поставил его на обнаженную грудь и ударил молотком три раза.

Зарудин почувствовал боль и увидел, что из-под его груди отнесли чашу, орошенную кровью.

По окончании этой церемонии великий магистр велел ему одеться. Он был выведен в другую комнату, оделся там и снова вернулся

В ложу.

Венерабль велел представить его и другого посвященного с ним брата к престолу, и когда они подошли, он начал речь:

— Любезные братья! Все, что вы ощутили и видели есть иероглифы таинственной сущности: повязка на очах, темная храмина, умственные углубления, ударение кольцом, пути с востока на запад, шествие по изображению храма Соломонова — все это есть не что иное, как разительные черты того, что может возбудить в душе вашей мысли о ничтожности мира, возбудить желание к отысканию истины: ищите и обряцете; толкните и отверзится. Мы уверены, что довольно было бы единого слова вашего к сохранению тайны, но мы ведаем также и слабость сердца человеческого и потому, над священною книгою религии, наполняющею сердца всех нас, приемлем, для обеспечения себя, клятвы ваши, связующие вас посредством сей священной книги с нами: для того требуем мы клятвы к хранению тайны, дабы профаны, не понимающие цели братства, не могли издеваться над оною и употреблять во зло. Свобода и

равенство царствуют между нами; под именем вольных каменщиков мы будем стараться вкупе о восстановлении здания, основанного на краеугольных камнях, изображенных в сей священной книге.

Он правой рукою указал на библию.

— Для того-то, любезные братья, облакаем вас, подобно каменщикам, запоном[11] и вручаем кирку.

Он подал им лайковый передник и маленькую серебряную кирку.

— Примите также сию безделку, знак братского союза нашего, и носите на груди вашей всякий раз, когда посетите общество.

Он подал им по алой ленте с серебряною каймою, прорезной золотой треугольник, на сторонах которого было изображено: «Les amis réunis», а в середине две соединенные руки.

— Примите сии перчатки в знак сохранения чистоты ваших деяний! — продолжал великий магистр. — Примите женские для подруги жизни вашей! Прекрасный пол не входит в состав нашего общества, но мы не нарушаем устава Творца и природы. Добрая жена

есть утешение в ужасных испытаниях мира сего; но да будут они чисты и невинны в деяниях своих.

И та, и другая пара данных великим магистром перчаток были из батиста.

— Примите, наконец, сей меч, которым должны отсекать страсти ваши, и ведайте, что общество соединенных братьев, в которое теперь вступили вы, есть ничто само по себе, если не устремите воли своей к отысканию истины; послужите преддверием в пути, который жаждет открыть пробужденная совесть падшей души.

По окончании этих слов великий магистр велел учредителю порядка облечь в знаки вольных каменщиков и поучать предварительным иероглифам.

Так как братья имеют различные степени и Зарудин и другой новичок облечены были ещё первою — *Les Apprentis* (ученики), то знак их есть прикосновение правой руки к шее, а затем перенос руки на правое плечо и, наконец, опущение вдоль по бедру. Знак для познания брата есть пожатие руки таким образом, чтобы большой палец одного подавил

руку другого вдруг два раза с малою остановкою, а в третий гораздо сильнее. Слово для узнания масона есть Saquin, и говорится так после пожатия руки: «скажи мне первое слово — я тебе скажу второе»; другой произносит «s», первый: «a»; другой «q» и так далее. Слово священное tuboleain. Все эти слова и иероглифы имеют свое значение, но не открываются первой степени.

Когда новопосвященных научили этим знакам, то навязали запоны, повесили на пуговицу кирку, а в петлицу треугольник, дали в руки обнаженные мечи, велели надеть шляпы подобно всем братьям и указали место, где должно сесть.

Обряд принятия в масоны окончился.

VIII

Перемирие

С томительным однообразием миновал для Натальи Федоровны Аракчеевой зимний сезон, наступил май месяц 1807 года.

Граф Алексей Андреевич предложил своей жене отправиться на лето в Грузино, куда сам рассчитывал наезжать лишь изредка, занятый множеством государственных дел, осложненных все ещё продолжавшейся войной с Наполеоном на прусской территории.

Графиня безропотно согласилась, ей было все равно, где влачить свою одинокую жизнь, её даже радовала поездка, так как общество «бедного Миши», к которому она успела привязаться своим любящим, но волею рока замкнутым для всякой иной любви сердцем.

Просьбу её относительно этого ребенка граф исполнил; он приобрел для него дворянство, что при тех известных исключительных обстоятельствах, при каких произошло рождение мальчика, представляло большие затруднения. Но граф достиг того, чего желала

его жена, а главное, чего желал он сам, окончательно простивший Минкину за обман и привязавшийся не на шутку к ребенку. В Литве и Польше в то время существовала самая широкая фабрикация фальшивых дворянских бумаг. В городке Слуцке, Минской губернии, находился адвокат Томшевский, который за сорок или пятьдесят рублей давал какие угодно документы на дворянство. Аракчеев послал в такую обетованную землю генерала Бухмейера, который и привез оттуда бумаги дворянина Михаила Шумского.

Столкновений с Настасьей графиня не опасалась; она слишком хорошо поняла её и знала, что эта женщина, в силу своего врожденного ума и такта, будет, как и в прошлое лето, искусно избегать её.

Да и, кроме того, Наталья Федоровна за последнее время как-то совершенно окаменела — для неё все казалось безразлично. С некоторой душевной тревогой следила она за известиями с театра военных действий, и эта тревога увеличилась, когда вскоре после битвы при Прейсиш-Эйлау получено было известие о выступлении гвардии, в рядах которой

служил Зарудин, в Юрбург под начальством великого князя Константина Павловича, а затем и сам государь поехал в лагерь.

Тяжелое известие о неудачной для нас битве при Фридланде, происшедшей 27 июня, получено было графинею в Петербурге, когда она уже возвратилась из Грузина, где почти не расставалась со своим любимцем Мишей. Грузинская жизнь текла ровно и тихо. В Минкиной Наталья Федоровна не ошиблась, её как бы не существовало в Грузине в присутствии её сиятельства.

Графине нравились тишина и однообразие деревенской жизни, она жила какою-то чисто растительною жизнью, без дум, без надежд, без опасений за будущее.

В Петербург графиня переехала внезапно, по случаю болезни своей матери, оказавшейся, впрочем, непродолжительной и неопасной; проведя в столице более двух недель, графиня уже решила ехать обратно в Грузино, но судьба решила иначе.

Графиня никогда более не была в Грузине. Но не будем спешить, все расскажется в своем месте.

Петербург с отъездом государя опустел, в нем царила какая-то тягостная тишина.

Главнокомандующий армией Бенингсен донес императору о поражении нашей армии под Фридландом на другой день после битвы; в конце донесения он намекал на необходимость перемирия, с целью выиграть время и вознаградить наши потери.

Александр Павлович согласился на переговоры о перемирии с тяжелым чувством.

Вверив вам армию прекрасную,

— писал он Бенингсену, —

явившую столь много опытов храбрости, весьма удивлен я был ожидать известий, какие вы мне сообщили. Если у вас, кроме перемирия, нет другого средства выйти из затруднительного положения, то разрешаю вас на сие, но с условием, чтобы вы договаривались от имени вашего. Отправляю к вам князя Лобанова-Ростовского, находя его во всех отношениях способным для сих скользких переговоров... Вы можете посудить, сколь тяжело мне решиться на такой поступок.

В день подписания перемирия 10 (22) июня Наполеон пригласил князя Лобанова к себе на обед.

В продолжении стола,

— доносил он императору, —

Наполеон спросил шампанского вина и, налив себе и мне, ударились вместе рюмками и выпили за здоровье вашего императорского величества. По окончании стола, почти до 9 часов вечера, оставался я с Наполеоном один. Он был весел и говорил до бесконечности, повторял мне не один раз, что он всегда был предан и чтит ваше императорское величество, что взаимная польза обеих держав всегда требовала союза и что ему собственно никаких видов на Россию иметь нельзя было. Он заключил тем, что истинная и натуральная граница российская должна быть река Висла.

После ратификации перемирия, Наполеон через Дюрока поздравил государя императора Александра Павловича с прекращением военных действий и предложил ему свидание.

IX

Тильзитское свидание

Знаменитое Тильзитское свидание произошло 13 июня.

На середине Немана, то есть на самой демаркационной линии Наполеон приказал соорудить два павильона на плотках: один большой и красивый для государей, другой — попроще, для их свиты. На одном фасаде большого павильона было огромное изображение буквы N, на противоположном такое же A, у берегов стояли большие барки с гребцами.

Тильзит был в это время переполнен войсками, толпами жителей и любопытных, желавших видеть торжество свидания.

По сторонам главной улицы от её сгиба до берега была выстроена старая гвардия, а с другой стороны в виде конвоя стояли полуэскадрон кавалергардов и эскадрон прусской конной гвардии, правым флангом к реке, а левым к полуразрушенной усадьбе, где должен был остановиться император Александр. Около 11 часов утра государь с королем прус-

ским и цесаревичем отправились в коляске по тильзитской дороге к реке. Генералы свиты в полной парадной форме скакали верхом по сторонам коляски.

Александр Павлович был в Преображенском мундире, с аксельбантами на правой руке, но без эполет, которых тогда не носили; в белых погонах и коротких ботфортах, на голове высокая трехугольная шляпа с черным султаном на гребне и белым плюмажем по краям. Шпага, шарф вокруг талии и андреевская лента через плечо. Государь и все другие остановились в уцелевшей комнате усадьбы и в продолжение получаса сидели молча. «Я не спускал глаз с государя, — говорил адъютант Багратиона Давыдов, — мне казалось, что он прикрывал искусственным спокойствием и даже иногда веселостью духа различные чувства, его обуревавшие и невольно обнаруживавшиеся в ангельском взгляде и на его открытом, высоком челе».

Через полчаса дежурный флигель-адъютант быстро отворил дверь в комнату и произнес:

— Едет, ваше величество!

Александр Павлович встал со стула, взял шляпу и перчатки и медленно вышел из комнаты.

В это время Наполеон, окруженный громадною свитою, скакал между рядами своей старой гвардии, которая приветствовала его оглушающими криками восторга.

Оба государя вступили на барки и отплыли от берега одновременно. Наполеон стоял впереди своих сановников: Мюрата, Бертье, Дюрока и Коленкура, в мундире старой гвардии, с лентой Почетного Легиона через плечо и в известной всему миру шляпе, скрестив руки на груди, как его и тогда уже изображали на картинках. Барки причалили к плоту одновременно, но Наполеон успел раньше взойти на паром и сделать несколько шагов навстречу Александру.

Они подали друг другу руки и рядом вошли в павильон. Беседа их длилась около двух часов. Свиты обоих государей остались на плоту и познакомились, пока не были призваны государями и отрекомендованы.

Наполеон говорил дольше других с Беннингсеном.

— Вы были злы под Эйлау, — сказал он ему между прочим и заключил разговор словами: — Я всегда любовался вашими дарованиями, ещё более вашу осторожностью.

Свидание кончилось тем, что Александр проводил Наполеона до барки и тем как бы отплатил ему по этикету за его вежливость при встрече.

Статьи мирного договора, выработанные князьями Куракиным и Лобановым-Ростовским вместе с Талейраном под руководством самих императоров, были подписаны 27 июня.

Мир этот произвел на армию и на общественное мнение России тяжелое впечатление.

Чувствовалось, что им далеко не закончена борьба с этим злодеем, гиеной, грабителем, негодяем революции, как называли в то время Наполеона в русских журнальных статьях и драматических произведениях.

Х

Аракчеев-министр

В декабре 1807 года император Александр Павлович отправил Аракчееву в числе других бумаг проект об учреждении министров и написал ему, что назначает его военным министром.

Деятельность графа Аракчеева как военного министра, хотя не была продолжительна, — он сам отказался от этого звания, — но полезна и плодотворна, как всякая, за которую брался этот замечательный человек.

Будучи министром, он ценил службу тех, к кому не имел личного расположения и считал обязанностью вникать не только в хозяйство и в администрацию армии, но и в строевое её образование.

Казнокрадство и взяточничество, эти две язвы тогдашней русской администрации, против которых всю свою жизнь боролся граф Алексей Андреевич, с особым ожесточением были им преследуемы в бытность его военным министром. Кроме беспощадных ис-

ключений уличенных в этих пороках чиновников и примерных их наказаний, Алексей Андреевич прибегал к оглашению поступков не только отдельных личностей, но даже целых ведомств в печати путем приказов.

Понятно, что такой человек стоял поперек горла большинства русского, как военного, так и гражданского чиновничества, и они потихоньку злобствовали и исподтишка сочиняли целые легенды о его жестокости и разных недостатках.

Из этих клевет сложилось, к сожалению, чуть ли не историческое мнение об этом замечательном государственном деятеле.

Поручив Аракчееву, почти против его воли, военное министерство, государь Александр Павлович не обходился без его всегда правдивых и метких советов и по другим отраслям государственного управления.

Алексей Андреевич, несмотря на совершившийся в его частной жизни недавний переворот, ни мало не изменился в своем усердии к службе — служебный долг был для него выше всего.

ХІ

Последняя капля

Окаменелость и безразличие к настоящему и будущему, появившиеся в характере Натальи Федоровны за полтора года её несчастного супружества, были результатом тех нравственных потрясений и унижений, которые она испытала одно за другим, не подготовленная к ним, не ожидавшая их, а напротив, лелеявшая, как мы видели, иначе мечты, вдруг забрызганные житейской грязью, строившая иные планы, вдруг разбившиеся вдребезги о камень жизни.

Слез не было, да их и понадобилось бы целое море, нервы не расшатались, а, скорее, закалились под неожиданными ударами судьбы, идея терпения, терпения нечеловеческого, запала в ум молодой женщины, и она отдалась вся преследованию этой идеи, не рассчитав своих сил. Как для туго натянутой струны, сделалось достаточно одного слабого удара смычка, чтобы она лопнула.

Так случилось и с графиней Аракчеевой.

К явным изменам графа своей жене, почти на её глазах, даже с подругою её девичества — с чем графиня почти примирилась, присоединились с некоторого времени со стороны Алексея Андреевича сцены ревности и оскорбления её неосновательными подозрениями.

Самолюбивый до крайности, ревниво оберегавший честь своего, им же возвеличенного имени, граф чрезвычайно боялся малейшего повода для светских сплетен, в которых он мог бы явиться в смешном виде обманутого мужа.

Это хорошо знали и этим искусно пользовались обе его фаворитки, преследовавшие каждая в своих исключительных интересах один и тот же план разлучить его с графиней Натальей Федоровной.

Безответность и терпение молодой женщины выводила их из себя; в особенности негодовала Бахметьева.

«Ишь присосалась, не оторвешь ничем, — рассуждала она сама с собою о Наталье Федоровне, — хоть плюй в глаза, она все будет говорить: „Божья роса“. Но погоди... я тебя до-

еду...»

И она действительно «доехала», хотя и не одна, но с совершенно неожиданной для неё помощью Минкиной.

Измученный их полупрозрачными намеками, выражаемыми сомнениями в святости и недоступности его жены, граф действительно вообразил, что надо принять тщательные меры к охранению его чести.

Мысль эта, в связи с предстоящим ему отъездом за границу в свите государя, не давала ему покоя. Он предложил жене уехать в Грузино, но, как мы видели, болезнь матери заставила её вернуться в Петербург.

Граф ещё не уехал за границу, но отъезд государя ожидали со дня на день, а Алексей Андреевич должен был сопровождать его.

На третий день после приезда жены граф действительно уехал. Уезжая, он между прочими домашними распоряжениями, отдал приказание своим людям, чтобы графиня отнюдь не выезжала в некоторые дома, в числе которых был дом Небольсиных, но её даже не предупредили об этом.

Сделано ли это было по забывчивости или

же по совету и наущению его фаворитки Минкиной и Бахметьевой, — неизвестно, но это-то и было последней каплей, переполнившей чашу долготерпения молодой графини.

Через несколько дней она приказала подать себе карету.

— К Небольсиным! — отдала она приказание, уже становясь на подножку экипажа.

— Его сиятельство изволили запретить... — почтительно отвечал лакей.

— Что? — удивленно уставилась на него графиня.

Лакей смутился и молчал.

— Что ты сказал? — повторила она.

— Его сиятельство... приказали... туда не возить... кучер знает и... не поедет... — с видимым усилием отвечал слуга, оказавшийся тактичнее графа и понимавший, в какое неловкое положение он ставит её сиятельство.

Наталья Федоровна побледнела и до крови закусилась свою губу.

— Вот как! — протянула она и несколько минут стояла в тяжелом раздумье, не снимая ноги с подножки.

— На Васильевский! — переменяла она приказание.

Карета покатила.

Графиня Аракчеева более не возвращалась в дом своего мужа. На неё нашло то мужество отчаяния, которое присуще всем слабым и нервным людям, доведенным до крайности.

Твердо высказала она свое бесповоротное решение Дарье Алексеевне. Неприготовленная к подобной выходке дочери, старушка остолбенела.

Дочь в подробности, шаг за шагом, рассказывала ей всю свою жизнь в доме графа.

Что могла сказать ей в утешение её мать? Она только тихо плакала. Наталья Федоровна не проронила ни одной слезинки. Дарья Алексеевна выразила молчаливое согласие на решение своей дочери, она боялась графа, но не хотела этого высказать.

Вся её злоба обрушилась на Бахметьеву.

— Запутается, непутевая, в своих собственных сетях, — ворчала она.

Это оказалось почти пророчеством.

XII

Попытки к примирению

По окончании кампании, граф Аракчеев, возвратившись в Петербург, немедленно поехал к жене и затем недели с две ежедневно ездил туда раза по два в день.

Он горячо убеждал её вернуться к нему, не делать его сказкой города, вспомнить его и свое положение, обещал исправиться.

Было ли это искренно — кто знает?

Графиня долгое время оставалась непреклонна: наконец, однажды после особенно продолжительного убеждения, села с ним в карету, чтобы возвратиться на Литейную. Экипаж двинулся в путь.

Некоторое время супруги ехали молча. Вдруг Наталья Федоровна провела рукой по лбу — она как будто что-то вспомнила.

— Нет, это нечестно, я должна вам все высказать, я освобождаю вас от вашего слова, не гоните ту, другую... Я все равно не могу быть вашей женой... Я буду ею только для света... — заспешила она.

— Это почему?.. — уставился на неё граф.

— Я... я не могу...

— Но почему?

— Я не люблю вас... я только теперь это окончательно поняла... я не люблю вас, как должна любить жена... я люблю...

— Другого!.. — с иронией вставил Алексей Андреевич, в душе которого поднялась целая буря.

Графиня удивленно посмотрела на него. Она хотела сказать совсем не то, но его вопрос заставил её задуматься на мгновение, она вспомнила Зарудина.

— Да... но клянусь вам, что эта любовь давно похоронена в моем сердце и никто, даже он не узнает о ней... Клянусь вам... Мы должны будем жить всю жизнь... Я не могу жить с тайной от вас... от своего мужа...

— Зарудина!.. — прогнусил граф, весь красный от волнения. Наталья Федоровна сидела, низко опустив голову.

— Стой! — крикнул кучеру Алексей Андреевич, отворив дверцу кареты.

Они ехали по Исаакиевскому мосту. Граф вышел.

— Пошел назад! — отдал он приказание.

Карета медленно поворотила и поехала обратно на Васильевский остров.

Так произошел вторичный разрыв между супругами Аракчевыми.

Весть о нем быстро облетела столицу и достигла до Екатерины Петровны Бахметьевой.

Ей сообщил её Сергей Дмитриевич Талицкий.

— Наконец-то! — с радостью воскликнула она.

Титул и положение графини Аракчевой туманили её ум, на их блеск она летела, как ночная бабочка на огонь, не сознавая, что летит на свою же собственную гибель.

— Не оставьте и впредь вашими милостями, ваше сиятельство! — с комическим почтением проговорил Сергей Дмитриевич, привлекая к себе свою кузину и крепко целуя её в губы.

— Я подумаю... и буду иметь вас ввиду... — с такой же комической важностью ответила та.

Оба неудержимо расхохотались.

Им обоим следовало бы напомнить фран-

цузскую поговорку: «Посмеется хорошо тот, кто посмеется последний».

Этот «последний смех» судьба, увы, готовила не им.

Осложнившиеся вскоре политические события принудили их отложить осуществление их гнусного плана в долгий ящик.

Даже в черной душе подлого руководителя, пожалуй, более несчастной, нежели испорченной девушки, проснулось то чувство, которое таится в душе каждого русского, от негодя до подвижника, чувство любви к отечеству — он снова вступил в ряды русской армии и уехал из Петербурга, не забыв, впрочем, дать своей ученице и сообщнице надлежащие наставления и создав план дальнейших действий.

ХIII

После войны

Прошло семь лет, полных великими историческими событиями, теми событиями, при одном воспоминании о которых горделиво бьется сердце каждого истинно русского человека, каждого православного верноподданного. Канул в вечность 1812 год, год, по образному выражению славного партизана Дениса Давыдова, «со своим штыком в крови по дуло, со своим ножом в крови по локоть».

Победоносные русские войска вернулись из Парижа, этого ещё недавнего логовища «апокалипсического зверя», как называли в то время в России Наполеона, с знаменами, покрытыми неувядаемою славой, имея во главе венценосного вождя, боготворимого войском и народом.

Этот венценосный вождь — государь Александр Павлович, уже при жизни прозванный «Благословенным», сразу поставил Россию на первенствующее место среди европейских держав, даровав последним, по выражению

бессмертного поэта: «вольность, честь и мир».

Восторженный прием, оказанный ему французами при его вступлении в Париж, наглядно доказал, что эти последние сами вздохнули свободнее, когда их «железный вождь», увлекший их, подобно стихийной силе, заманчивой, но не сбыточной перспективой завоевания мира, пал от «роковой улыбки» и мановения руки «русского витязя» — говоря словами другого бессмертного поэта.

Восторженные клики парижан, шедшие прямо от сердца и приветствовавшие «русского царя», принесшего Франции, измученной победами, и остальной Европе, измученной поражениями, миртовую ветвь мира, красноречиво говорили ещё тогда о лежавших в глубине сердец обоих народов взаимных симпатиях, имеющих незыблемую опору в их территориальном положении и в их историческом прошлом.

Проследим вкратце деятельность за эти смутные и славные семь лет главного героя нашего правдивого повествования графа Алексея Андреевича Аракчеева.

По оставлении военного министерства, он

был сделан инспектором всей пехоты и в этом звании состоял во время Отечественной войны при государе. 17 июля 1812 года в Свенцянах государь вновь просил его взять военное ведомство в свое управление, но граф отклонил это, хотя в течение всей войны, как тайная переписка, так все секретные донесения и высочайшие повеления шли через его руки. Есть два не лишние интереса указания, что данные им в то время советы имели большое значение. Первое то, что в самые трудные дни отступления армии от Вильны к Дриссе, Аракчеев, вместе с Шишковым, дал государю совет ехать в Москву, совет слишком смелый, потому что он шел вразрез только что торжественно объявленному в приказе обещанию императора не расставаться с войсками.

— Что скажет отечество? — заметил Алексею Андреевичу обсуждавший эту меру граф Комаровский.

— Что мне отечество? В опасности государь! — отвечал Аракчеев.

В этих словах сказался не льстивый придворный, как старались доказать враги Алек-

сея Андреевича, а истинно русский верноподданный, для которого главной опасностью России было нахождение в опасности её венценосца.

Другое указание встречается в любопытном рассказе французского историка Биньона о кампаниях 1812–1815 годов. Он говорит, что после занятия Москвы французами, Александр I впал в некоторое уныние. Заметив это, Аракчеев осмелился напомнить ему о здоровье, на что император ответил ему:

— Сердце мое обливается кровью, видя опустошение государства от Немана до Москвы и гибель стольких людей, а потому я почти решился предложить мир.

— Какою ценою может приобрести его теперь Россия? — спросил граф.

Государь ответил, что потерю провинций, даже до Двины, можно потом возвратить; но что городов, сел, солдат и верных подданных никто уже не возвратит ему.

Видя, что государь слишком расстроен, Аракчеев ни слова не ответил ему, но решился обратиться к императрице Елизавете Алексеевне и упросил её убедить её венценосного

супруга подождать до зимы. Биньон говорит, будто бы они на коленях умоляли государя не заключать мира, и он согласился.

В какой мере правдив рассказ иностранного историка, решить трудно, хотя он большую часть своих рассказов основывает на дипломатических документах, но для приведенного нами не указал ссылки.

Во всяком случае совет был хорош: уверенность графа Алексея Андреевича, что Русь одолеет врагов, оправдалась, что блистательно доказало триумфальное вступление русских войск в Париж в 1814 году.

Скромный инспектор всей пехоты продолжал оставаться, хотя и главным, но незаметным деятелем. Он упросил государя отменить приказ, уже подписанный им в Париже, о возведении его в сан фельдмаршала. Там же король прусский прислал графу Аракчееву бриллиантовую звезду ордена Черного Орла, но он возвратил её[12].

Он находил, что и так награжден чрезмерно — он был другом «освободителя Европы» и оставался им до конца жизни последнего.

Как ещё можно было наградить его?

Другом и главным советником государя Александра Павловича он и вернулся в Россию, где ему предстояла деятельность, заставившая заволноваться Европу.

XIV

Среди знакомых лиц

Остальные действующие лица нашего рассказа, принимавшие активное участие в войне — Николай Павлович Зарудин, Андрей Павлович Кудрин и Антон Антонович фон Зеeman также благополучно окончили кампанию и, побывав в Париже, вернулись в Петербург с теми же чувствами, с теми же идеями и с теми же идеалами в душе.

Первые двое вернулись полковниками, на долю же последнего выпали капитанские эполеты.

Кудрин и Зеeman несколько раз были легко ранены, Зарудин же, несмотря на то, что выказывал положительно чудеса храбрости, — храбрости отчаяния и как бы искал смерти там, где она кругом него косила ежеминутно десятки жизней, провел всю кампа-

нию не получив царапины, если не считать легкой контузии руки в Бородинской битве, — контузии, продержавшей его в лазарете около трех недель. Он искал, повторяем, опасности и смерти, а они, казалось, настойчиво избегали его.

Желание смерти, вопреки красноречивой проповеди его друга и брата по духу Кудрина, нет-нет да и появлялось в душе ещё не окрепшего в учении масонов неопита Зарудина, всякий раз, когда пленительный образ Натальи Федоровны восставал в душе Николая Павловича, а это происходило почти ежедневно.

С памятного, вероятно, читателям их свидания в церкви Александро-Невской лавры, Николай Павлович не видал графини Аракчевой, ни до, ни после разлуки её с мужем, о которой не мог не знать, так как об этом говорил весь Петербург, объясняя этот великосветский супружеский скандал на разные лады. Их второе свидание состоялось лишь по возвращении из похода.

Перед отъездом в армию Зарудин получил от неизвестного маленький образок в золо-

той ризе, с изображением святых Адриана и Наталии. Не трудно было догадаться, кто благословил его этой святыней, если бы даже голос сердца не подсказал ему имя приславшей.

«Она думает обо мне, значит, она любит меня!» — проносилось в голове Николая Павловича, и эта мысль, увы, лишь порой примиряла его с жизнью.

«Что же что любит, но она потеряна для тебя навсегда, она замужем», — говорил разочаровывавший внутренний голос.

Этому образу Зарудин приписывал то, что он выходил цел и невредим из страшных опасностей.

«Её чистая молитва охраняет меня во всех путях моих!» — восторженно думал он.

Жизнь других частных людей, отошедшая, конечно, на второй план, в эти тяжелые для отечества годы, шла своим обычным чередом: молодое росло, старое старилось. Екатерину Петровну Бахметьеву война лишила друга и руководителя, но, как кажется, она не особенно об этом печалилась — её кузен Талицкий пропал без вести, как гласила официальная справка.

Было семь часов вечера 11 января 1815 года.

В кабинете молодого Зарудина, обстановка которого за это время почти ни в чем не изменилась, если не считать нескольких привезенных из Парижа безделушек, украшавших письменный стол и шифоньерку, да мраморной Венеры, заменившей гипсового Аполлона, разбитого пулей, если помнит читатель, предназначавшейся для самого хозяина этого кабинета, сидели и беседовали, по обыкновению прошлых лет, Николай Павлович Зарудин и его друг Андрей Павлович Кудрин.

Прошедшие года не изменили обоим друзей ни нравственно, ни физически, только две-три морщинки на белом лбу Николая Павловича являлись видимой печатью пережитых им душевных страданий, скрытых им даже от близких ему людей.

Оба офицера с трубками в зубах полулежали в покойных креслах. Зарудин был в персидском архалуке, сюртук Кудрина был расстегнут. Последний с жаром объяснял Николаю Павловичу сущность масонства. Кроме того, что это было любимой темой разговора,

коньком Кудрина, он видел, что друг и брат по духу недостаточно тверд в вере, недостаточно предан великому учению, не всецело отдался этой высочайшей деятельности на земле, как называл Андрей Павлович деятельность масонских лож.

Он находил ещё, что Зарудин, особенно за последнее время, стал невнимателен к его поучениям, рассеян, занят какой-то, видимо, гнетущей его мыслью, хотя догадывался, что эта мысль витала на Васильевском острове, где в то время жила в глубоком уединении покинувшая мужа «соломенная вдова» — графиня Аракчеева.

Этот упрек в рассеянности Зарудина, особенно, если судить по его поведению в описываемый нами вечер, был вполне основателен. Николай Павлович находился, видимо, в волнении, то и дело к чему-то прислушивался и поглядывал на затворенные двери кабинета, ведущие в приемную.

С Андреем Павловичем он поддерживал разговор как бы по обязанности, стараясь навести своего друга на более продолжительный монолог, чтобы под его говор незаметно

думать свою особую думу, которой он боялся поделиться даже со своим братом по духу, любимым им на самом деле истинной братской любовью.

Не клеившуюся беседу друзей, к вящему удовольствию последних, прервал своим приходом в кабинет сына Павел Кириллович Зарудин.

XV

Сенатор

Старик Зарудин за эти почти семь лет тоже ни мало не изменился и даже казался как бы помолодевшим. Это происходило главным образом от изменившегося положения Павла Кирилловича в Петербурге.

Он уже не находился в угнетавшем его бюрократическое самолюбие «не у дел», а уже около года как был назначен сенатором.

«Сенаторство» было заветною мечтою старика Зарудина, считавшего это назначение воздаянием за его заслуги по управлению двумя губерниями, воздаянием, хотя и поздним, но все же приятным завязтому бюрокра-

ту.

С этим назначением он изменился не только нравственно, но и физически; сознание, что он снова занял место некоторой и даже далеко не незначительной спицы в государственной колеснице, вдохнуло в него силу и жизнь — он выпрямился и гордо стал носить свою ещё так недавно опальную голову.

По странной иронии судьбы, назначение сенатором он получил по представительству того же ненавистного ему Аракчеева. Произошло это при следующих обстоятельствах.

Несмотря на видимое для всех враждебное отношение к графу Алексею Андреевичу, Павел Кириллович внутренне признавал, как свои провинности, так и то значение, которое «железный граф» имел в управлении государством. Не признавая из упрямства открыто его заслуг, он втайне хорошо видел и понимал их. Аракчеев был и продолжал оставаться силой — этого не мог отрицать Павел Кириллович. Окружив себя лицами, враждебными всецельному графу, он увидал, что эти лица далее глумления над царским любимцем «за стеною» не идут и от них ему нечего

ждать нужной протекции, а между тем, чувствовать себя выкинутым за борт государственного корабля для честолюбивого Зарудина стало невыносимым, и он решил обратиться к тому же, как он уверял всех, злейшему врагу его — графу Аракчееву.

Надо заметить, что решимость стоила Павлу Кирилловичу не дешево — она стоила ему в десяток начатых и разорванных в клочки писем к всесильному графу. Наконец, одно из писем удовлетворило его.

Вот что написал он:

«Вы удивитесь, вероятно, получив письмо от человека вам неприятного, но это самое должно возбудить в вас чувство самолюбия, видя, что я, доведенный вами до последней крайности, вас же избрал орудием к оказанию мне справедливой защиты, предполагая в вас благородство превыше мести. Я тридцать пять лет в службе, был губернатором в двух губерниях и везде был отличаем начальством и великой княгиней Екатериной Павловной. Никогда не просил, никогда ничего не получал и до сих пор не имею даже в пет-

лице украшения. Ныне по проискам и клевете лишен места, а с тем вместе, дневного пропитания, и подобно страдальцу при овчей купели, взываю: чело- века не имам.

В вас-то надеюсь я обрести такого человека, почему и прибегаю об оказании мне справедливого возмездия за мою усердную и беспорочную службу».

Павел Кириллович отправил письмо.

По словам посланного, граф Алексей Андреевич взял его, прочел, положил на бюро и сказал:

— Кланяйся Павлу Кирилловичу!

Зарудин стал ждать ответа, но ответ не приходил.

Прежняя злоба против графа заклокотала в душе старика, особенно когда он узнал, что Алексей Андреевич выехал за границу, видимо, ничем не разрешив его просьбы.

Павел Кириллович не хотел принять во внимание, что его полное достоинств и самовосхваления письмо могло прямо не понравиться графу и остаться без всяких последствий. Он упрямо продолжал думать, что граф Алексей Андреевич обязан был оценить то

унижение, которое испытывал он, Зарудин, обращаясь с просьбой к нему, Аракчееву.

Время шло. Прошло два года, когда в один прекрасный день «сенаторский курьер» привез Павлу Кирилловичу высочайший приказ о назначении его сенатором. Приказ был подписан и Аракчеевым.

Старик ожил, но не примирился с графом — он поставил ему в счет свое долгое томительное ожидание.

Приход Павла Кирилловича на половину сына вывел, повторяем, обоих друзей из натянутой беседы. Разговор сразу сделался общим. Николай Павлович, впрочем, почти не принимал и в нем участия.

Волнение его, видимо, достигло крайних пределов, что даже не ускользнуло от Павла Кирилловича, не отличавшегося особой наблюдательностью.

— Что ты точно на иголках сидишь? — обратился он к сыну.

— Я, что я, я... ничего! — захваченный врасплох, растерянно ответил Николай Павлович.

— Знаем мы эти «ничего»! Ох, не дело ты

затеял, Николай, вот при твоём друге-приятеле скажу, что не дело... — продолжал старик.

— Я вас не понимаю, батюшка! — упавшим голосом произнес молодой Зарудин.

Иван Павлович Кудрин недоумевающе поглядывал на отца и сына: он, видимо, не был посвящен в то дело, которое, по словам Павла Кирилловича, затеял его сын.

— Не финти, очень хорошо понимаешь, я сам не люблю, ты знаешь, графа Аракчеева, но на одной дорожке с ним столкнуться и сам не желаю, да и тебе бы не советовал.

Николай Павлович сидел молча, опустив голову.

— Может, у вас там с графиней все и по хорошему, по чести и по-божески, да на людской роток не накинешь платок, в городе не весть что про вас болтают, а граф не из таких, чтобы вынести позор своей фамилии...

Молодой Зарудин вспыхнул и гордо поднял голову.

— Подлая, гнусная сплетня, и я, и Наталья Федоровна можем смело смотреть в глаза всем честным людям... при том же, не нынче-завтра, она будет разведена с графом фор-

мально...

— Как формально? — почти в один голос спросили Павел Кириллович и Кудрин.

Николай Павлович только что хотел им ответить, как дверь кабинета отворилась и в комнату почти вбежал гвардейский офицер.

— Антон! Наконец-то ты! — воскликнул молодой Зарудин. Вошедший был действительно наш старый знакомый Антон Антонович фон Зееман.

С первого взгляда, впрочем, было довольно трудно узнать в этом статном, белокуром красавце, с мужественным энергичным лицом, того тщедушного блондина, почти мальчика, каким семь лет тому назад мы знали юнкера фон Зеемана.

Мужчину всегда изменяет до неузнаваемости или война, или любовь.

Ничего нет мудреного, что Антон Антонович изменился, — он испытал первое, а в описываемое нами время испытывал второе.

XVI

Турчанка

Темно-коричневый домик Хомутовых, на 6-й линии Васильевского острова, за истекшие семь лет тоже ни мало не изменился, если не считать немного выцветшую краску на самом доме и на зеленых, в некоторых местах облупившихся ставнях.

Не то было с его обитательницами — молодое росло, старое старилось.

Дарью Алексеевну Хомутову состарило не столько время, сколько пережитое ею горе; не говоря уже о смерти её мужа и оказавшемся несчастным замужестве любимой дочери, Отечественная война унесла её обоих сыновей, с честью павших на поле брани.

Дарья Алексеевна со стойкостью древней спартанки вынесла эти, один почти вслед за другим, обрушившиеся на неё удары судьбы — между смертью её двух сыновей не прошло и двух месяцев, — но все же эти удары не могли пройти бесследно для её здоровья, и вместо доброй пожилой женщины, вместо

прежней «бой-бабы» была теперь дряхлая, расслабленная старушка.

В стенах темно-коричневого домика уже не раздавался властный голос «старой барыни», всецело передавшей бразды несложного хозяйственного правления в руки Натальи Федоровны — «ангела-графинюшки», как называли её прислуга и даже соседи, хотя сама она очень не любила упоминания её титула, а домашним слугам было строго-настрого запрещено именовать её «ваше сиятельство».

По внешности Наталья Федоровна мало изменилась со времени окончательного разрыва со своим знаменитым мужем. Её худенькое, почти прозрачное личико приобрело лишь выражение доселе небывалой серьезной вдумчивости, а манеры и походка печать какой-то деловитости и обдуманности.

За последнее время, впрочем, на этом лице стала порой появляться редкая за истекшие семь лет гостя — улыбка.

Вызывать её на постоянно подернутое дымкой грусти лицо несчастной молодой женщина имела власть лишь одна из обитательниц желто-коричневого домика, вносяв-

шая в него оживление шумной юности и освещавшая пасмурный фон его внутренней жизни лучом своей далеко недюжинной красоты.

Эта волшебница была приемыш и крестная дочь Дарьи Алексеевны и любимица Талочки — Лидочка, прозванная дворовыми людьми дома Хомутовых «турчанкою», что отчасти оправдывалось, как, вероятно, не забыл читатель, историей её рождения.

Мы лишь мельком упомянули о ней в нашем повествовании, так как она до сих пор не играла и не могла играть в нем какой-либо роли по малолетству — в последний раз мы встретили её у постели умирающего Федора Николаевича Хомутова, когда ей шел двенадцатый год.

В описываемое нами время это уже была не та стройненькая, смуглая хорошенькая девочка, какую мы знали её семь лет тому назад, а вполне и роскошно развившаяся девушка с черной как смоль косою, с матовым цветом лица, с ярким румянцем на щеках, покрытых нежным пушком, но с прежними красиво разрезанными глубокими темно-ко-

ричневыми глазами, полузакрытыми длинными ресницами и украшенными дугами соболиных бровей.

Мы намеренно придали глазам Лидочки эпитет «прежние», так как несмотря на её вызывающую красоту, взгляд её глаз сохранил выражение детской чистой наивности, и они, эти глаза, являлись, согласно известному правилу, верным зеркалом её нетронутой соблазнами мира и знанием жизни души.

Развившись физически, она осталась тем же ребенком, каким была семь лет тому назад.

Эти семь лет, преобразив тщедушную девочку в высокую, полную, пышущую здоровьем девушку, не коснулись, к счастью, *tabula rasa* её души, на которой не было ещё написано ни одного слова, не было сделано ни одной черточки.

Этим Лидочка, или, как звали её теперь, Лидия Павловна (по крестному отцу, которым был один из адъютантов генерала Хомутова) обязана всецело Наталье Федоровне Аракчеевой.

Переехав в дом матери, последняя всецело

посвятила себя и все время своей любимице, с любовью стала заниматься с нею и передавать ей всю премудрость, вынесенную ею из уроков и книг m-ле Дюран.

До этого времени с Лидочкой занималась сама Дарья Алексеевна, обучая её знанию русской грамоты, на которой, и то с грехом пополам, оканчивалось и её собственное образование.

Девочка, боготворившая свою «тетю Талю», с охотой просиживала с ней долгие часы за книгой или беседой.

Вместе со знанием Наталья Федоровна старалась передать своей ученице и свои взгляды на жизнь, на людей, на права и обязанности женщины, но при этом не могла не заметить, что пылкая Лидочка подчас горячо протестовала против проповедуемого молодой женщиной «самоотречения», «самопожертвования», почти «нравственного аскетизма», поражая нередко свою воспитательницу возражениями и выводами чисто практическими, хотя они несомненно были лишь результатом склада ума ученицы, ума пытливой и наблюдательной.

С годами эти протесты принимали все более серьезную форму.

Быть может, это происходило от того, что сама проповедница, вспоминая свои неудачи в применении к жизни принципов m-lle Дюран, не могла быть на высоте своего признания, и у ней самой прорывались едва заметные горькие ноты, жалобы на коротко и бесполезно прожитую жизнь. Наталья Федоровна считала себя заживо погребенной.

Ноты эти, конечно, не ускользнули от чуткой девочки.

Ученица усомнилась в искренности своего учителя — пытливый мозг, освобожденный от гнета авторитета, стал работать самостоятельнее.

Годы шли.

Это были томительно однообразные годы. Все в России, от мала до велика, с нервным напряжением прислушивались к известиям с театра войны, казалось, с непобедимым колоссом — Наполеоном. В каждой семье усиленно бились сердца по находившимся на полях сражения кровопролитных браней близким людям. Частные интересы, даже самая

частная жизнь казались не существующими.

Смерть братьев Натальи Федоровны в конце 1812 года, когда Лидочке исполнилось уже шестнадцать лет, разразившаяся двумя, с небольшим промежутком, ударами над домом Хомутовых, как-то особенно сблизила трех одиноких женщин вообще, а Наталью Федоровну и Лидочку у постели заболевшей с горя Дарьи Алексеевны в особенности.

Общее горе уравнивает лета — так было с воспитательницей и воспитанницей — Они стали как-то незаметно подругами.

Наталья Федоровна со своими, накипевшими на сердце в течение стольких лет, невысказанными горькими думами, не была в силах отказать себе в подробной исповеди перед новой подругой.

XVII

Герой

В один из длинных зимних вечеров 1814 года, когда Дарья Алексеевна уже спала, Наталья Федоровна заговорила и заговорила неудержимо.

Лидочка с напряженным вниманием слушала её, не спуская с неё своих прекрасных глаз.

Ей стало в один час известно и понятно все, о чем она только догадывалась, кроме, конечно, той житейской грязи, которой было забрызгано прошлое графини Аракчеевой, и воспроизводить которую в подробностях последняя не стала бы не только перед восемнадцатилетней девушкой, но даже наедине сама с собою.

Она старалась сама забыть эти подробности.

Наталья Федоровна рассказала лишь мечты своей юности, разбитые о камень жизни, свою первую любовь, свою жертву подруге, свою жизнь в замужестве и окончила жало-

бами на свое вконец разрушенное счастье, на свое в настоящее время бесцельное существование.

— Как же, тетя Таля, ты мне советовала относиться к людям точно так же... ведь, значит, я была права, говоря, что они не стоят этого... — серьезно и вдумчиво заметила Лидочка, выслушав рассказ.

— Надо терпеть, терпеть... Это крест, посылаемый Богом! — порывисто спохватилась Наталья Федоровна, с ужасом увидав последствия своей откровенности.

Она и не догадывалась, что в этот вечер дала своей воспитаннице лучший и полезнейший урок.

— А я так думаю, что не надо делать людям зла, но и не следует давать им возможность и волю делать его безнаказанно себе... — после довольно продолжительной паузы задумчиво произнесла молодая девушка, видимо, пропустив мимо ушей патетический возглас «тети Тали» о терпении и кресте.

Одного несомненно достигла молодая женщина своим влиянием — сердце её воспитанницы-друга, несмотря на то, что последней

шел восемнадцатый год, билось ровно ко всем окружавшим её и сталкивавшимся с ней молодым людям.

«Герой» её первого романа, неизбежного в жизни молодой девушки, как корь и скарлатина в детстве, ещё не появлялся, и Наталья Федоровна начинала даже надеяться, что он не появится никогда.

Но, увы, это была, конечно, только надежда.

Появление героя было лишь вопросом времени.

Такое время настало. Под восторженным взглядом голубых глаз Антона Антоновича фон Зеемана — сердце Лидочки забило тревогу.

Достойная воспитанница «тети Тали» не вдруг, впрочем, откликнулась на этот призыв, она даже как-то испугалась нового для неё ощущения, насторожилась, ушла в себя и стала отдаляться от предмета её грез и мечтаний.

Антон Антонович заметил это, и, не будучи знатоком женского сердца, принимал наружное охлаждение к нему молодой де-

вушки за чистую монету.

Это только усугубляло силу его чувства.

Но прежде, нежели излагать дальнейший ход их романа, расскажем хотя вкратце читателю, каким образом столкнулись на жизненном пути эти два лица нашего повествования, не игравшие до сих пор в нем особенно значительной роли.

Энтузиазм русского общества при встрече героев Отечественной войны, вернувшихся из Парижа, был неописуем.

Сказать, что всюду их принимали с распростертыми объятиями, что всюду они были более чем желанные гости — значит, сказать очень мало.

Вернувшиеся счастливые «сыны Марса» не заставляли себя ждать в светских гостиных, хотя благоразумнейшие из них очень хорошо понимали, что больший процент того общественного поклонения, которое оказывалось им, следует отнести не к их личным заслугам, а к той общей исторической услуге их отечеству, возбуждавшей патриотический восторг.

Не отказывать в возможности изливания этого чистого восторга они считали своею

обязанностью.

К числу этих благоразумнейших военных лауреатов принадлежали и наши знакомцы: Николай Павлович Зарудин и Антон Павлович Кудрин.

Одним из первых визитов по возвращении из заграницы был визит к Дарье Алексеевне Хомутовой.

На этом настоял Андрей Павлович.

Зарудин вздрогнул и побледнел, услышав это предложение своего приятеля.

— Зачем это?.. Беспокоить! — с дрожью в голосе произнес он.

— При чем тут беспокойство... Мы обязаны это сделать... Она мать наших двух товарищей по оружию, умерших смертью героев на честном поле брани... — по обыкновению, с присущим ему пафосом, отвечал Кудрин.

— Да, да... это так... но... — попробовал было возразить Николай Павлович.

Кудрин перебил его.

— Не захочет принять нас — не примет... Но, повторяю, это наша обязанность... выразить соболезнование... Мы едем не к дочери, к которой, вероятно, относится твое «но»... Она,

наверное, к нам и не выйдет, а впрочем, может быть... Ведь с мужем у неё все конечно.

Вся кровь бросилась в голову Зарудина при последних словах приятеля.

«Может быть», — мысленно повторял он и мгновенно понял, что его возражения против посещения дома Хомутовых ни к чему не поведут, что он все же поедет туда, благо есть предлог и предлог законный, пробыть хотя несколько минут под одной кровлей с ней, подышать одним с ней воздухом.

— Хорошо, поедем... — лаконично согласился он вдруг. Визит был назначен на другой день.

Николай Павлович провел бессонную ночь. Он и боялся, и вместе с какою-то внутреннею жгучею болью желал встретиться ещё хоть раз с Натальей Федоровной... с «Талечкой», как мысленно продолжал называть он её.

«Она наверное не выйдет, а впрочем, может быть...» — гвоздем сидели в его голове слова Кудрина, и не покидали его до самого того момента, когда он на другой день, вместе с Андреем Павловичем, позвонил у подъезда

заветного домика на Васильевском острове.

Дарья Алексеевна встретила обоих друзей со слезами благодарности.

В этот момент она забыла, казалось, все прошлое, она помнила только одно, что перед ней люди, бывшие на том роковом поле, где легли костями два её сына.

— Талечка, Талечка!.. Посмотри, кто к нам приехал, — заволновалась старушка, встречая в зале дорогих гостей и проводя их в гостиную, где за каким-то рукоделием сидели графиня и Лидочка.

Обе женщины обернулись на этот возглас. В гостиную входили уже Кудрин и Зарудин.

По лицу графини Натальи Алексеевны Аракчеевой разлилась сперва смертельная бледность, а затем она вдруг вспыхнула ярким румянцем.

Это было, впрочем, делом одного мгновения. Она снова прочла в глазах Николая Павловича, неотводно устремленных на неё, ту немую мольбу, которая заставила её продолжить с ним свидание в церкви святого Лазаря семь лет тому назад. Она прочла в этих глазах, как и тогда, и то, что он никогда не заик-

нется ей о своей любви и не покажет ей, что знает о её сочувствии ему.

Она подарила его почти ласковым взглядом.

Они оба мгновенно душой поняли друг друга и между ними сразу установилась та непринужденность, которая возникает между людьми, твердо и бесповоротно установившими их взаимные отношения.

Она одинаково любезно поздоровалась с обоими и представила их Лидочке.

Завязался общий разговор, конечно, на тему только что окончившейся кампании.

Дарья Алексеевна, узнав от Кудрина и Зарудина, что её покойные сыновья были во время кампании особенно дружны с их общим приятелем капитаном фон Зеemanом, настойчиво стала просить обоих привезти к ней как можно скорее Антона Антоновича.

Она напомнила об этом и при прощании, прося их не забывать её, старуху.

— Проси и ты, Талечка! — обратилась она к дочери.

Наталья Федоровна бросила испуганно-испытующий взгляд на Николая Павловича.

— Милости просим... Я всегда рада... Но у нас скучно, — произнесла она.

— Вот и будет веселее, — заметила Дарья Алексеевна. Через несколько дней Николай Павлович Зарудин представил Дарье Алексеевне Антона Антоновича.

Таким образом состоялась встреча «турчанки» Лидочки с её «героем».

XVIII

Новые мечты

Прошло около двух месяцев. Наступил январь 1815 года.

Николай Павлович Зарудин и Антон Антонович фон Зеeman были за это время частыми гостями на 6 линии Васильевского острова. Дарья Алексеевна не ошиблась — в доме стало веселей.

Наталья Федоровна оживилась: первый шаг к сближению её с Николаем Павловичем был сделан, дальнейшие его визиты являлись лишь последствиями.

Да и за что ей было отстраняться его, видимо, даже не любившего её теперь земною лю-

бовью, а боготворившего её за её чистоту, за страдания, не ухаживавшего за ней, а скорее поклонявшегося ей? Она сама любит в нем не его, а только свое светлое прошлое, она видит в нем единственного своего друга после матери и... только! Разве это грех? Так рассуждала молодая женщина первое время, проводя светлые минуты своей мрачной жизни в обществе любимого и любящего её человека. Минуты эти затем обратились в часы. Оба они порой, увлеченные беседой, совершенно забывали, что в жизни их обоих прошло семь лет, да они и старались забыть эти роковые годы.

Наряду с этим продолжением платонического романа двух уже испытанных в битве с жизнью людей шел другой более реальный по своим конечным целям роман между Антоном Антоновичем и Лидочкой. Мы в нескольких штрихах уже определили взаимные отношения этих двух влюбленных в описываемое нами время, входить в подробности, значит, повторять то, о чем исписаны миллионы пудов бумаги, значит, писать сентиментальный роман, так увлекавший на-

ших бабушек. Это не входит в нашу задачу. Повторим лишь, что чем больше старалась молодая девушка, в силу боязливой скромности, избегать человека, заставившего её впервые испытать сладостно томительное чувство любви, тем сильнее это чувство охватывало пожаром сердце этого человека.

Отношения между Лидочкой и фон Зеemannом не прошли, конечно, незамеченными старшими. Дарья Алексеевна от души, как сына, полюбившая друга своих покойных сыновей, радовалась, глядя на «ахтительную парочку», как выражалась она на своем своеобразном полковом жаргоне. Николай Павлович и Наталья Федоровна, несчастные во взаимной любви, не преминули, конечно, взять влюбленную парочку под свое горячее покровительство. Им казалось, что они вместе с ними переживают снова первые дни своей любви, своих сладких грез и мечтаний.

Антон Антонович глубоко ценил это и ещё глубже, ещё горячее привязался к своему другу, Наталью же Федоровну стал положительно боготворить. Он готов был для неё идти в огонь и в воду, не на словах, а на деле.

Случай испытать эту его преданность вскоре представился.

В первое январское воскресенье Наталья Федоровна, вместе с Лидочкой возвращаясь пешком из церкви, почти у самого подъезда своего дома столкнулась лицом к лицу с Екатериной Петровной Бахметьевой.

Последняя, видимо, ожидала её.

— Ваше сиятельство... на одну минуту... — со слезами в голосе произнесла Бахметьева.

Наталья Федоровна остановилась, заслонив собою шедшую с нею девушку, как бы охраняя её от малейшего соприкосновения с этой женщиной.

— Что... вам угодно... от меня? — с трудом спросила она.

— Несколько минут беседы... На вас вся надежда несчастной девушки, когда-то бывшей вашей подругой... — прерывистым шепотом начала Бахметьева, и слезы градом потекли из её глаз.

Наталья Федоровна молчала.

— Я готова на коленях умолять вас об этом... — продолжала та и сделала движение опуститься к ногам молодой женщины.

— Что вы, что вы... на улице... Зайдемте ко мне... Лидочка, пройди вперед... — быстро сказала Наталья Федоровна.

В её сердце уже закралась жалость к стоявшей перед ней плачущей бывшей подруге. По своей чистоте она и не подозревала, что делается жертвой гнусной, давно подготовленной комедии.

Они вошли в дом.

Наталья Федоровна пригласила Бахметьеву в гостиную и по её просьбе плотно затворила все двери.

Екатерина Петровна сидела в это время в кресле, низко опустив голову.

— Я вас слушаю!.. — села против неё графиня.

Убитым, казалось, безысходным горем голосом начала рассказ Екатерина Петровна. Она описала ей свое падение в Грузине, выставив себя жертвой соблазна графа, свою жизнь за последние семь лет, свою сиротскую, горькую долю.

Доверчивая Наталья Федоровна невольно расчувствовалась.

— Чем же я могу помочь вам? — сочув-

ственно спросила она.

— Он обещал на мне жениться... А теперь, а теперь, когда под сердцем моим я ношу его ребенка...

Бахметьева остановилась и указала глазами на свою фигуру, на самом деле красноречиво доказывавшую справедливость её слов.

— Теперь он... перестал даже бывать... Вы расстались с ним навсегда... Напишите ему... что вы заступитесь за меня, что сами обратитесь к государю с просьбой о разводе; он тотчас же предупредит вас и поправит свою вину относительно меня... Иначе я сама дойду до государя и государыни и брошусь к их ногам, умоляя заставить его покрыть мой позор... Я решилась на все... я не могу долее выносить такую жизнь... я терпела семь лет... семь долгих лет...

Екатерина Петровна истерически зарыдала.

Наталья Федоровна подошла к рыдавшей Бахметьевой.

— Успокойтесь, я напишу ему... я не буду угрожать... но он сделает все... он честный человек... а вы... дворянка... Он просто упустил

это из виду за массою дел. Вы не говорили ему об этом?

— Нет... я боюсь... его... — прошептала Екатерина Петровна.

— Я напишу, напишу на днях, — снова уверяла её графиня и отпустила от себя почти обласканную.

По уходе Бахметьевой молодая женщина задумалась. Она решилась посоветоваться с Зарудиным и Зеemanом; Они явились в тот же вечер. Она рассказала им все, конечно, в отсутствии Лидочки.

По окончании рассказа взгляды Натальи Федоровны и Зарудина встретились. Они прочли в этих взглядах одну, появившуюся разом, у них мысль.

Если граф согласится на развод, то она, Наталья Федоровна, будет свободна.

Новые мечты о возможности, быть может, для них счастья снова заютились в их сердцах.

Прошло несколько дней, во время которых графиня усиленно работала над письмом к мужу, изорвав несколько десятков начатых, но неоконченных. Наконец, письмо было на-

писано и одобрено триумвиратом.

Но кто решится отвезти его графу, передать в собственные руки и просить ответ?

На этом главном вопросе, как всегда, в начале не останавливались, он возник лишь в конце и поставил всех трех в тупик.

Николаю Павловичу Зарудину, в силу ходивших по городу сплетен об его отношениях к графине, было неловко взять на себя это дело.

— Я отвезу письмо... — решил Антон Антонович.

Наталья Федоровна и Зарудин взглянули на него с испугом.

— Ты... Вы... — в один голос спросили они.

— Да, я... Это решено бесповоротно... Иначе, все равно, при первой встрече с графом я вызову его на дерзость и потребую удовлетворения... Отвезти письмо — меньше шансов погибнуть.

В голосе молодого офицера звучала такая бесповоротная решимость, что Зарудин и графиня согласились.

Любящие люди, впрочем, все немножко эгоисты.

С этим-то поручением графини Аракчеевой и появился капитан фон Зеeman в приемной всеcильного графа 11 января 1815 года «по личному, не служебному делу», как заявил он пораженному его присутствием Клейнмихелю, что, вероятно, не забыл читатель.

ХІХ

В зимнем дворце

День 11 января 1815 года оказался знаменательным не для одной частной жизни главных действующих лиц нашего правдивого повествования, но и для всей России. В этот день в глубине ангельского сердца государя Александра Павловича зародилась мысль, которую по справедливости можно было назвать «мыслью от сердца», осуществление которой поразило и встревожило всю Европу, но которая, увы, в конце концов, при её осуществлении на деле, ввиду отсутствия умелых исполнителей, оказалась тоже лишь дивной царственной мечтой, разбившейся о камень жизни.

Расскажем этот исторический момент, ярко и рельефно характеризующий великого венценосца.

В 1815 году повторилась почти такая же жестокая зима, какая была и в незабвенном для России 1812 году, когда русский богатырь-мороз, явился истинным посланником Всемогущего Бога для избавления в союзе с огнем народного негодования, выразившемся в московском пожаре, многострадальной русской земли.

Холод и жар, сплотившись вместе, изгнали пришельцев, и вместо французского ига, которое так самонадеянно готовил для нас избалованный ратной удачей Бонапарт, доставили нам славу освободителей Европы.

11 января был страшный мороз при ярком блеске холодного петербургского солнца.

Последнее, не достигнув ещё полудня, целым снопом блестящих лучей вырвалось в зеркальные окна Зимнего дворца и освещало ряд великолепных комнат, выходявших на площадь, среди которой не возвышалась ещё, как ныне, грандиозная колонна, так как тот, о которым напоминает она всем истинно рус-

ским людям, наполняя их сердца благоговением, был жив и царствовал на радость своим подданным и на удивление и поклонение освобожденной им Европы.

Комнаты дворца были пусты.

Государь Александр Павлович находился у себя в кабинете. Это была большая, высокая комната, увешанная оружием и портретами, среди которых особенно выделялся висевший над камином портрет прелестной молодой женщины: её улыбающееся личико с полными щечками и вздернутым носиком, сплошь освещенное солнечными лучами, дышало, несмотря на неправильность отдельных черт, какою-то неземною прелестью, какою-то гармоничною красотою. Посредине стоял рабочий стол государя с восковыми свечами в высоких канделябрах. Остальная меблировка кабинета отличалась необыкновенною простотою, хотя и не была лишена комфорта.

Император Александр Павлович, в расстегнутом мундире, из-под которого виднелся белый жилет, задумчиво стоял у мраморного камина, облокотясь правой рукой на выступ его карниза. Ему шел в это время тридцать

восьмой год, лета цветущие для мужчины, но на его прекрасное лицо, с необъяснимо приятными чертами, соединяющими в себе выражения кротости и остроумия, государственные и военные заботы уже наложили печать некоторой усталости, хотя оно по-прежнему было соразмерной полноты и в профиль напоминало лицо его великой бабки — императрицы Екатерины II.

Невдалеке от государя в почтительной позе, в застегнутом наглухо мундире стоял граф Алексей Андреевич Аракчеев.

Выражение лица советника государя было угрюмо и сосредоточенно.

Кроме этих двух лиц, в глубине кабинета находился дежурный флигель-адъютант князь Алексей Федорович Орлов.

После доклада, который обыкновенно кончался в десять часов утра, государь задержал графа Аракчеева и стал передавать ему свои соображения о необходимых улучшениях в учреждениях для просвещения народа, высших и низших, а также задуманный им вызов некоторых иностранных ученых.

— Я всегда был, да и теперь глубоко убеж-

ден, что развитие умственных способностей подданных может увеличить их благосостояние и доставить государству значение, влияние и вес. Ты, надеюсь, согласен со мной, Алексей Андреевич? — заключил свою речь государь.

— Не смею, ваше величество, входить об этом в рассуждение, не учен настолько, мое дело — фронт да стрельба... — уклончиво ответил Аракчеев.

— Заскромничал некстати, — улыбнулся государь, бросив взгляд на Орлова, который тоже почтительно улыбнулся, — не первый год я тебя знаю, дело не в науках, а в светлом уме и верном взгляде, а их тебе не занимать, другим — хоть уступить и то в пору.

Граф Аракчеев низко поклонился, но промолчал.

— Так как же, правильно ли я сужу, желая идти следом за моим прадедом Петром Великим, дать моим подданным следить за европейской наукой... за европейским развитием... или же нет? Говори...

— Вон, Сперанский недавно заметил, что там законы лучше наших, а люди хуже, так

может, ваше величество, это и происходит от их законов, науки и развития... — снова, не отвечая на вопрос и глядя куда-то в пространство, заметил граф.

— Ну, вижу, вижу, ты не любишь Европы; самобытность и патриотизм — качества достойные похвалы, но все же не следует так узко смотреть на вещи, для молодого народа необходимо учиться у поживших наций...

— Опасно, ваше величество, вливать старое вино в новые мехи... сильно бродит оно... Недавно вернулись мы из этой самой Европы, а как уже имел я честь докладывать вашему величеству, между офицерами явилось нежелательное брожение умов, влияющее на дисциплину... Полковник Зар...

— Знаю, знаю... Не называй фамилий... Я тебе уже говорил... я сам держусь тех же идей... не могу же я за них взыскивать... Прямое нарушение дисциплины ведь не было?..

— Не было! — мрачно отвечал Аракчеев. — Но зараза распространяется исподволь... Долг верноподданного... Необходимо предупредить... — отрывисто добавил он.

— Верю, верю в тебя, Алексей Андреевич, в

твои добрые намерения, но верю тоже и в мои войска, покрытые европейской славой...

Государь медленно подошел к окну.

XX

Мечты венценосца

Из-под арки главного штаба шел, направляясь в казармы, Преображенский караул.

Государь движением руки подозвал к окну графа Аракчеева, продолжавшего насупившись стоять у камина.

— Кстати, посмотри, Алексей Андреевич, на моих гвардейцев. У меня всякий раз, как я смотрю на них, сердце обливается кровью, сколько они в походах испытали трудов, лишений и опасностей. Поход кончился, мы с тобой отдыхаем, а им служба в мирное время едва ли не тягостнее, чем в военное. Как подумаю ещё и то, что по выходе в отставку, после 25 лет службы, солдату негде голову преклонить, у него нет семейного очага.

— Надо, ваше величество, подумать об этом и устроить быт войск к лучшему.

— Да, да, — поспешно заговорил госу-

дарь, — тем более, что нам придется серьезно обдумать меры усиления войск, положение европейских государств меня сильно тревожит, надо ожидать новых осложнений, которые могут привести к новым войнам, надо отыскать средства усилить армию без обременения государства, так как Гурьев все жалуется на плохие финансы.

— Этого не трудно достигнуть, ваше величество, — спокойно и твердо отвечал Аракчев, — необходимо водворить войска на казенных землях, занятых экономическими крестьянами, тогда они сами в себе найдут средства своего содержания.

— Говори, каким образом.

— Это не будет новостью для вашего величества, вам известно, что я, будучи военным министром, поселил в 1807 году на казенных землях Могилевской губернии два батальона елецкого и полоцкого полков, но дело не получило развития по независящим от меня обстоятельствам...

— Да, да, помню... Так ты хочешь?..

Государь остановился.

— Я ничего не смею хотеть, ваше величе-

ство, я лишь указываю на единственное, по моему мнению, средство исполнить желание вашего величества и осуществить выраженную вашим величеством заботу о войсках и думаю, что принятая мера вызовет беспокойство Европы...

— Да, да, водворить на землях, возвратить в мирное время семьям, из бобылей сделать хозяев... это мысль хорошая, светлая мысль... И скоро ты можешь мне представить проект?..

— Времени на это потребуется немного, так как существуют иностранные образцы...

— Вот и попался... — засмеялся государь, — так ты за этим пойдешь в ненавистную тебе Европу?..

— Я, ваше величество, пойду в старую монархическую, а не в новую революционную Европу... — угрюмо ответил Аракчеев.

— Тебя не словишь. Продолжай...

— Военные поселения ещё в конце XV столетия существовали в Австрии. Там учреждение их было вызвано желанием оградить южную границу от нашествия турок. Для устройства этих поселений, вся Германия дала сред-

ства императору Рудольфу, по воззванию которого на свободные земли между реками Кульною и Унною сошлось до 4000 славян, кроатов, масса переселенцев из Валахии и из христианских провинций, страдавших под владычеством турок. Правительство дало пришельцам земли и освободило их от податей, они были разделены на роты и находились в ведении военного министра. Кроме того, осмелюсь доложить вашему величеству, что хотя я и указал на европейский пример, но военные поселения и для России дело исторически не новое. Казачье народонаселение по Дону и Днепру, по Кубани и Уралу, на берегах Черного моря и в Сибири составляют не что иное, как военные поселения...

— Верно, верно, — заметил государь, — но я прибавлю тебе пример Швеции, где есть отдельные поселения в виде отдельных хозяев, из которых каждое выставляет солдата. Этому хозяину отводится такое количество земли, чтобы он мог прокормить себя и свою семью, дается все необходимое для хлебопашества; казна же дает только ружье и амуницию, а при выступлении в поход — жалованье.

— Я приму это к сведению, ваше величество, — с поклоном отвечал Аракчеев. — Позвольте мне лишь выразить мнение о цели этих поселений...

— Конечно же, говори! — нетерпеливо воскликнул государь.

— Военные поселения должны, по моему убеждению, образовать резерв войск, обязанный заниматься сельским хозяйством, содержать себя и, неся военную службу, быть всегда готовым к бою...

— Так, совершенно так, — радостно сказал государь, — устрой же мне это, Алексей Андреевич, это моя заветная мечта, этим ты доставишь мне большое удовольствие, и я тогда умру спокойно.

— Постараюсь, ваше величество, но решусь заметить, что выполнение этой важной меры должно быть поручено одному лицу, так как при многих распорядителях, дело едва ли может удасться так быстро и успешно...

— Конечно, конечно, и кому же, как не тебе, генерал-инспектору всей пехоты, распоряжаться этим делом, я к тебе обратился, на тебя и полагаюсь; лучшего исполнителя и не

найти, я помню твою гатчинскую службу при покойном отце моем. Не правда ли, Алексей Федорович? — обратился государь к стоявшему в некотором отдалении князю Орлову.

— Совершенно верно, ваше величество, в деле военных преобразований не найти искуснее Алексея Андреевича, все, я уверен, совершится в тишине и порядке...

В его голосе прозвучала чуть заметная ирония.

— Одно только, крут ты, а то бы был совершенство, — шутя обратился к Аракчееву государь.

Мутные глаза графа на мгновение вспыхнули. Произошло ли это от замечания государя или же от тона похвалы князя Орлова — неизвестно.

— Я не крут, ваше величество, а требую службы государю и отечеству по своей мерке, служи, как я служил, меня отличили, из ничтожества вызвали, значит, я служил неплохо, пусть служат так и другие, делом, а не словами и... интригами...

Он чуть заметно метнул взглядом в сторону князя Орлова.

— Знаю, знаю, я пошутил... — прервал его государь, и на его устах появилась та обворожительная улыбка, которая покоряла ему все сердца.

Он не терпел размолвок и старался всегда потушить всякое столкновение в самом его начале.

— Так, пожалуйста, ты мне устрой моих солдатиков, — добавил он, взглянув на часы.

— Слово государя моего для меня закон! — с низким поклоном отвечал Аракчеев.

— Приезжай нынче вечером... — подал ему государь руку.

Едва Алексей Андреевич вышел из кабинета государя, как лицо его сделалось ещё более мрачным.

— Пошел! — крикнул он кучеру таким голосом, что тот вдруг сделался белей полотна и сани вихрем полетели по площади и свернули на Невский.

Через каких-нибудь пять минут они остановились уже у подъезда домика на Литейной, занимаемого графом Алексеем Андреевичем.

Что произошло затем, уже известно чита-

XXI

В сумерках

Сумерки в обширной приемной дома графа Аракчеева окончательно сгустились. Был пятый час вечера в исходе.

От долгого нетерпеливого ожидания Антон Антонович фон Зеeman пришел в какое-то странное напряженно-нервное состояние: ему положительно стало жутко в этой огромной комнате, с тонувшими уже в густом мраке углами. В доме царила безусловная тишина, и лишь со стороны улицы глухо доносился визг санных полозьев и крики кучеров.

— Да что он меня, дуболом, ночевать, что ли, здесь оставить хочет? — проворчал, наконец, сквозь зубы, Зеeman. — Да нет, погодишь... Я к тебе в кабинет и без вторичного доклада войду...

Он встал, чтобы привести в исполнение это последнее решение, как вдруг дверь кабинета скрипнула, отворилась, и на её пороге появилась высокая фигура графа Алексея Ан-

дреевича.

Не ожидая из этой двери появления самого графа, Антон Антонович, нервно разбитый долгим ожиданием, вздрогнул и остановился, как вкопанный, широко раскрытыми, почти полными ужаса глазами глядя на приближающегося к нему властного хозяина.

Последний шел медленно, как бы намеренно укорачивая шаги, и тоже в упор смотрел на стоявшего, по военной привычке, на вытяжке молодого офицера.

Наконец, он подошел к нему совсем близко.

— Ко мне? — прогнусил лаконично граф.

— К вашему сиятельству с письмом от её сиятельства графини Натальи Федоровны, — по-военному, с чуть заметною дрожью в голосе, отрапортовал фон Зеeman.

Вынув из кивера, который был у него в левой руке, письмо, он подал графу.

— Её сиятельство просили обязательно ответа! — добавил он.

— А давно ли гвардейские офицеры на посылках у баб состоять стали? — вместо ответа снова прогнусил Алексей Андреевич, и не

успел фон Зеeman что-либо возразить ему, быстро, по-военному, повернулся к нему спиной и, так же быстро проследовав в залу, скрылся в своем кабинете.

В кабинете было уже совершенно темно. Граф захлопал в ладоши.

— Огня! — крикнул он явившемуся Степану.

Свечи были зажжены.

Граф Аракчеев не спеша уселся за письменный стол, так же не спеша разорвал конверт и принялся читать письмо.

На постоянно как бы с окаменелым выражением лице Алексея Андреевича невозможно было прочесть никакого впечатления от читаемых строк, только в конце чтения углы его губ судорожно передернулись и густые брови сдвинулись и нависли над орбитами глаз, как бы под гнетом внезапно появившейся мысли.

Он отложил письмо в сторону и стал рыться в кипе бумаг, лежавших на письменном столе. Наконец, он, видимо, нашел искомое.

Это были два полученные им третьего дня полицейские уведомления: первое об отлу-

чившейся из своего дома девице из дворян Екатерине Петровне Бахметьевой, оставившей записку о том, чтобы никого не винить в её смерти, и второе — о найденном около одной из прорубей реки Невы верхнем женском платье, признанном слугами Бахметьевой за принадлежащее этой последней.

«Тело утопившейся, несмотря на произведенные тщательные розыски, ещё не найдено».

Такой стереотипно-полицейской фразой оканчивалось последнее уведомление.

Граф вспомнил, какое тяжелое впечатление произвело на него это известие о самоубийстве все же близкой ему девушки, которую он видел всего за какую-нибудь неделю до означенного в уведомлении дня. Алексей Андреевич не заметил в ней ничего особенного, хотя она была как-то рассеянее и задумчивее обыкновенного. Он теперь припомнил это.

«Рехнулась, спятила! Баба, как задумается — беда!» — пронеслось в его голове.

Он не догадался и теперь, что эта задумчи-

вость Екатерины Петровны была по поводу решенного ею на другой день визита к Наталье Федоровне.

Оставшийся, между тем, снова один в темной приемной, фон Зеeman со скрежетом зубов опустился на стул.

«Мальчишка, трус, не нашелся что ответить, растерялся, как баба!» — мысленно посылал он ругательства по своему собственному адресу.

Со злобной решимостью он стал ждать появления графа после прочтения письма, чтобы высказать ему все, особенно, если он откажется тотчас же ответить графине. В этом отказе Антон Антонович был почти уверен.

«Я покажу ему, что я не состою только на посылках у его жены, что я её друг, и друг верный, готовый своею грудью защитить её даже против него — „изверга Аракчея“», — мысленно продолжал злобствовать фон Зеeman.

Граф Аракчеев, сидя в кабинете, второй раз перечитал письмо жены, а затем стал припоминать мельчайшие подробности катастрофы с Бахметьевой. Он тотчас же приказал тогда произвести тщательное дознание, по ко-

торому оказалось, что в вечер исчезновения Екатерины Петровны в доме была только одна старуха Агафониха, которая показала, что барышня ушла из дому под вечер, приказав ей ставить самовар, и более не возвращалась. Прислуга же была частью отпущена со двора, а частью разослана за покупками. По показанию некоторых из соседей, они видели под вечер стоявшую у ворот крытую повозку, запряженную тройкой сильных деревенских лошадей.

Он сам, наконец, ездил в дом Бахметьевой и застал ещё там Агафониху, собиравшуюся в дорогу. В ней он узнал любимицу Минкиной.

— Ты как попала сюда, старая карга? — спросил её граф.

Старуха даже присела от испуга.

— Отвечай!

— Ещё в Грузине, батюшка, ваше сиятельство, обласкала меня покойная барышня, царство ей небесное, так я сюда к ней гостить и шастала, тайком от Настасьи Федоровны...

— Тайком ли, старая?

— Видит Бог, тайком... Настасья Федоровна ни сном, ни духом ни о чем не ведает...

Граф прекратил допросы, но все это показалось ему настолько подозрительным, что он решил во что бы то ни стало обнаружить истину.

«Настасьино это дело! Как пить дать, Настасьино! Ревнива она у меня, словно черт...» — думал граф.

Последнее приятно защекотало его самолюбие.

«Но я это дело разберу...» — закончил он свою мысль.

Получение письма от жены разрушило этот план. Самоубийство Екатерины Петровны являлось теперь для него спасительным якорем от «светского скандала» и «огласки», которые несомненно вызвали бы предлагаемый и даже почти требуемый Натальей Федоровной развод и вторичный брак с Бахметьевой, а этого «скандала» и этой «огласки» он боялся более всего на свете.

При жизни последней избежать и того, и другого было бы для него невозможно; государь и государыня были бы — он знал это — в этом деле далеко не на его стороне.

Допытываться при подобных обстоятель-

ствах, покончила ли с собой на самом деле молодая женщина, или же это только проделка ревнивой Минкиной и её сообщницы — последнее-то и подозревал граф — было бы более чем неблагоразумно.

Граф решил не допытываться.

Остановившись на этом решении, Алексей Андреевич с письмом жены в руках вошел снова в приемную и подошел к вставшему при его появлении фон Зеemannу.

— Передайте её сиятельству, что при моем желании, я не могу исполнить её просьбы, так как особа, по ходатайству которой она обратилась ко мне с письмом, несколько дней тому назад утопилась в припадке умственного расстройства... Вероятно, и к ней являлась она в болезненном состоянии.

— Утопилась?.. Бахметьева?.. — мог только произнести совершенно растерявшийся Антон Антонович. — Не может быть.

— Я никогда не лгу... — строго заметил граф. — Вы можете узнать подробности в местном квартале...

Последнюю фразу он бросил уже на ходу, медленно удаляясь по направлению к своему

кабинету.

Антон Антонович прямо из дома графа поехал на Большой проспект Васильевского острова. Там от местного квартального надзирателя и из расспроса соседей он узнал все то, что уже известно нашим читателям по поводу загадочного исчезновения и самоубийства Екатерины Петровны.

Получив все эти сведения, фон Зеeman отправился на 6 линию, в дом Хомутовых.

Спокойно выслушала Наталья Федоровна доклад своего верного посланного, только ещё более мертвенная бледность покрыла её исхудалое лицо и две крупные слезинки выступили на длинных ресницах.

Были ли эти слезы о погибшей её бывшей подруге, или же об окончательно погибших последних мечтах о земном счастье — как знать?

— Царство ей небесное! — истово перекрестилась она... — Да будет Его святая воля! — добавила она после некоторой паузы.

Антон Антонович почувствовал сердцем, что молодой женщине необходимо остаться наедине и уехал.

Он спешил к тому же принести грустную весть Зарудину, нетерпеливо, как помнит читатель, ожидавшему его в этот вечер сначала в обществе Кудрина, а затем и Павла Кирилловича.

— Антон! Наконец-то ты? — встретил его Николай Павлович.

По бледному, расстроенному лицу молодого офицера он увидал, что случилось что-то неладное.

— Говори скорей, не томи...

Антон Антонович вопросительно поглядел на Андрея Павловича и Павла Кирилловича, с которыми ранее как-то растерянно поздоровался.

— Говори при них, все равно... Они знают почти все...

Фон Зеeman начал свой рассказ. Он передал свое дежурство почти целый день в приемной графа, свою беседу с ним, ответ его, справки, наведенные на месте, и, наконец, свой доклад графине Аракчеевой. Он повторил сказанные ею слова: «Да будет Его святая воля!»

Бледный, как смерть, положительно уби-

тый полученным известием, дрожащим голосом повторил эти же самые слова Николай Павлович и низко опустил голову.

Кудрин и Павел Кириллович стали обсуждать вместе с фон Зеemanом загадочность смерти Бахметьевой и странность её совпадения с вопросом о разводе.

— Она жива! — вдруг поднял голову и почти диким голосом воскликнул молодой Зарудин.

Все трое взглянули на него с испугом.

«Он сошел с ума!» — почти мгновенно у всех мелькнула одна и та же мысль.

Через десять лет

Прошло десять лет.

Много воды утекло за эти долгие годы. Россия под скипетром «благословенного» Александра, пресыщенная бранною славою, быстрыми шагами шла по пути законодательного, административного и экономического процветания. «Свод законов Российской Империи» является бессмертным памятником этой эпохи подъема государственного духа, явившегося как бы последствием подъема народного духа, выразившегося в войне 1812 года.

К числу реформ славного Александровского времени, реформ, которые исключительно осуществлены графом Алексеем Андреевичем Аракчеевым, принадлежит и даже занимает среди них первое место осуществление уже известной нам «царственной мечты» — учреждение военных поселений, которые должны были образовать резерв войск и обязаны заниматься сельским хозяйством, содержать се-

бя и, неся военную службу, быть всегда готовыми к бою.

Как из русских, так и иностранных историков видно, что учреждение поселений, несмотря на то, что это имело у нас столько порицателей, несколько озадачило Европу. Под личиною общей благодарности за избавление от порабощения, она с завистью смотрела на наше главенство, и поэтому все государства взглянули на учреждение военных поселений по новой системе, как на желание России сделаться ещё сильнее. Были даже дипломатические запросы, но они не только не ослабили мысль об основании поселений, а напротив, убедили в их пользе и ускорили их осуществление. Поощрением к этому послужило ещё и то, что после наполеоновских войн все державы стали увеличивать свои армии до чрезвычайных для того времени размеров[13].

За прошедшие десять лет поселения, благодаря неутомимой, полной энергии деятельности графа Алексея Андреевича, достигли апогея своего развития.

Кроме поселенных ещё в 1805 году двух ба-

тальяонов в Могилевской губернии, в 1815 году началось развитие поселенной системы в Новгородской губернии, затем военные поселения появились в Харьковской губернии, в Змиевском и Чугуевском уездах, а также в Херсонской и Подольской губерниях. Численность жителей во всех этих поселениях простиралась до 700 000 душ.

Во главе всех этих поселенных войск стоял граф Аракчеев, непосредственно, впрочем, управлявший лишь поселениями в Новгородской губернии.

Горечь семейного раздора с летами исчезла совершенно. Короткое, свободное от многосложных занятий время граф проводил в своем любимом Грузине, около своего верного друга Настасьи Федоровны, ставшей полновластной хозяйкой и в имении, и в сердце своего знаменитого повелителя, и если бы не огорчения со стороны его названного сына Михаила Андреевича Шуйского, графа можно было бы назвать счастливым.

Жизнь остальных действующих лиц нашего правдивого повествования во многом изменили пронесшиеся годы, не говоря уже о

Павле Кирилловиче Зарудине и Дарье Алексеевне Хомутовой, в описываемое нами время уже давно лежавших в могилах на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Николай Павлович Зарудин вскоре по смерти отца вышел в отставку, недолго после него прослужил и Андрей Павлович Кудрин, и оба друга всецело отдались масонской деятельности.

Антон Антонович фон Зеeman, произведенный за это время в полковники, жил вместе с женою своею Лидиею Павловной на 6 линии Васильевского острова, в том самом домике, где «турчанка Лидочка» провела свое детство и юность, где встретила со своим ненаглядным «Тоней», как ласкательно называла она своего мужа. Свадьба их состоялась вскоре после отважного, хотя и неудачного визита Антона Антоновича к грозному Аракчееву. Дарья Алексеевна при жизни своей предложила поселиться молодым в её доме, а после смерти отказала его по завещанию Лидочке.

Завещание это старушка сделала по просьбе Натальи Федоровны.

В том самом углу гостиной, где некогда

притаившись любила играть в куклы маленькая Лидочка, теперь тоже сиживал, окруженный игрушками, хорошенький белокурый мальчик с блестящими черными глазами, восьмилетний сын супругов фон Зеeman — «Тоня», Антон Антонович II, как в шутку называли его отец и мать.

Маленький Тоня был крестником Николая Павловича Зарудина и графини Натальи Федоровны Аракчеевой.

Породнившись духовно у купели новорожденного ребенка их счастливых молодых друзей, вскоре после разбитой самоубийством Бахметьевой последней мечты о совместном счастье, Зарудин и графиня Аракчеева вполне, казалось, удовлетворялись своей духовной близостью, своим духовным единением.

Масонские перчатки, переданные ей Николаем Павловичем, Наталья Федоровна, как реликвии, хранила в отдельной шкатулке.

Она жила в своем маленьком имении близ Тихвина, но почасту и подолгу приезжала гостить на Васильевский остров, в доме Лидии Павловны фон Зеeman.

В уютной гостиной этого дома собирался

тесный кружок наших старых знакомцев, живших своею особою, удаленною от света жизнью и настолько замкнуто, что даже любопытный петербургский «свет», после тщетных попыток проникнуть в их мир, оставил их в покое и как бы забыл о их существовании.

Они были очень довольны этим забвением.

Тело погибшей в волнах Невы Екатерины Петровны Бахметьевой так и не было найдено. Его или унесло в море, или же оказывался правым Николай Павлович Зарудин, все продолжавший настойчиво уверять, что Бахметьева жива.

Нянькин сын Миша, ставший дворянином Михаилом Андреевичем Шумским, окончил курс в пажеском корпусе и, служа в гвардии, считался коноводом петербургских «блуждающих». Слава о его скандалах и дебошах гремела в столице.

XXIII

Брат и сестра

Для обитателей села Грузина прошедшие десять лет тянулись необычайно долго. День за днем, один безусловно похожий на другой, тот же систематический порядок без малейших отступлений от раз установленной нормы.

Настасья Федоровна, живавшая, впрочем, по зимам подолгу в Петербурге, тоже чувствовала эту томительную скуку, особенно во время отсутствия графа, занятого по горло делами, и срывала свою злость по-прежнему на окружавших её безответных крепостных девушках.

Знаменитая «домоправительница» сильно состарилась, и хотя на её чистом лице не было ни одной морщинки, а, скорее, появилась одутловатость и выражение какой-то усталости и изнурения, но все же это не была прежняя «красавица Настасья».

Эта одутловатость и это выражение изнурения явились последствиями периодическо-

го пьянства, почти запоя, которому она предавалась за последнее время и проводимые ею бессонные ночи в отвратительных оргиях с избранными дворовыми.

Все это она с прежним искусством скрывала от зоркого глаза графа, положительно ослепленного за последнее время хитрой женщиной. Последняя употребляла для этого все средства. Подосланная ею к графу цыганка сказала ему: «Береги Настасью, пока она жива, и ты жив и счастлив». Это произвело сильное впечатление на мнительного Алексея Андреевича. Другой её фокус заставил графа считать её даже «прозорливицей» и своим «ангелом-хранителем». Она перед смотром позвала к себе правофлангового Свиридова и велела ему зарядить ружье пулей.

— Не бойся, — сказала она ему, — тебе ничего не будет.

Свиридов не смел послушаться всемогущей экономки. Провожая графа, она сказала ему:

— Вот ты ничего не знаешь, а тебя хотят убить. Сегодня на смотре посмотри ружье у правофлангового — оно заряжено.

Аракчеев поступил, как ему сказала Наста-

сья, и на самом деле нашел заряженное ружье.

Он стал считать, что обязан Настасье жизнью.

Несмотря на такое положение её в Грузии, она постоянно была в дурном расположении духа; постоянно была всем недовольна, угодить ей не было никакой возможности и бедные дворовые девушки терпели такие страшные истязания, что и вообразить было трудно. Они так были забиты и загнаны своею тиранкою, что на них больно было смотреть. Особенно доставалось красивым от злобствующей отцветшей красавицы. К числу последних и самых несчастных её жертв принадлежала Прасковья Антоновна, выдающаяся по красоте блондинка. Характер у неё был несокрушимо твердый; никакие мучения не могли вызвать из груди её ни стона, ни жалобы. Только по впалым и бледным щекам её, да по большим голубым глазам, полным безотрадной грусти, было заметно, что она, при всей твердости духа, не в силах была сносить тиранства Настасьи. А над нею-то, повторяем, более всего раздражалась злоба домоправи-

тельницы. Прасковья была её старшею горничною, она убирала ей голову, одевала её, смотрела за её гардеробом, и, как старшая, отвечала за все проступки прочих.

— Ну, Паша, какая ты переносливая, — говорили её подруги, — словно ты железная!..

Прасковья глядела на них и улыбалась, но в этой улыбке выражалась вся безнадежность её страданий.

Было 6 сентября 1825 года.

Настасья Федоровна сидела перед зеркалом, совершая свой утренний туалет. Прасковья Антоновна стояла около неё и щипцами припекала ей волосы, завернутые в папильотки. Вдруг щипцы случайно скользнули и слегка коснулись уха Минкиной.

Она вскрикнула и вскочила в припадке страшного бешенства.

— Ты жечь меня вздумала, жечь! — кричала она, скрипя от злости зубами. — Так вот же тебе!

Минкина выхватила из рук Паши щипцы, разорвала ей рубашку и калеными щипцами начала хватать за голую грудь бедной девушки. Щипцы шипели и дымились, а нежная ко-

жа лепестками оставалась на щипцах. Паша задрожала всем телом и глухо застонала; в глазах её заблестел какой-то фосфорический свет, и она опрометью бросилась вон из комнаты.

Брат Паши, Василий Антонов, молодой парень, лет девятнадцати, находился поваренком в графской кухне. Он увидел в окно, что сестра его побежала растрепанная по направлению к Волхову. «Что-нибудь, да не ладно!» — подумал он и погнался за ней.

Он едва догнал её на самом берегу и схватил за руку.

— Пусти меня, пусти! — бормотала Паша, стараясь освободиться из рук брата.

— Куда пусти? Что с тобой? Куда ты? — спросил он.

— В воду... топиться... — отрывисто отвечала она.

С ней вдруг сделался сильный истерический припадок. Она хохотала, прерывая хохот рыданиями, и упала на руки Василия, который бережно опустил её на траву, сам не зная что делать.

— Паша!.. Парасковья!.. Что с тобой?.. Что

это ты задумала? — говорил растерявшийся парень, ходя вокруг сестры.

Та продолжала метаться на траве и рыдать. Наконец, Василий догадался, стал пригоршнями носить воду и поливать на голову и грудь бедной девушки. Она очнулась.

— Дай мне испить, — проговорила девушка слабым голосом. Брат принес воды и сел возле сестры.

Паша молча показала брату свою сожженную грудь.

— Кто это так тебя истерзал? — с тревогой в голосе спросил он.

Она рассказала брату только что испытанные мучения от злобной Настасьи.

Во время этого рассказа Василий молчал. Он только изредка поскрипывал зубами, глаза его налились кровью, а кулаки судорожно сжались.

— Змея подколодная! — прошипел он, когда сестра окончила свой рассказ.

Наступило довольно продолжительное молчание, прерываемое болезненными вздохами Паши и скрипом зубов Василия.

Придя немного в себя, он начал что-то

шептать на ухо Паше. Та отрицательно качала головой. Он горячился, махал руками. Наконец, Паша сама стала говорить что-то шепотом на ухо брату.

Долго они шептались и, по-видимому, о чем-то жарко спорили, наконец, Паша сказала громко:

— Ну, ладно! Будь что будет!

Оба они встали с травы и медленно вернулись на графский двор. Паша, по-прежнему спокойная, бесстрастная, прошла во флигель Минкиной.

XXIV

Кровавое возмездие

Прошло три дня после описанного нами в предыдущей главе происшествя.

Рано утром в графскую кухню прибежала Прасковья, отозвала в сторону брата и стала с ним шептаться. По её уходу Василий Антонов взял большой поварской нож и стал точить его на бруске. По временам он выдергивал из головы своей волос, клал на лезвие ножа и дул на него; волос оставался цел; тогда он с

новым усилием принимался точить нож. Наконец, нож сделался так остр, что сразу пересек волос. Тогда Василий спрятал нож под передник и вышел из кухни.

— Что, спит? — спросил он сестру, поджидавшую его у флигеля Минкиной.

— Спит, иди смело! — сказала Паша, провожая брата в сени.

— Поди, посмотри, не проснулась ли? — сказал он, остановившись в первой комнате.

Он был бледен, как мертвец, и дико озирался по сторонам. Паша ушла. Он вынул из-под передника нож, попробовал его на ногте большого пальца левой руки и снова спрятал.

— Спит мертвым сном, — сказала Паша, вернувшись к брату.

— Нет ли кого, посмотри... — говорил он, неохотно следуя за ней.

— Да никого нет, говорю тебе, я их всех разогнала, — проговорила нетерпеливо Прасковья, вводя брата в спальню Настасьи Федоровны.

— Не промахнись!.. — шепнула она ему и вышла из комнаты, плотно затворив за собою дверь.

Василий остался один. Тихонько, на цыпочках подкрался он к спящей Минкиной. Она, закутанная до самой шеи в белое одеяло, лежала навзничь.

Василий затрясся всем телом, взмахнул ножом и ударил им её в горло. Удар, нанесенный в волнении, оказался неверен. Нож только скользнул по шее, слегка ранив её.

Убийца уже хотел бежать из комнаты, но Настасья вскрикнула и проснулась.

Василий снова подбежал к ней, занес нож, чтобы повторить удар, но она освободила из-под одеяла правую руку и схватилась за нож убийцы: два пальца её правой руки упали на пол и кровь фонтаном брызнула в лицо Василия.

Он ударил её ножом в грудь.

— Вася, Василий! Пощади меня! Ведь тебе я ничего не сделала худого, — проговорила Настасья Федоровна. Она сделала усилие вскочить с кровати, но упала на пол. Левой рукой она так крепко схватила за ноги убийцу, что тот упал на неё, нанося ей раны ножом куда попало.

— Не убивай меня, — умоляла она. — Я вы-

хлопочу тебе вольную, отдам тебе все деньги, какие у меня есть, я дам тебе десять тысяч, только оставь меня живую.

Василий молчал и не переставал наносить ей новые раны. Настасья Федоровна захрипела.

Убийца бросился вон из спальни, выбежал из флигеля и прибежал в кухню.

Повар стоял у плиты, задом к двери, когда вошел Василий Антонов и бросил на стол окровавленный нож.

— Ты где был? — спросил его повар, не глядя на него.

— Свежевал скотину... — отрывисто ответил тот.

Повар взглянул на него.

— Что с тобой? Ты весь в крови.

— Ну, что там толковать! Что сделано, того не вернешь... Я зарезал Настасью.

— Караул! — крикнул повар в окно во все горло.

Василий бросился было бежать, но собравшаяся дворня успела схватить его. Его вместе с сестрой посадили в подвал до приезда графа Алексея Андреевича, который только что на-

кануне уехал в округ.

— Ты правду говорила, что добра из того не будет. Так и вышло... — говорил Василий сестре и в отчаянии старался разорвать веревки, которыми был связан.

— Баба! — с твердостью отвечала Прасковья и отвернулась, чтобы не видеть малодушного брата.

Графа со всеми предосторожностями вызвали обратно в Грузино. Оказалось, что он находился всего в тридцати верстах.

Ему сказали, что Настасью Федоровну опасно ранили.

Он прискакал с доктором.

Увидав изуродованный труп любимой им столько лет женщины, граф разорвал на себе платье, кинулся на её тело и зарыдал, как ребенок.

Тридцать часов он провел, не вкушая пищи, в состоянии почти умоисступления.

Его насилу могли уговорить похоронить её.

Похороны совершились с необычайною помпой. Для гроба с бренными останками властной экономки было приготовлено место

в одном из приделов грузинской церкви, плита с трогательною надписью, выражавшею нежность чувств всесильного графа и его безысходное горе о невозвратимой утрате, должна была на вечные времена обессмертить память покойной.

Когда опустили в могилу гроб, граф бросился за ним в могилу, стал биться и кричать:

— Режьте меня... Лишайте, злодеи, жизни... Вы отняли у меня единственного друга! Я потерял теперь все!

Его насилу оторвали от гроба и вытащили из могилы, всего израненного от ушибов.

Такова была сила его отчаяния.

Он отказался заниматься делами и команду по поселениям сдал генерал-майору Эйллеру, а дела по совету и комитету в Петербурге — Муравьеву, о чем уведомил письмом государя Александра Павловича. Описывая ему яркими красками кровавое происшествие, он окончил письмо словами:

«Я одной смерти себе желаю, а потому и делами никакими не имею сил и соображения заниматься... Не знаю куда сиротскую голову преклонить, но уеду отсюда».

Отправив письмо, граф Алексей Андреевич заперся в своем кабинете и выходил оттуда лишь на могилу своего «единственного верного друга», на которой подолгу горячо молился, ударяя себя в грудь и целыми часами лежа яичком на могильной плите.

У себя он не принимал никого, кроме архимандрита новгородского Юрьевского монастыря Фотия.

По делу об убийстве Настасьи Минкиной и розыске виновных, каковыми граф считал чуть ли не все Грузино, наряжено было строгое следствие.

XXV

Утешитель

Петр Андреевич Клейнмихель прибыл в Грузино в начале октября и застал своего крестного отца и благодетеля в состоянии той глухой, мрачной грусти, которая всегда является последствием взрывов дикого отчаяния.

Он недаром провел около графа многие годы почти со дней своей ранней юности, характер Алексея Андреевича и все струны души его были им изучены в совершенстве.

Петр Андреевич хорошо понимал, что смерть Настасьи Минкиной поразила графа Аракчеева не как утрата любимой женщины, а как гибель верного испытанного друга, быть может, погибшего по проискам его личных врагов; граф шел ещё далее и был убежден, что это дело врагов России, желавших лишить его «ангела хранителя», подготавливая этим и его собственную гибель. Алексей Андреевич вообще был страшно мнителен. Эта его мнительность, особенно за последние годы, искусно раздуваемая покойной Наста-

сьей, дошла до своего апогея. Он мнил себя, всюду и везде окруженным тайными и явными врагами, готовыми ежеминутно убить его из-за угла, подсыпать яд в его кушанье. Он ел и пил только то, что собственноручно было приготовлено им самим или Настасьей Федоровной, кроме того, каждое кушанье, не исключая кофе, он прежде нежели начать пить давал своей маленькой любимой собачке, или же просил попробовать собеседника.

Самому Петру Андреевичу не раз приходилось, во время легкого недомогания графа, пить с ним за компанию ромашку.

Значит, исцелить сердечную рану графа можно было лишь доказав, что Настасья была далеко не идеалом верного друга, ему одному безраздельно принадлежавшей преданной женщиной, какою идеалист Аракчеев считал её до самой смерти и какую неутешно оплакивал после трагической кончины.

Этой целью и задался Петр Андреевич, так хорошо знавший все изгибы человеческого сердца вообще, а сердце своего крестного отца в особенности.

Граф, встретивший почти радостно Петра

Андреевича, поручил разобрать и привести в порядок бумаги покойной грузинской домоправительницы.

Орлиным взглядом своим Клейнмихель тотчас открыл из дел покойницы преступную связь её с Егором Егоровичем Воскресенским, а после того и до него с другими лицами. Настасья Федоровна, по присущей всем женщинам слабости, сохраняла письма своих любовников и даже оказалось, что нежные письма её к графу составлялись Воскресенским и другими, а затем ею лишь переписывались.

С видом какого-то отчаянного торжества, он поверг улики преступления к стопам своего благодетеля.

Алексей Андреевич при первых словах своего крестника вскочил и пошатнулся.

— Ты лжешь... она... святая... — воскликнул он.

— Здесь доказательство этой святости!.. — не сробев графского окрика, с демонической улыбкой произнес Клейнмихель, подавая графу связку найденных им бумаг.

Граф быстро схватил пачку.

— Выйди вон!..

Петр Андреевич не заставил себе повторять приказание и быстро выскользнул из кабинета.

Алексей Андреевич остался один. Долго читал и перечитывал он роковые бумаги, уличающие, несомненно, изменницу Настасью, которую в мечтах своих граф окружал ореолом «святой мученицы».

Мечты были безжалостно разбиты. Любовь уступила место ярости.

После почти месячного промежутка снова раздался в грузинском доме властный голос его владельца. Петр Андреевич был позван к графу.

— Ты прав, она не стоит сожаления... Я отомщу ей... за себя... за пролитые мною слезы... — сказал граф, обнимая Клейнмихеля.

Последний испуганно взглянул на Алексея Андреевича.

«Уж не рехнулся ли он малость?» — пронеслось в его голове.

В этот же день недоумение его разъяснилось.

Темная, непроглядная осенняя ночь спустилась над Грузиным. Из графского дома вы-

шла какая-то странная процессия, направляясь к церкви. Четверо слуг с зажженными фонарями и вооруженные длинными железными ломом освещали путь графу Алексею Андреевичу Аракчееву и Петру Андреевичу Клейнмихелю, шедшим в середине. Они шли медленно, храня глубокое молчание.

Подойдя к церковным дверям все остановились. Ключ громко щелкнул в громадном замке, и звук этот далеко отдался среди окружающей невозмутимой тишины. Войдя в церковь, они направились к могиле Настасьи Минкиной.

— Отвалить! — мрачно приказал граф.

Слуги принялись за работу. Плита, на внутренней стороне которой была высечена надпись — выражение нежнейших чувств любовника — была быстро поднята и упала рядом с отверстой могилой, в которой месяц тому назад бился в безумном отчаянии граф Алексей Андреевич.

Его взгляд упал на плиту и на надпись. В безумной ярости вскочил он на неё и стал топтать надпись ногами.

— Так вот ты какая была... Змея подколод-

ная... Пес смердящий... — почти рычал Аракчеев.

Вдруг взгляд его упал на стоявший в открытой могиле гроб.

— Вот же тебе за обманом взятые у меня любовь и ласку...

Граф плюнул на гроб.

— Нешто ей, подлой... Авось в гробу перевернется... окаянная... — со злобой заметил Петр Андреевич, спокойно наблюдавший эту сцену и со своей стороны, в служебном усердии, плюнул на гроб три раза.

Эта отвратительная сцена, могущая найти себе оправдание лишь в той мучительной сердечной боли, какую должен был испытать при обнаруженных изменах покойной, почти, за последнее время, боготворимой им женщины, граф Алексей Андреевич, этот «жестокосердный идеалист», каким он остался до конца своей жизни, казалось, утешила эту боль, а его самого примирила с жизнью. Плита снова легла на могилу «изменницы» Настасьи, ставшей могилою и любви к ней грузинского властелина. Граф твердою походкою вернулся в дом и со следующего дня принялся

за государственные дела. Сильное средство Клейнмихеля подействовало. Из Таганрога, между тем, стали доходить о здоровье государя неутешительные вести. Новое горе подстерегало не только графа Аракчеева, но и всю Россию. Не прошло и месяца, как громовое известие с быстротою молнии облетело города и веси земли русской. Государь Александр Павлович тихо скончался 19-го ноября 1825 года.

Примечания

Сёла, деревни.

[^^^]

2

Бутада — устар. фраза, сказанная в раздражении; раздражённая выходка.

[^^^]

Жантильничать — жеманиться, ломаться, кокетничать.

[^^^]

Чапрак (чепрак) — суконная, ковровая, меховая подстилка под конское седло, сверх потника.

[^^^]

Ракáлья — негодяй, подлец (*фр.* *racaille* — «сволочь»).

[^^^]

6

Ягташ (ягдташ) — охотничья сумка.

[^^^]

И. А. Галактионов. «Император Александр I и его царствование».

[^^^]

И. А. Галактионов. «Император Александр I и его царствование».

[^^^]

И. А. Галактионов. «Император Александр I и его царствование».

[^^^]

И. А. Галактионов. «Император Александр I и его царствование».

[^^^]

Масонский запон (фартук) — один из самых главных символов в масонстве, а также ритуальный предмет и атрибут масонских регалий.

[^^^]

П. П. Карцев. «О военных поселениях при графе Аракчееве».

[^^^]

П. П. Карцев. «О военных поселениях при графе Аракчееве».

[^^^]